

3-80

Леонард Золотарёв

Судьба – судьбинушка

повесть

Библиотека им. Бунина

**Леонард
Золотарёв**



Судьба – судьбинушка

История моей жизни

Повесть

Орёл – 2016

БУКОО
Вологодская областная научная
общественная публичная
библиотека им. И.А. Бунина»

ББК 84(4)

3-81

ISBN 978-5-91468-209-2

3-81 Леонард Золотарёв. Судьба – судьбинушка.

История моей жизни. Автобиографическое повествование. – Орел, 2016. – 308 с. илл.

История моей жизни «Судьба – судьбинушка» – это рассказ о жизни русского писателя Леонарда Михайловича Золотарёва с его, можно сказать, самых первых месяцев до сегодняшнего дня. Это рассказ самого писателя о себе, о том, где и при каких обстоятельствах он родился, через какие перипетии прошёл, когда и где проявилось у него стремление быть в литературе, писать прозу, стихи, песни. Кто были у него настоящие друзья, а кто конкуренты. Какую пережил он семейную трагедию в 1937 году, как из Воронежа оказался в орловском Малоархангельске. Как через его детство огненным валом прокатилась война. Как он в тех же местах оказался в школе учителем, как стал журналистом в редакциях газет, а затем в Орле и профессиональным писателем, где и создал множество книг, сказав своё слово в литературе (в прозе, поэзии, драматургии, в переводе, исторической драме и очерке).

Живёт в Орле, который называют «третьей литературной столицей», состоит в писательской организации СП России, активно поддерживая творчеством статус своего крылатого города, города классических традиций, являясь основателем литературно-художественного журнала «Русское поле».

ISBN 978-5-91468-209-2

© Л.М. Золотарёв, 2016



*Леонард Золотарёв в Коренной пустыни.
Август 2016 г.*

**«Всегда и всюду проверяй себя –
В Духе ли я Святом?»**

Серафим Саровский
(в миру Прохор Мошнин)

*Мы в чистом поле волю ищем.
Где вся на кончике клинка
Судьба-судьбинушка-судьбища.*
Леонард Золотарёв

*Край пронзительно любимый,
Ты всегда меня поймёшь.
Гениальные равнины
В белых клавишах берёз.*
Андрей Вознесенский

ПРОЛОГ

Наша национальная гордость Лев Николаевич Толстой, прожив долгую плодотворную жизнь, в конце её рассказывал, что он помнил себя изначально, едва только родился. Михаил Юрьевич Лермонтов, не прожив и двадцати шести лет, помнил себя, оказывается, ещё в утробе своей матери. Недаром Мережковский в статье «Лермонтов – поэт сверхчеловечества» называл его «старичком». То есть Лермонтов в утробе своей матери начал жизнь неизвестно с каких пределов. Я помню себя тоже рано, но позже. И знаю точно, с какого времени я лично помню себя. А именно, с 6 ноября 1937 года, а родился я 24 июня 1935 года. Значит, мне к тому времени было два года с лишним.

Что же это был за день в ноябре такой необычный, суровый, трагический для семьи, что с двух лет ребёнку врубился в память на всю жизнь? Я помню его до сих пор. Помню, страх сжимал тогда мою душу оттого, что кто-то сзади вошёл в дверь и стоял позади меня, со спины. А передо мной слева было темно, но ощущалось окно, дело было ночью. А справа была стена, снизу доверху

были книги с сочинениями Ленина передо мной. А впереди, обомлев, стояли мать моя и отец...

А эти, вошедшие сзади, вдруг подняли меня вверх из кровати посреди комнаты и начали что-то искать в ней, один искал какие-то документы, а другой – что-то в книгах на стенке, сбрасывая их на пол. Мёртвая, гнетущая тишина, в комнате сразу возник беспорядок. От страха я стал писать, пустил струю в кровать, державший меня под мышки, бросил меня в неё, и они перестали в ней рыться. И я продолжал молчать, занемев, как отец и мама, от страха.

Потом они потоптались на месте. Так же молча завели отцу за спину руки и молча вытолкнули его в дверь. Кто-то тихо, под нос себе, сказал шёпотом:

– Пошли...

С этим они и ушли в дверь у меня за спиной, увели отца неизвестно куда навсегда. Больше я не увижу его никогда. Никогда! Никогда! Я плачу... за что?.. И только значительно позже я узнаю, что этим людям из милиции пригляделась наша квартира в Воронеже – двухкомнатная, в центре города, прямо напротив базара. Что через пару месяцев их самих арестуют, но отца моего уже отправили в лагеря куда – то на Север. Отцу дали эту квартиру за ударный труд, он был ударником труда, строил завод имени Коминтерна, выпускавший затем «катюши», которые помогли в войне громить врага. Но всё это я узнаю потом, как и потом, лично меня уже взрослого, прокуратура реабилитирует, как и отца...

Всё вдруг круто изменилось у нас. Мать была телефонисткой, училась на медрабфаке, могла бы стать врачом. А она, чтобы и её тут же не арестовали, бросила всё, что было у нас, подхватила меня и отправилась со мной на свою малую родину: в Таловский район, в хутор Хорольский, это теперь близ института имени Докучаева, здесь был наш корень, где родилась и она, и отец её – мой дедушка, и все её братья...

А дальше, в памяти встаёт вдруг такое. Так чётко и явственно это. Как будто происходило вчера. Одно понимаю теперь, что мать моя – Мария Герасимовна – повела себя, как декабристка. Те в Сибирь отправились, а она должна была ехать на Север к мужу своему, моему отцу.

Ей в Хорольском собрали кое-какие вещички, деньжонки. И вот она уходит куда-то вверх, от пруда, позади нас. На Север, к станции Няндомы Архангельской области, где отец мой валит лес, копает какой-то канал. И она оставляет меня моим двоюродным сёстрам – Рае и Шуре, а у них самих деда с бабушкой увезли когда-то туда же, на Север...

– Мама – а-а, – тяну я к ней руки свои.

И, чтоб я не плакал, девчата поют мне песню. Какую песню? Я помню её и слова, и музыку, и их голоса до сих пор.

– На рыбалке, у реки

Тянут сети рыбаки...

И опять всё закрыто в моей памяти туманом времени, возникает всё явственно, но не так солнечно, словно в призрачном сне. И это, я знаю, Курск. Железнодорожный перрон. Это мы с маминой сестрой – моей тётёй Дусей и её мужем дядей Гришей – едем через Курск в малый городок Малоархангельск, где предстоит мне жить. И на душе у меня уныло. Серый день, моросит и моросит дождь, без конца и без начала. Меня везут куда-то, как и маму мою, далеко – далеко. Скорее всего, тоже на Север или, может в Сибирь? Но почему не мама везёт меня, а моя тётя и муж её – дядя Гриша? Лишь одно утешает меня; как солнышко, у них на лицах улыбка, она освещает меня, и тогда мне кажется, что ехать мне от этого перрона не так уж и далеко. Всего ничего между Курском и Орлом до какого-то Малоархангельска, где живут мой дедушка – мамин папа Герасим Макарыч и старший брат её – дядя Гаврюша.

– Скоро приедем, скоро приедем, – воркует, наклонясь ко мне, тётя Дуся.

И мне хочется верить ей в то, что Малоархангельск не так уж и далеко...

И опять всё закрыто пеленой времени. Но я уже живу в этом самом Малоархангельске, и двор у нас большой и квадратный, обставленный аптечными сараями. Я залезаю на крышу нашего крыльца и смотрю в соседний к жердевым сад и жду оттуда дядю Гаврюшу с белофинской войны, а он всё отчего-то не приезжает. И страх с меня отчего-то не сходит, такой страх, какой не сходит и с моей мамы. Она всё время ищет свой паспорт, паспорт её куда-то исчез, испарился, никак не находится. Она ищет его всё время, нервничает, чуть ли не плачет, а он всё никак не находится. Но я-то знаю, она говорит шёпотом отцу своему – моему дедушке, что она боится его отдавать в руки милиции на прописку, а то ведь могут арестовать и её с воронежской-то пропиской. Как и моего папу, и отправить её тоже на Север – на лесоповал или копать Беломоро-Балтийский канал...

Наконец-то ей дали новый паспорт с новой, бабушкиной фамилией, а не нашей с папой. И меня начинают уговаривать, чтобы я стал всем на улице говорить, что и у меня фамилия такая же, как и у неё. Но я на это не соглашаюсь.

– Стрижено – кошено, – говорит мама свои слова, которые я слышу от неё и от бабушки, когда они на что-либо сердятся.

– Это, – махнула она рукой, – у нас в хуторе Хорольском была одна такая чудачка, которая всегда всем говорила всё наперекор. – Скажут ей: стрижено, а она отвечает: нет, кошено. Ей скажут: так это же всё равно. – Нет, стрижено, стрижено! – говорит она, не соглашаясь... А закончилось-то чем? – говорит моя мама.

– Да, чем, чем! – аж топаю я ногой от нетерпения.

– Зашла она в пруд далеко и глубоко, стала тонуть...

С берега ей кричат:

– Стрижено, стрижено! – А она отвечает: – Нет, кошено, кошено...

Она уж в воде по горло, а всё своё: давай руками показывать, будто траву косит: кошено, кошено. Спасли, а потом всё равно утонула...

Вот, наконец, вернулся с белофинской войны и старший брат мамин – дядя Гаврюша. Вернулся раненым в левую руку, но, слава богу, живой. Такая радость!

Мама моя отрезала нам по куску ситного хлеба, тогда его называли «рублёвым» (рубль, что ли, стоила килограммовая буханка), покропила конопляным маслом, дала мне в руки.

– Беги, неси дяде Гаврюше! Попируйте пока что, до завтрака.

Помчался я к дяде Гаврюше в его комнатку, а она выходит окном в жердевский сад. А возле окна постель, и дядя Гаврюша лежит с забинтованной рукой.

– Ну-ка иди, иди сюда, – улыбается мне дядя Гаврюша. – Давай-ка сюда. А ну, что у тебя в руках?

– Да вот, – говорю я и сую ему в правую руку кусок «рублёвого» хлеба, политый конопляным маслом. – Мама дала нам по такому кусищу. Ешь!

Дядя Гаврюша берёт кусок хлеба левой рукой и ест его с преобладающим удовольствием. Такая вкуснота, вкуснотища! Просто замечательно есть этот ситный, «рублёвый» хлеб вместе с дядей Гаврюшей, вернувшимся живым с белофинской войны.

– А ну, подлезай ко мне под бочок, – смеётся дядя Гаврюша и отдвигается к стенке, освобождает местечко рядом с собой.

Я ныряю к нему под бочок, прижимаюсь, обнимаю его как покрепче. Ищу губами щеку его шершавую, тёплую, дышу в лицо ему, говорю откровенно, от всей души, словами, что копились во мне всё последнее время:

– Ох, и надоело мне быть без папы! Можно я буду называть вас папой, дядя Гаврюша? Я так рад, что вы пришли живым с войны.

Слёзы выступили у него в глазах, скатились со щеки на меня, обожгли моё тельце.

– Сынок, – дрогнул голос папы Гаврюши, и он зарылся лицом в мою рубашонку.

– Вставайте, мужички! – кричит мама с кухни.– За-втракать пора. Нажарила картошки целую сковородку...

– Праздник у нас, праздник будет! – тяну я за здоровую руку папу Гаврюшу. – Мама! Дядя Гаврюша согласен быть моим папой.

В сенцах загремели ведром. Это дедушка наш принёс воды из Никулинского колодца.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ

ВОТ ОНА, ВОЙНА! ПРОВОДЫ НА ФРОНТ. «СОЛОМЕННЫЕ» МОТОРЫ

Вот она, война! Не успела у папы Гаврюши рана на левой руке зажить, как опять ему отправляться на войну. В воскресенье, 22 июня, как раз перед моим днём рождения. Ровно в 12 часов Молотов выступил по радио и сказал, что фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Мы дома ахнули: война! И папа Гаврюша тут же стал собираться добровольцем туда, на фронт, на войну. Мы с его дочкой Лидой – моей двоюродной сестрой – побежали на Косой переулочек в пивную с банкой за пивом, а там уж собрались мужики, и всё гудело от их голосов. По гладкому цементному полу было разлито пиво, кое у кого вырывались обрывки известной песни:

– Уходили комсомольцы на гражданскую войну...

Их перебивали другие голоса:

– ... на германскую войну.

Было как-то дико и страшно.

На другой день мы все пошли провожать папу Гаврюшу в военкомат. Он был тут же, неподалёку, на нашей улице за кинотеатром, где недавно мы с Лидой смотрели

«Чкалова» и «Чапаева». Двери в военкомат были широко распахнуты. Мужики входили туда, как в пропасть, и назад уже не выходили. Они завтра отправятся далеко-далеко, где уже шла война, и многие сюда не вернуться. Так будет и с папой Гаврюшей.

– Папа, папа, – плакала Лида, и я с ней. И мама моя, и даже дедушка Герасим Макарыч прослезился. Они-то с моей мамой помнили ещё и первую мировую, и гражданскую.

Ночью защитников родины увезли на станцию Малоархангельск. А утром на базар из деревень стали сводить лошадей. Они беспокойно ржали, задирали головы к небу и били копытом о землю. Им тут же обрезали хвосты, закручивали репой, ставили на круп лошадям клеймо. Пахло палёным. Первый запах войны...

Потом всё вокруг стало тихо. Война была где-то там, далеко. Я ходил в деточаг, так назывался тогда детсад. Деточаг был рядом с военкоматом, и мы, дети, поглядывали на двери военкомата, в которые, как в прорву какую, вваливались мужчины, иногда и женщины, и уже не выходили оттуда. Потом двери эти закрылись. Страх расползлся по городу, как змея: где-то уже совсем близко, совсем рядом была война. Где-то за станцией Малоархангельск. Как быстро она пришла сюда к нам.

Чтоб отвлечься, мы в деточаге составляли стулья до самого потолка и падали с них на пол. Но не разбивались, тут же вставали и снова лезли наверх. Однажды послышался отдалённый гром где-то в стороне станции. Наши воспитательницы шептались между собой: это немецкие самолёты бомбят наши эшелоны. От страха мы выбежали наружу и присели на порожки. Со страхом вглядывались в грохотавшее небо там, за Протасово, в сторону станции.

За нами в деточаг стали прибегать мамы. Они хватали своих детей и разбегались по домам. Нас осталось трое. Мы продолжали сидеть на порожках и в сгущающейся темноте вечера замирали от страха, вслушиваясь

в неумолимо надвигающуюся ночь. Наконец, и за мной пришла Лида.

Дома, всем вместе, было чуточку легче. Чем одному было там, на порожках деточага. Все думали о папе Гаврюше, ушедшем нас защищать, но ничего не говорили ни о нём, ни о нашей армии где-то там, на границе, а теперь и о немцах, совсем приблизившихся к нашему городку.

Соседи наши – Сопины – из первой квартиры окнами на улицу давно уж уехали. Отец у них был секретарём райкома, и всю семью, как и евреев всюду, немцы могли расстрелять. Сопиным дали подводу, они побросали туда вещички, взяли с собой манки, сахару, крупы и поехали на восток, в сторону Колпны, куда уезжали все районные учреждения. Городок оказался пуст. Как траву, выкосили народ по всему городку. Никого. Ни людей, ни лошадей. Даже грачи подевались куда-то, осень же, наверно, улетели на юг.

Когда Сопины уезжали, они сказали нам:

– Можете перебираться в нашу квартиру, она свободнее и светлее. В ней лучше жить.

Часть вещей мы туда уже перенесли, а часть ещё оставалась тут у нас, в старой квартире. Из разговоров моей мамы и бабушки я знал, что войну мы всё же почувствовали. Подкупали помаленьку соль, сахар, мыло и спички. Бабушка наш как пил чай с сахаром? А так. Колл на ладони ножиком большие куски на маленькие кусочки, брал на пальцы блюдечко и, бросая в рот себе эти кусочки, дул на кипяток, остужая его. Когда мама упрекала его, что это он пьёт чай с такими кусочками, чай же не сладкий, бабушка отвечал равнодушно:

– А хай ему бис, абы мулело.

А про спички он говорил так:

– Война же, огня на всё хватит.

На это мама моя отвечала:

– Как это хватит? А на чём я буду борщ варить или суп? Картошку на чём буду жарить?

Так что этого добра у нас хватало. Да ещё мыла хозяйственного. Чтобы вши не водились, чтоб не болеть.

Быть нам не только справными, но и чистыми. Дедушка мой Герасим Макарыч и мама моя имели большой опыт гражданской войны, они хорошо знали цену хлебу, соли, спичкам и мылу.

Так вот, прежде чем перебраться в квартиру Сопиных, пошептавшись, они решили спрятать коробки с этим добром. Но куда? Куда можно спрятать такое добро? В сарай? На потолок? Найдут. А куда же, куда? Дедушка стал копать землю на кухне. Аккуратно всё делал. Сначала долбил утрамбованную землю, потом выгребал ладонями её на мешок. Потом клал в те же мешки. Чтобы ни соринки не было видно, чтобы никто из чужих не догадался, что добро наше лежит у нас закопанное возле печки: и близко, и глубоко. И как-то таинственно, необычно, чудесно.

И только после того, как всё это сделали, подмели на кухне всё до порошинки, мы начали переносить свои вещи в квартиру Сопиных, что окнами на улицу. А мебель там уже была, оставлена Сопиными. Мы и стали в неё переносить всё туда, на кухню: на плитку ставили кастрюли и чайники, в шкафы – посуду, в шкаф вешали одежду. В общем, начали обживать сопинскую квартиру.

Всё это отвлекло нас от тяжёлых дум о войне, о папе Гаврюше, о том, что немцы уже где-то близко. Надо же, война, можно сказать, недавно началась, в конце июня, а враг уже тут у нас. А ведь всего-то начало октября.

Но в городе пока что ни немцев, ни наших. Безвластье. Последний наш батальон прошёл по улице на восток мимо наших окон. А дождь идёт, и идёт. Измождённые наши бойцы чавкают в худых сапогах по грязи. Замыкает колонну командир на лошадке с закрученным репой хвостом, с выжженным тавром на крупе. Мы стоим с мамой перед ними, я у ног её:

– Милые, дорогие, на кого же вы нас покидаете?

– Мы вернёмся, – кажется, шепчут они. – Мы вернёмся, ждите нас, ждите...

Сердце сжимается болью. И не только у нас, но и у тех, кто отходит за будущую линию фронта. А дождь идёт и идёт, как слёзы с неба, перемешанные с моими.

На другой день мы с дедушкой идём смотреть, что творится в центре-то, где райисполком. Двери в райисполкоме распахнуты настежь. И на первом, и на втором этаже окна разбиты вдребезги, по всем коридорам гуляет ветер, гоняет бумаги и документы, всюду разбросаны дыроколы, графины, стаканы, пишущие машинки...

А там, где была районная библиотека, валяются книги – и небольшие, и такие огромные, в кожаных переплётах, наверное, ещё от князя Куракина. Картины князя после революции увозили в Москву, а книги отправляли в уездную библиотеку.

Ветер перебирает страницы брошенных, сразу ставших ненужными книг. «Как же так? Национальное достояние», – говорит мой дедушка Герасим Макарыч, и я с ним тоже переживаю, хотя читать ещё не умею.

Безвластье. Это страшно. Начались грабежи. То в одном месте, то в другом: увезли из сарая сено, из подвала унесли картошку, утащили дрова. Даже в дом вошли при живых-то хозяевах и унесли одежду, посуду, даже кастрюлю с борщом. Дедушка говорит, что так уже было давно, после гражданской войны в их местах, в Воронежской области, когда там туда-сюда гуляли то белые, то красные.

Безвластие – это когда никакой власти. Ни красных, ни белых. Вылезает всякая дрянь и делает всё, что хочет. Так продолжалось несколько дней. И вот поползло по улице: оттуда, со станции, движутся немцы. Идут уже по нашей улице к нам сюда...

И ужас! Сковал меня, отнял все мои силы! Вот они уже тут. Вот проходят к нашему дому, к нашей квартире. Слышится топот шагов. Гвозди на подошвах вколачиваются в нашу землю, в доски пола. Шаги один за другим, один за другим.

Входят. Двое. Один за другим. На плече одного и другого лёгкий пулемёт. Оба в непонятной, болотного цвета форме. Передний наклоняется резко, обращаясь к нам:

– Солдатен? Партизанен?

Мы стоим в ужасе. Словно кто-то из ада свалился нам на голову.

Солдаты ушли. Проследовали по улице дальше. А под окнами загудели машины. Странные, с «соломенными» моторами. Так они утепляют свои машины – соломенными матрацами. Так они готовились к войне, к русской зиме, к нашим морозам. У детского сада, напротив, останавливаются грузовики со столами и стульями. Солдат в короткой шинели пытается влезть и втащить за собой на крышу флаг со свастикой.

– Немецкая комендатура! Немецкая комендатура! – аплодируют немцы солдату с флагом. – Гут, гут! Карашо...

Мы смотрим в своё окно и не видим ни неба, ни звёзд. «К этому надо привыкнуть... надо привыкнуть», – шепчет дедушка мой, отворачиваясь от окна.

А во двор к нам въезжает грузовая машина. Тоже со столами и стульями. Появляются немцы и русские в какой-то серо-зелёной форме.

– Ком! – подзывают они мою мать. – Это будет русская комендатура.

К дедушке подходит гражданский в чёрном крестьянском полушубке, говорит, показывая на них:

– Немцы – австрийцы, а русские – власовцы. Тоже русские, но в плену и за них...

– Яволь, – отвечает мой дедушка. – Все вкруговую немцы.

– Вас исдас вкруговую? – подходит немец в офицерских погонах. – Что такое «вкруговую»?

– Все одинаковые, – отвечает мой дедушка. – Что одни, что другие.

– Нихт, – настаивает офицер. – Нет, все разные. Одни – немцы, другие – русские.

Появляется солдат с молотком, что лез с флагом на крышу. Увидев у нас тут длинную лестницу возле сарая, подхватывает её подмышку и направляется к калитке. Из Никулинского сада, от копанки, где полоскала бельё, идёт моя мама. Увидев лестницу в руках немца, она ставит наземь свой таз с бельём и хватается за лестницу. Тащит её на себя. Немец не отдаёт лестницу, что есть сил тоже тянет её на себя. Мама моя хватает валёк из таза, заносит его над головой немца:

– Сволочи! Пришли сюда грабить, тащить всё тут у нас, а ну, брось! Обормот! Оккупант!

Немец швыряет лестницу наземь, расстёгивает кобур, вытаскивает пистолет.

Обомлев, моя мама стоит, остолбенел. Оружие есть оружие. Одно движение, и нет ваших. Спрашивай, как звали. Я бегу к маме, хватаюсь за неё, кричу на весь двор:

– Не надо, мамочка! Отдай ты ему эту лестницу! Пусть подавится!

Немецкий солдат уносит лестницу к себе туда, к немецкой комендатуре. А мама моя долго ещё стоит на месте, чтобы прийти в себя.

Над немецкой комендатурой повис дряблый нацистский флаг, который вскоре исчезнет вместе с домом при бомбёжке нашего самолёта.

**БОМБЫ ЛЁТЧИЦЫ МАРИНЫ ЧЕЧНЕВОЙ.
Я БОЛЕЮ ТИФОМ – ИСПАНКОЙ.
НАШИ ПОДПОЛЬЩИЦЫ.
МЫ В САДУ С ВОЛОДЕЙ ЕФРЕМОВЫМ**

Тётя Дуся закончила педучилище в Малоархангельске перед войной, и её послали работать учительницей в Протасово. Это в семи километрах от города по дороге на станцию. Работали они там вместе с подругой – тётей Марусей Русановой. Обе учили Марину Чечневу, которая в войну станет знаменитой лётчицей. Тётя Маруся была у

неё даже классным руководителем. А мы все дома знали мать Марины, она приходила к нам в Малоархангельск, моя мама шила ей верхнюю одежду.

Так вот, со стороны Колпны к нам сюда не только ночью, но даже и днём, стали летать самолёты – «кукурузники». Они летали так низко и бомбы с них бросали так точно, а ещё и кричали оттуда вниз сюда женским голосом:

– Получайте, фрицы, от нас подарок!

– Наши! Наши летят! – кричали мы краснозвёздным птицам. – Это Марина! Наша Марина Чечнева!

Бомбы падали точно то на немецкую комендатуру, возле которой стояла немецкая зенитная батарея, то на артиллерийские склады в жердевском саду, то на зенитную батарею возле базара. Увидев «кукурузник», немцы тут же ныряли в какую-нибудь подворотню, а мы кричали во всю глотку:

– Наши летят! Ура, наши, наши!

И радостно махали руками, несмотря на пулемётные очереди с самолётов, на осколки бомб, сыпавшихся с неба совсем близко.

Помню, я заболел нехорошей, какой-то странной болезнью – «испанкой», тифом. Температура под 41, бред какой-то – медведи из разных углов лезут, наваливаются на меня, душат. Вдоль улицы пролетает самолёт, возле окна грохнула бомба, раму оконную швырнуло мне на постель. Лида волоком потащила меня к двери: прямо по битому стеклу, из меня всю хлестала кровь.

Через стенку, в комнате для проезжих офицеров, немцы сразу притихли. А то ведь перепились и ставили на патефон наши пластинки, особенно врезалась в память наша «Катюша»; немцы ругали наши песни, швыряли пластинки на пол, топтали их ногами.

Наутро денщик офицера, жившего тут у нас через стенку, привёл немецкого гауптмана – капитана.

– Матка, – сказал он моей маме. – Кароший немецкий доктор... Очень хороший...

Гауптман осмотрел меня, велел облить простыню ледяной водой и обмотать меня простынёй. Мама ахнула: «Как это ледяной?» Однако сделала всё так, как сказал хороший немецкий доктор. К вечеру температура стала спадать. То ли от того, что болезнь уже проходила, то ли, в самом деле, сбить температуру помогла ледяная вода.

А вот уже и 1 Мая 42 –го года. Конечно, это праздник у нас, но ведь и у немцев тоже праздник. Мы с моим другом Володей Ефремовым лежим на травке у огорода с картошкой, а сверху откуда-то, от базара, несутся звуки громкоговорителя, летят сюда к нам весёлые немецкие песенки. «Ви айнс Лили Марлен...Ви айнс Лили Марлен»... Где-то низко опять пролетел самолёт... Грохнуло у немецкой батареи, что возле базара...

– Марина, – обрадовался я. – Радость наша! Марина!

– Наши скоро придут, – говорит мой друг Володя. – Вот тогда поглядишь, придут скоро наши.

Конечно, Володе девять лет, а мне нет и семи. Жираф большой, ему видней. Но и мы ведь не лыком шиты, тоже кое-что соображаем. Я, хоть и пацан, а ведь дошлый. Всё на ус мотаю, всё понимаю, что вокруг меня делается. Тётя Дуся приходит к нам на улицу Маркса, со своей улицы Либкнехта, где она теперь живёт в доме у своего мужа – дяди Гриши, который, как и папа Гаврюша, тоже на фронте. В последнее время тётя Дуся стала к нам сюда приходиться чаще. Они долго шепчутся с моей мамой, мама ей что-то рассказывает, чертит ей даже пальцем. Приходит к нам сюда и тётя Маруся Русанова. Они долго шепчутся с тётей Дусей. Тётя Маруся допоздна задерживается у нас. Однажды я проснулся посреди ночи, чтобы пописать, и услышал, как они говорили о том, что собираются к нашим, за линию фронта. Собирались пойти туда, за деревню Костюрино. Так говорила тётя Дуся, а тётя Маруся Русанова отвечала ей, что лучше, мол, тут остаться, тут они будут нашим нужнее.

В другой раз я увидел, как посреди ночи они поставили на стол зеркало, зажгли перед ним свечу и гадали.

Мама потом при мне рассказывала бабушке, что тётя Дуся гадала на мужа своего – дядю Гришу, воевавшего на фронте. Получалось, что у него есть белый конь, он ездит на нём. И вот он упал с коня и разбился... Выходит, что муж её – дядя Гриша – ранен и лежит где-то в госпитале... Тяжело ранен... Но ведь живой, живой! И это самое главное...

Временами то тётя Дуся, то тётя Маруся Русанова уходили куда-то, но не на Восток, в сторону Колпны, за которой по речке Фошне была линия фронта, а на Запад, в сторону станции, в село Протасово, где они когда-то работали в школе и учили Марину Чечневу. Именно там, как я узнаю потом, значительно позже, работал сапожником один дядька. На виду у всех сапожник тачал сапоги, а втайне – отправлял сведения, доставляемые из Малоархангельска, обратно туда, на Восток. Только другим путём – через посёлок Курган.

Вот так работало подполье в Малоархангельске. В малом городе каждый ведь на виду. А придумали, как доставлять сведения, куда нужно.

Бомбы продолжали падать на нас сюда, сыпаться с неба. Мы жили в центре города, и это многое значило. Всё тут было у немцев: и комендатура, и гестапо, и лазарет, и зенитки. Дружок мой Витёк Колединцев жил тоже на нашей улице, только в самом конце её. Так там немцев видели раз в два месяца. Незачем было им туда забираться.

А бомбы тут в центре у нас падали. Даже тяжёлые бомбы – фугаски полуторатонные. И вот пришла к нам сюда тётя Дуся со своей улицы Либкнехта и говорит моей маме:

– Давай-ка я возьму твоего сыночка и увезу в Курган, мы с Лилей едем завтра туда с утра. Там спокойнее, бомбы не падают.

В Курган нас троих повезли на лошади, в санях. Это было не так уж и далеко, прямо за Репьёвкой. Санная дорога, изогнувшись за ракитами, ныряла куда-то вниз. Каких-нибудь полтора-два километра, и вот он – посёлок

Курган. Это холм такой в степи, здесь пять-шесть дворов. В одном из них мы и поселились. Тут и жили. Грелись на русской печке, выходили вечерами смотреть, как где-то рядом, в сторону города, летают самолёты, падают бомбы. А тут была тишина.

Но вот и в Кургане появились немцы. Они привезли орудия и установили их прямо возле нашей хатёнки. Стволами в другую сторону от города, на юг, откуда на горизонте возникали какие-то вспышки. Это, скорее всего, стреляли наши, наша артиллерия, наши переходили в наступление.

– Матка, век отсюда, – приказали немцы тёте Дусе. – Бери «киндера» и айда отсюда... Будем бабах, стрелять...

На тех же санях, той же дорогой через Репьёвку, нас всех троих привезли на улицу Либкнехта, к тёте Дусе. А уж отсюда домой, на свою улицу, в центре города я добрался сам. Внизу, через мост, уже трудно было пройти и проехать, подняться в гору, по главной улице, ещё труднее. Всё пришло в движение; машины, грузовики, легковые, даже танки, трактора с пушками...

«Скоро нас освободят, – вспоминал я слова, сказанные ещё в мае, другом моим Володей. – Вон как немцы-то засуетились».

Мама так обрадовалась мне, бабушка тоже. Всё спрашивали, как мы жили там, в этом Кургане. Дали мне плитку шоколада, который принёс денщик этот Ганс, который привёл хорошего немецкого врача и тем спас меня, сохранил мою жизнь. И снова потекли окаянные дни тут, в центре города, наполненные суетой, страхом и ожиданием наших.

Вскоре в комнате для проезжих офицеров появился пожилой человек, немецкий офицер с витыми погонами. Скорее всего, оберст – полковник. Он жил один день, второй, третий. Никуда не выходил. Ничего не ел, не пил. Наконец, пришёл к нам на кухню. Достал свои семейные фотокарточки, стал показывать моей маме, бабушке, мне. Говорил на ломаном русском языке, что он какой-то учёный, семья у

него замечательная, все они хорошие люди. Никогда ни в кого не стреляли, никого никогда не убивали.

После этого он посадил меня на колени себе, гладил меня по голове и вынул из нагрудного кармана для меня какие-то три – четыре бумажки, которые называл «дойч-марками». Мама налила ему супу, дала картошки, всего, что было у нас. Когда пришёл денщик Ганс и попросил у моей мамы «жоплой (тёплой)» воды, чтобы бриться, мама сказала ему:

– Что же это у вас офицер-то голодный сидит, хоть бы принёс ему что-нибудь с кухни.

Через полчаса Ганс принёс котелок с гороховым супом, буханку хлеба и две банки рыбных консервов, аккуратную пачечку чая и вручил всё это оберсту. А через какое-то время в дверь загрохотали. В комнату для проезжих офицеров ворвались трое в чёрных мундирах – гестаповцы. Они вывели в коридор пожилого оберста, выдернули из штанов ремень, скрутили руки позади у него за спиной, толкнули коленом пониже спины и вытолкнули в дверь на улицу.

Всё это я видел, глядя из кухонной двери в замочную скважину. А к вечеру появился денщик Ганс. Снова за «жоплой» (тёплой) водой. Увидев распахнутую в комнату для офицеров дверь, он кивнул на неё моей маме:

– Матка! Вас ист дас?(что такое?)

– Что, не знаешь? – сдвинула брови мама.

– Не знаю, – пожал он плечами. – Гестапо? Это не я... не я...

– Скорее всего, в самом деле, не он, – сказала после нам с бабушкой мама. – Помните? Когда офицер, у кого он денщик, проходил через дверь в эту комнату, он показал ему в спину язык. А тот в трюмо впереди увидел это, развернулся и давай хлестать его по лицу...

После Ганс говорил, что, если бы не война, этот офицер мыл бы ноги ему. Ведь Ганс очень богатый человек, у него много земли, много денег, а приходится служить какому-то прусскому выскочке, который в подметки ему не годится.

– Вряд ли, конечно, – сказал мой дедушка Герасим Макарыч. – Война есть война. Война всё переворачивает с ног на голову и делает всё не так, как бы хотелось.

Вчера мы с ним заходили в аптеку, находящуюся по соседству, с входной дверью с той, другой стороны. В аптеке оказался один немецкий солдат. Оглядевшись, он подошёл к нам с дедушкой и сказал шёпотом:

– Гитлер капут!.. Сталинград... Орёл – Елец, будет войне конец...

Мы знаем, мы чуяли это. В средней школе, где у немцев был лазарет, откуда-то, говорили, из-под Сталинграда, немцы везли и везли обмороженных и раненых. Привезли даже убитого генерала, похоронили в углу кладбища возле собора. Всё, отпелись! Уже не споют свою песенку «Их вайс Лили Марлен», с которой въезжали сюда к нам, в наш Малоархангельск, на машинах с «соломенными» моторами. «Гитлер капут!» Всё больше они расстреливают своих: вывозят в лес Мурашиху или в овраг на Беленьком, а то расстреливают тут же, в городе, в подвале дома на улице повыше нашей. В этом вновь отстроенном доме напротив, когда сожгут их дом, будут жить Ефремовы, Володя Ефремов, мой друг, с которым мы знаем друг друга давно, ещё до войны, и с которым нам так хочется, чтобы сюда к нам, в Малоархангельск, пришли поскорее наши. «Гитлер капут!» – это значит, что наши уже где-то близко.

ГУСИ ЛЕЯТ В ГЛАЗУНОВКУ. ЛИДА С КЛАВОЙ СБЕГАЮТ ИЗ ОБРАЗЦОВОЙ ШКОЛЫ. МАМУ ТОЖЕ ЕДВА НЕ УГНАЛИ В ГЕРМАНИЮ

Немцы в Малоархангельске зашевелились. Стали дорогу чистить в сторону Глазуновки. Но чистят-то они дорогу в снежных полях не своими руками, а нашими. А на это у них испытанное средство – пройти по улице с автоматами, собрать в кучу рабочую силу и бросить её в снега, которые в эту зиму по пояс, а местами и выше.

Загребли они и нашу Лиду – сестру мою двоюродную, и её подругу Клаву Лаушкину, Всучили им в руки лопаты и погнали пробивать себе путь сначала до Глазуновки, это километров шестнадцать, а там, дело покажет, может, и до Берлина.

С утра до самого вечера малоархангельская молодёжь горбачила в дорожных снегах на немцев. Только поздно вечером Лиду с Клавой, как и других, пригнали в город и заперли на замок в Образцовой школе, что напротив нашего дома. Мы видели, как их прогнали туда под автоматами, словно рабочий скот, даже помахали рукой им. Мы знали, что они сейчас смотрят оттуда в наши окна, и думают, что мы всё это видим, думаем о них, что они из себя там выходят, как бы это удрать им оттуда. Но как? Часовые почти под каждым окном. Автомат есть автомат, шутки с ним плохи, шутить с часовыми нельзя.

На другое утро Лиду с Клавой опять погнали за город чистить дорогу. А вскоре туда одна за другой, как гуси, потянулись немецкие машины, крытые брезентом. Это значило, что дорогу до Глазуновки пробили, будут чистить её и дальше. Тревога поселилась у нас за Лиду и Клаву, во многих домах Малоархангельска за свою молодёжь. Этак угонят ещё и в Германию как восточных рабочих, работать там у них на заводах и фабриках на войну с нашей страной, то есть с нами, воевать с помощью оружия, производимого в «фатерланде», с нашим народом и нашей армией...

Об этом шёпотом говорили у нас в доме мама с дедушкой Герасимом Макарычем, а Лида с Клавой сидели через дорогу от нас там, в Образцовой школе, и слышали, пожалуй, как мне думалось, всё, что тут у нас говорится и думается про них, переживаем, как бы это удрать им оттуда, не попасть в «фатерланд».

И вдруг среди ночи стук в окно. Дедушка пошёл открывать дверь: «О господи! Лидочка с Клавой! Как же это вы удрали – то? Молодчаги какие...»

И Лида с Клавой наперебой стали рассказывать, как всё это у них получилось. С вечера немцы подпили сво-

его «шнапсу», а подпив – обнаглели. Кое-кто из часовых оставил свой пост у окон и у дверей, зашли к девочкам и стали шарить по классам. Потом они принялись допивать свой «шнапс», а двери школы забыли закрыть.

– Клава заметила это и подталкивает меня в плечо, – рассказывала шёпотом Лида.

– Да, заметила, – поддержала подругу Клава Лаушкина. – Бежим, говорю, пока не поздно... Мы шмыг за порог и на улицу. Через дорогу перебежали и тут у вас, дома...

– Спрятать вас надо, – забеспокоилась мама. – А куда?

– Пойдём за мной, – двинулся к двери дедушка. – Спрячу в сарае, за сеном, где у нас корова стоит. Я ей воду в ведре на верёвке вниз опускаю. Спущу на верёвке и вас... А когда всё это уляжется, суета с дорогой, выберетесь и к нам сюда...

– А как же попить, поесть? – спросила Клава. – Мы же сено не едим.

– В ведре спустим вам, что поесть, – сказала моя мама. – Что-нибудь вкусненькое. Например, творожку со сметаной...

Дедушка увёл Лиду с Клавой в сарай, и на душе у нас стало капельку легче.

Но другая беда. Опять пошли автоматчики. Но из другой воинской части – от гестапо. Пошли по улицам города, стали сгонять народ в центр, на угол сквера, напротив бывшей районной библиотеки. В общем, на угол улицы Либкнехта и «Гитлерштрассе», так они стали называть нашу главную улицу, можно сказать, проспект.

– Гляньте-ка, – то ли в шутку, то ли всерьёз говорили они, – у вас тут улиц всего ничего, а в названиях одни евреи и немцы: Маркса, Урицкого, Либкнехта, Адлера...

Когда под автоматами нас пригнали сюда, на угол сквера, тут уже были жители города, согнанные с других улиц. Мы влились в толпу и стали ожидать чего-то. Чего ожидать-то хорошего? Пополз слухок: казнить будут кого-то. И кого? Кого же – конечно, наших, русских людей. Партизан. Какие они хоть партизаны бывают? Что у нас тут – леса, что ли?..

Стояли люди так вот и переговаривались. А я стоял и слушал всех жителей города, которых знал и не знал. Но все, как один, были невеселы, всем было нехорошо, тяжело. наших же казнить собираются, наших, русских людей. Нам, русским, в назидание. Пусть, мол, знают, что такое тут мы – Великая Германия, вермахт, «фатерланд» на улице «Гитлерштрассе»...

И вдруг вся толпа вздрогнула. Сверху откуда-то, от базара, со стороны гестапо появилась кучка людей. Автоматчики с серебряными серпами на груди вели троих молодых людей. Двое парней несли под руки девушку. Она была так избита, что сама идти не могла, её несли под руки, ноги её волочились за ней – безжизненные, словно чужие...

– Ох-хх! – дрогнула толпа, и все мы вместе с ней. – Ох-ххх! – переступили мы с ноги на ногу.

Всех троих гестаповцы подвели сюда, к углу сквера, и только тут все мы подняли головы и увидели виселицу. На ней покачивались три петли. На каждого из троих. И три табуретки. У всех троих на груди были фанерки, на фанерках было написано: «Партизан».

Сплотясь воедино, все мы стояли безмолвно. Ожидали, что девушка перед концом своим что-то скажет, что-то скажут ребята. Но, измученные, они ничего не сказали. Палач вышиб ногой табуретку из-под неё, она повисла в воздухе и закачалась. Толпа ахнула и помертвела.

– О-о-й! О-о-й! – раздалась отдельные голоса.

– Мамочка-а-а! – прижался щекой я к коленям мамы, они задёргались, затрепетали, а дедушка поддержал её, чтобы она не упала.

– Хальт! Хальт! – закричали автоматчики, подняв вверх над собой автоматы, а палач уже выбивал табуретку из-под одного паренька, а когда и тот закачался, из-под ног и другого.

Толпа закачалась в такт раскачивающимся в петле трём повешенным. Вдох ненависти и отчаяния повис

над сплочённой толпой. Заплакали дети, поднялся ветер, и закричали грачи где-то на тополях.

Когда люди вернулись домой, по улицам города пошли уже другие автоматчики. Трое вошли и к нам. Тётя Дуся с годовалой Лилей, дочкой своей, как раз пришли к нам сюда со своей улицы Либкнехта. Моя мама рассказывала сестре обо всём, что мы только что пережили на углу сквера, когда палачи вешали наших героев. И тут к нам вошли с автоматами немцы. Прижавшись к её коленям, я смотрел на них исподлобья.

– Матка, – обратился один из них, наверное, старший, к моей маме, – век на дорогу, на Глазуновку. И айда работать в Германию.

– У меня ведь ребёнок... вот, – показала на меня автоматчикам мама.

Я стоял сам не свой.

– Ты пойдёшь, – показал немец на мою маму. – У тебя «киндер» большой, а у этой фрау, – показал он на тётю Дусю, – «киндер» маленький. Эта поедет в Германию, а эта останется тут. «Киндеры» останутся тут, с этой фрау.

– Чтобы в Германию ехать, – сказала им моя мама, – надо же ведь собраться.

– Карашо, – взял под козырёк офицер. – Собираться и выходить. Видишь, стоят на улице, к ним туда выходи... А мы дальше пошли по улице. А ты сама выходи...

Автоматчики хлопнули дверью, ушли. Повисла глухая, гнетущая тишина.

– Не выходи, ни в коем разе, – сказал дедушка мой Герасим Макарыч, мамин отец. – Не выходи, вот и всё...

– Но они же вернутся, – заплакала мама, – и пристрелят.

Плечи у меня тряслись от страха и ужаса.

– Мамочка! – закричал я. – Не уходи!.. Мамочка!

Мама кинулась в дверь и выбежала во двор. Стояла посреди двора в оцепенении, не зная, что делать, куда бежать, где спрятаться? Увидела в углу двора уборную, деревянную дверь прямо перед собой, рванула её на себя,

вбежала вовнутрь и захлопнула, закрыла её изнутри на крючок.

Мы стояли у дома и, замерев, смотрели на дверь туалета, закрытую изнутри. На улице, куда сгоняли народ, гудели голоса, раздался женский плач, голос мужской «хальт». В дверях калитки появился немецкий солдат.

– Где matka? – повернулся он к дедушке.

– Пошла, – махнул рукой на улицу дедушка.

Солдат резко развернулся и побежал к калитке. А мы смотрели на туалет в углу двора, у сарая, и ручка двери, казалось, мелко- мелко дрожала от страха и напряжения.

Только к вечеру, когда немцы угнали всех туда, на глазуновскую дорогу, мама вышла из туалета и пришла к нам на кухню.

– Не жизнь, а одни переживания, – сказала она дрожа всем телом от страха.

– А что бы ты хотела? – глубоко вздохнула тётя Дуся.
– Оккупация.

– А вдруг вернутся? – сказала мама. – Пересчитают... немцы любят считать, а одного человека нет. Вспомнят меня, догадаются...немцы – умный народ... возьмут и вернутся.

– Пойдём отсюда, от греха подальше, – стала пеленать тётя Дуся Лилю, дочурку свою годовалую. – К нам туда, на улицу Либкнехта. Не будут же они, в самом деле, бегать по всему городу.

– Конечно, – поддержал её дедушка. – Идите, дорогие, туда, поскорее с глаз долой.

– А я? – захныкал я, хватаясь за маму.

– Ну ты, герой! – потрепал по голове меня дедушка. – А ещё мужик! Собирался с папой Гаврюшей идти на войну.

– Да, собирался, – слёзы у меня сразу просохли, голос стал твёрже. – Дай подрасту – Родину тоже пойду защищать, а как же.

– Оставайся-ка лучше тут, – сказал мне дедушка. – А мама пусть идёт туда, к Кулешовым, на улицу Либкнех-

та. А ты со мной тут побудь, для начала, внучек, свой дом защищай. Так говорю?

– Да так, так, – сказала мама, и они с тётёй Дусей вышли за калитку и исчезли в ночи.

Мы остались вдвоём с дедушкой. Сидели на кухне, не зажигая огня, и ждали, когда же над нами опять пролетит краснозвёздный самолёт. Что-то давно не прилетала Марина Чечнева, не бросала бомбы на немцев со своего «кукурузника». Знаменитая в будущем лётчица, прилетай, покажи им кузькину мать! Чтобы они тут не распоясывались, уходили поскорее туда, откуда пришли, в фюрерский свой «фатерланд».

**«АХ, УГОЛЬКИ, УГОЛЬКИ!» –
ИХ СОБИРАЛИ ДЛЯ ПЕЧКИ. ПЯТЬ СЕМЕЙ
В АПТЕЧНОМ ПОДВАЛЕ. УЖАС, МЫ ГОРИМ!
ДЕДУШКА – НАШ СПАСИТЕЛЬ. ГОРОД В ОГНЕ**

Конечно, немцы готовились к войне. Они хранили и ели свой хлеб уже тогда упакованный в целлофане, испечённый задолго до войны, в 1938 году, но с большим удовольствием ели наш хлеб. Пили чай со своим искусственным мёдом, но с жадностью хватались за наш духовитый мёд. А мы, как и они, тоже предчувствовали войну и покупали прозапас соль, мыло и спички, и дома у нас они ещё были. Первыми мы с утра зажигали в печке дрова, и к нам за жаром тянулись соседи.

– Ах, угольки, угольки! Их собирали для печки, – запевал Вава Студницын, пожилой, одинокий мужчина, у которого, считалось, «не все были дома». И эти слова его были подобны тем словам, какие он пел много раньше, ещё до войны. – Ах, васильки, васильки! Их собирали для Лёли...

Кто была она, эта Лёля, может, девушка, которую любил Вава, мы не знали. Зато все хорошо знали его слова про угольки для печки, которые уносили соседи от нас домой к себе, чтобы разжечь у себя огонь. Без наших спи-

чек соседи не пили бы чай, не готовили бы к обеду фасолевым суп, не варили бы картошку.

Но у кого было много всякого огня, так это у немцев. Однако были у них не спички, как у нас, а зажигалки. Простые и со всякими фокусами, которыми они зажигали всё – от искусственных белых кубиков, на них они грели чай, до факелов, какими они будут жечь наши дома. А ещё у немцев были губные гармошки. И в таком огромном количестве, что они свободно могли раздавать их направо и налево, даже если об этом их никто не просил. Они учили нас играть на таких гармошках, пиликали свою любимую «Их вайс Лили Марлен». А любили нашу гармонь с широким размахом крыльев от окна до двери, боялись её на войне, знали нашу «Катюшу». Один играл на губной гармошке, а другой подпевал на ломаном русском:

– Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

Прокатился слушок, да и сами немцы не скрывали, что скоро они будут уходить отсюда и факельщики станут поджигать наши дома. Пять семей из соседних дворов, которые приходили с утра к нам за жаром, пришли в наш большой двор с кое-какими вещичками, чтоб отсидеться в аптечных подвалах: мы, Лаушкины, Христовы, Жердевы, Сизовы, Вава Судницын... Мы сидели в сумеречности подвалов и страшно боялись, кабы, уходя, немцы не швырнули нам сюда в окошко гранату.

И вот по нашей улице прошли факельщики. Одни перед домами разбросали солому, другие полили её бензином, третьи шли с горящими факелами. Запахло по городу дымом. Все пять семей спохватились и бросились следом за нами в наш небольшой деревянный погребок, который был вырыт когда-то почти под самым аптечным сараем.

Дедушка метнулся к Христовым и, спасая их дом, разбросал солому возле него. Потом раскидал сено в сарае и вывел нашу корову за аптечные сараи в горсад. – Пусть живёт Маня – Манечка...

Сидели мы в погребке так тесно, что негде было дыхнуть. И тут со двора потянуло дымом.

– Факельщики! – ахнули мы.

Сейчас всё тут у нас загорится. Но выходить на улицу было нельзя, факельщики шли с автоматами. И всё пошло полыхать, загорелись дома вокруг и аптечные сараи. Снег стал быстро таять и потоком потёк в погребок. Аптечный сарай рухнул на нас, стало нечем дышать.

Огурцы из большой бочки всплыли в воде и затолкались мне о губы, в лицо. Кто-то взял и поднял меня выше. Стало так страшно, просто ужас охватил всех нас в погребе. Все замерли, закоченели, не смея кричать.

– Ну всё, – сказал дедушка и полез наверх, чтобы тушить крышу над нами. – Всё равно погибать.

Потом и все стали выбираться наружу. Пламя разбушевалось. Как только мог, дедушка воевал с ним, гасил его так и сяк. И вот кожух вспыхнул на нём. Дедушка упал на тающий снег и стал кататься в горящем кожухе на спине.

Неба как будто не существовало. Пламя от домов и аптечных подвалов сомкнулось и бушевало над нами. Затем пламя стало потихоньку снижаться, показались первые звёзды. Пахнуло воздухом со стороны. Всё было видно вокруг, как днём.

Жар от сгоревших вокруг домов и аптечных сараев прогорал, снижался. Всё вокруг казалось как-то черно, пустынно, просторно в любую сторону. А там, по всему городу, была ещё ночь.

– Витя, – сказала сыну тётя Лида Лаушкина, Клавина мать. – Сбегай-ка в сады взглянуть, цел ли наш дом?

А дедушка пошёл по садам взглянуть, цела ли наша корова? Вскоре он вёл её за собой сюда в поводу.

И вдруг мы слышим Лаушкин Витька бежит и кричит во всю глотку, аж захлёбывается от радости:

– Наши! Наши пришли!

И за ним уже идут сюда к нам от горсада люди в белых маскхалатах. Это наши разведчики. Их пятеро. Обнимаемся, целуемся, плачем от счастья и радости.

– Нас в городе три группы по пять человек, – рассказывают они. – Всего нас пятнадцать. Одна группа в Репьёвке, другая – на Мотах, третья тут у вас в горсаду.

– Ой, дорогие, родные, – плачет мама моя и не знает, куда их усадить.

Ничего кругом. Пустота одна. Чёрным – чёрно вокруг, а разведчики в белых халатах.

– Да чем же хоть вас угостить? – хлопчет мама. – Всё сгорело, глядите. Ничего не осталось. Вот корова одна и осталась. И ведро старое.

Мать садится под корову и начинает её доить. Узкие молочные струйки брызжут в ведро. Переступая с ноги на ногу, корова искоса смотрит на нас.

– Маня, Манечка, – успокаивает её мама. – Ну что ты. Это наши, свои. Праздник у нас. Даже нечего дать тебе. Ни кусочка хлеба, ни сахару...

Мы все стоим вокруг, смотрим на корову, на Манечку нашу, глаза её полны слёз. И вот начинает капать из глаз её. Капают, капают крупные, белые слёзы у нашей коровы, у Манечки. Плачет корова...

Помню, плакала тогда даже корова. Об этом я потом уже написал такие стихи.

Плакала корова (быль)

*Шёл сорок третий. Немцы, отступая,
Жгли городок. И к нам беда вот-вот.
Дед вывел коровёнку из сарая
И бросил за садами, пусть живёт.
Замкнулось небо. Пламя озверело.
Рванулись в погреб все снега зимы.
В саду корова – Манечка ревела,
Ей было страшно, как горели мы.
А утром двор был пуст, чужой, пригашен.
Не верилось пустынной тишине.
И вдруг – разведка. «Наши! Наши! Наши!»*

*Хлеб – соль! Хлеб-соль! Всё сгнуло в огне.
И мать доила Маню спозаранку:
«Ах, милая, родная, выручай!
Она доила Манечку-белянку,
Тянула вымя, мяла сгоряча.
И Манечка дыхнула в наши лица,
Переступила, глянула в глаза.
И на её белесую ресницу
Вдруг выкатилась крупная слеза.
Созрела, подержалась и упала
На чёрный снег, на обожжённый снег.
Она, корова, что-то понимала,
Она, корова, от войны устала,
Она, корова, плакала за всех.*

*... Идут года неспрадно и сурово.
Смотрю живущим, как себе в глаза.
Но вспомнится, как плакала корова,
На самого накрутится слеза.*

Помню, помню, что было. Мать налила молочка в ржавую консервную банку. Мы стали в круг и, передавая банку друг другу – от нас разведчикам, от разведчиков к нам, пили, как братину, из ржавой консервной банки манечкино молоко.

– За вас, наши освободители, – плакали все мы. – За нашу армию, за братьев наших, которые тоже воюют где-то.

– За папу Гаврюшу, – сказал я. – Папа Гаврюша тоже на фронте.

Ржавая консервная банка переходила из рук в руки, и каждый, кто стоял в общем кругу, говорил своё слово. И всё смотрели друг другу в глаза и на корову, на нашу Манечку. Потом кто-то из разведчиков сказал вдруг:

– Да, вот что! Шли мы сюда через Беленькое и видели стожки сена. Сходите туда побыстрее, пока кто-нибудь не забрал. Манечке будет что-нибудь дать хоть на первое время...

Дедушка взял верёвку с собой и заторопился на Бельенское. Пошёл туда, в белые, нетронутые пожаром волны снега, где по лугу, до самого пруда кое-где темнели копёнки сена. Дедушка принесёт сенца, спасибо ребятам, разведчикам...

Страшная, Варфоломеева ночь кончалась. Впереди ожидал нас рассвет.

ПОСЛЕ НЕМЦЕВ. НАС ОСВОБОЖДАЛИ СИБИРЯКИ, ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ ИЗ-ПОД СТАЛИНГРАДА

После немцев мы встречали рассвет. И это после Варфоломеевой ночи, когда мы едва не сгорели в подвале, когда горел весь наш Малоархангельск. Малый город, а в нём всё есть, даже свой всероссийский, всенародный праздник - День защитника Отечества. Как большой, крупный, столичный город нас освобождали к празднику, а именно, 23 февраля 1943 года. Москву защитили к 5 декабря, Киев - к 6 ноября, а нас именно в этот для нас великий день.

Мы встречали рассвет, стоя у своего дома, которого не было, его сжёг враг, уходя отсюда на Запад. И так он будет отступать отсюда до самого Берлина, до нашей Победы в Великой Отечественной войне. А с Востока всходило солнце, и в лучах его по нашей улице к нам сюда шёл этот праздник, шли защитники Отечества - город освобождали сибиряки, в город входила сибирская воинская часть.

Вот они - сибиряки, вот они - сталинградцы! Прошли с боями сюда из-под Сталинграда. Словно парадом идут они слева, от старой школы и дальше, дальше, по нашей улице, нашему городку. Вот они перед нами. Какие красивые, крепкие, розовощёкие! В полушубках, в шапках - ушанках! С новенькими автоматами, в каждой руке по гранате! Они проходят мимо нас, измождённых, чёрных от гари, пожарищ. Они улыбаются нам, поднима-

ют вверх руки, поздравляя нас с нашим Освобождением. Мы кланяемся им в пояс и плачем, смеёмся от счастья.

Наши пришли! Наши пришли!

Мы знали, дорогие, что вы придёте. Мы ждали вас все эти четырнадцать месяцев. По часам считали каждый денёк. Вот тут, позади меня, в огороде под 1 Мая 1942 года мы с моим другом Володей Ефремовым, лёжа на траве, говорили уверенно, что вы придёте, мы знали: «Наши придут! Наши придут!» И вот вы пришли.

Спасибо, что у нас есть такая армия! И день такой – День Защитника Отечества! Совпадающий с Днём нашего города – Днём Освобождения Малоархангельска!

После ночи всегда бывает рассвет, а после него бывает обязательно День.

**МЫ ЖИВЁМ У ЛАУШКИНЫХ.
ЛИДА И КЛАВА, ГИТАРА И Я.
ОФИЦЕРЫ. ВСТРЕЧА С РОКОССОВСКИМ**

Сначала мы поселились в большом, добротном доме напротив средней школы. Но рядом, на углу, дом райпотребсоюза ещё горит, и бабушка наш, боясь, что огонь с него перекинется на дом сюда, где мы поселились, стал тушить его ведрами с водой. Воду подавали ему на крышу то мама моя, то Лида. К вечеру с огнём мы справились, и мы в квартире, в которой только что поселились, стали помаленьку наводить порядок.

А через день явилось начальство, и нам велели подыскать другое помещение. Лаушкины позвали нас к себе. В их двухквартирном доме, который оказался цел, они отдали нам лучшую, переднюю квартиру, а сами поселились в угловой, поближе к сараю. Мы, конечно, обрадовались. Наконец-то, после всяких мытарств у нас будет крыша над головой. И мы тут же переехали к Лаушкиным. А их дом был как раз напротив собора. Но собор этот, узкий такой и высокий, чем-то похожий на Петропавловский

собор в Питере, немцы взорвали, и теперь напротив окон у нас лежали руины из рваного железа и битого кирпича.

Смотрю в окно, а там пацан миной играет, берёт и бросает её. Мина, конечно, взорвалась, что-то дзинькнуло в стекло и впилось позади меня в стенку. Осколок! Он пронзил стекло насквозь и едва не убил меня. Мать закричала в испуге и шлёпнула меня по затылку.

Вечерами к нам стала приходиться с гитарой Клава Лаушкина. Они с Лидой садились поближе друг к другу и пели. У Лиды нашей был высокий, красивый голос, а у Клавы – низкий, грудной. Обычно они пели вместе, на два голоса, получалось ладно и хорошо. Мы слушали девчат, и нам нравилось. Это были прямо-таки концерты. А песен тогда было много. Всяких. Довоенные и фронтовые, романсы, народные песни. И все их знали. Знал их, конечно, и я. Иногда я принимался им подпевать. Голосок у меня тонкий, хороший, слух даже замечательный. От природы. Мама моя когда-то пела в церковном хоре в Хорольском, которым тогда управлял Митрофан Иванович Пятницкий. Теперь же высоким голосом пела Лида. И я. Девчата меня не прогоняли, и получалось у нас хорошо.

Поставили нам на постой командиров. Их только что стали в армии называть офицерами, а бойцов, красноармейцев – солдатами. Ввели погоны, а отложные воротники сделали стоячими. Один офицер был майором, Лисунов Александр Емельянович, а другой – капитан Евдокимов. Они подпросили маму мою и Лиду подшить эти самые воротнички, когда вошла тётя Лида Лаушкина и спросила офицеров:

- Чего это вы наводите, ай на танцы собираетесь?
- Хозяин приезжает, – сказал майор Лисунов.

И я вмиг сообразил: «Хозяином» звали командующего Центрального фронта, а Центральным фронтом командовал Рокоссовский. Ничего себе! Мы с пацанами тут же бросились к средней школе напротив, где поставлено было оцепление из автоматчиков. Нас троих, конечно, они пропустили. Чего там – мне не было и восьми лет.

Рокоссовский стоял посреди школьного двора – высокий такой, красивый, в хромовых сапогах. В кителе, в котором от натуги, я заметил, треснуло где-то под мышкой. Он без конца хлопал себя по сапогу и распекал своих генералов... В самом деле, какой высокий, красивый! Прямо какой-то артист, богатырь из русской народной сказки! Сроду таких героев не видывал... Да ещё освободитель всего нашего Малоархангельска... Где же мне было знать тогда, что он врежется в память мне на всю жизнь, станет любимым Маршалом!..

И недаром потом в Москве, на Красной площади, сидя на белом коне, он будет командовать Парадом Победы. Да ещё в мой день рождения на венце летнего солнцестояния – 24 июня.

Вот что бывает иной раз на войне, какие метаморфозы. Рокоссовского не каждый-то генерал мог тогда видеть на фронте, а я его видел тут у нас во дворе старой школы, и я этим очень горжусь!..

Хочется привести свои стихи об этом исключительном случае в моей жизни, передать свои впечатления.

Китель Рокоссовского

*После Сабурово – фронта Хозяин
В Малоархангельск нагрязнул.
Был я мальчишкой, рот свой раззявил,
Не оторвался, как глянул!
Был он высок и красив, в сапогах.
В кителе, сшитом Филиппом,
Был тут такой у нас – Лаушкин, маг.
Специалист по клипам.
В кино хоть полководца снимай -
Вылитого артиста.
Дань Рокоссовский фигуре отдай!
Видел, стоял очень близко.
Мы, пацаны, сквозь оцепленье
Как-то пробрались. В кругу*

*Трость проявляла особое рвенье.
По сапогу, по сапогу!
Алый околыш, белые лица.
Мог бы любого в окоп!
Я же на китель не мог надивиться.
Ажник он треснул под мышкой,
Сроду не видел, это уж слишком,
У генералов трескалось чтоб.
В кителе, сшитом Филиппом,
Встал Рокоссовский у школы старой.
Бил Рокоссовский по клипам,
Сразу по всем кошмарам.
Я бы напротив музею
Отдал те клипы следом,
А тут бы у школы поставил Расею
В кителе, сшитом соседом.
Я бы поставил памятник тут,
Сделанный фронтовиком.
Тоже сосед мой!
Годы идут,
Не успокоюсь на том!
Все говорят, мир – из идей.
Крутится шарик неистов.
«Филипп» с латыни – любящий лошадей,
А Рокоссовский когда-то был кавалеристом.*

Потом к Рокоссовскому я так привязался, что до сих пор всё подряд читаю о нём: и его книгу «Солдатский долг», и другие книги о нём, и фильмы смотрю о нём документальные. По местам бывшим езжу и представляю, как тогда было, на фото снимаю те места, как это он первую – оборонительную фазу и вторую – наступательную фазу боевой операции битвы Центрального фронта на Орловско-Курской дуге талантливо, умно провёл и дошёл затем от Малоархангельска до Берлина.

Вот Курган, где мы были тогда тут с тётей Дусей. А летом сорок третьего Рокоссовский оперативно ко-

мандовал фронтом на подступах к Малоархангельску. Вот несколько в глубине, где-то между Легостаево и Луковцем, Рокоссовский командовал фронтом, отражая наступление врага.

Но это всё будет потом, всё после станет происходить. А пока мы живём в Малоархангельске у Лаушкиных. И происходит случай за случаем, война же кругом, сражения, чего только не случается. И не только на поле битвы, но и в самом Малоархангельске. Вот мы идём по Косому переулку из базовой школы, и я приотстал от моих друзей, а они шевельнули слегка лопатой мину – крылатку и взлетели на воздух от этой немецкой мины – крылатки. Погибли все трое. А вот сюда, к Лаушкиным, бежит молодой лейтенант, забрызганный грязью, кричит медсёстрам:

– Сестрички, сестрички! Батальон гибнет, бомба от немецкой «рамы» попала прямо в серёдку... Скорее, скорей...

И я лечу туда, на перекрёсток, что возле больницы. Кровавое месиво. Крики умирающих: «Братцы, пристрелите! Пристрели-и-те-е...»

А на другой день к нам домой подъезжает машина, тётю Дусю забирают в Луковец, туда временно переезжает район, а тётя Дуся в райкоме инструктором. И мы с ней тоже отправляемся в Луковец... Такие-то пироги... Такие -то дела. Всё меняется живо и молниеносно, как в каком –нибудь калейдоскопе.

ВОЙНА УШЛА КУДА-ТО ЗА СТАНЦИЮ, ЗА ГЛАЗУНОВКУ. «А КОНИ ЗВОНКО ТОПАЛИ». «ПОТЕРЯЮ Я СВОЮ КУБАНКУ». «ПЕСНИ, ПЕСНИ, О ЧЁМ ВЫ КРИЧИТЕ?» (СЕРГЕЙ ЕСЕНИН). НАС ЭВАКУИРУЮТ В ЛУКОВЕЦ

В самом деле, войны как будто не стало, она ушла куда-то за станцию, за Глазуновку. Ведь не бомбят, не стреляют над ухом, не жгут нас в подвале живём. Только

погромыхивает где-то за горизонтом. Там и идёт своим ходом война, там где-то линия фронта.

И снова Малоархангельск – это прифронтовой городок, только теперь не с той, немецкой стороны, как было почти полтора года, а с этой, нашей стороны, а это совсем ведь дело другое. Говорят на улицах по-русски, песни поют по-русски. Шёл я как-то по верхней улице городка, а там у колодца возле Ефремовых коней «напувают». Казаки. В башлыках и кубанках. Наверно, кубанские казаки. И песни всякие, песня за песней. Сразу врезаются в сердце и запоминаются на всю жизнь.

– А кони звонко топали, – это поют одни. А другие поют:

– Потеряю я свою кубанку
Со своей удалой головой.

Потом когда-нибудь напою я эту песню тому же Вите Садовскому – баянисту, поэту, станишнику, кубанскому казаку, а он мне скажет:

– Что-то я не слышал там у себя такой песни.

– Да вот, – повторю я ему. – Вот так звучит эта самая песня.

Где-то там, далеко за Волгой,
Разгорался небывалый бой.
Потеряю я свою кубанку
Со своей удалой головой.

А потом этот самый Виктор Фёдорович Садовский съездит туда к себе, на Кубань, пройдёт с баяном по станицам своим кубанским, приедет и скажет:

– Да наши, наши казаки были тогда, в сорок третьем, у колодца тут у вас в Малоархангельске. Кубанцы пришли вместе с сибиряками сюда, на Центральный фронт, изпод Сталинграда...

Пацаном был, а всё помню. Всё слышал, всё видел, и врезалось всё в меня на всю жизнь. Культурная программа работала тогда, как часы, на полную катушку. Кого только не было тут, кого только не слышали, чего только не перевидали. Даже то, что сейчас, например, никогда

не увидишь. На Урицкой улице, помню, дом деревянный со свободным, большим помещением сохранился после немцев. Так там кино показывали. Сидели мы прямо на полу и смотрели и наши, и даже немецкие, трофейные фильмы. Много было всякого добра, а запомнилось из трофейных про трёх мушкетёров. Но почему-то не про самих мушкетёров, а про их слуг. Толстенькие такие, пузатые, на немцев похожи.

Вот сидят они и щиплют кур. И перья бросают в котёл, где собираются суп варить. Комедийный фильм. А котёл подвешен у них к потолку и качается. И слуги весёлые – превесёлые поют такую песенку:

– Ах, суп, суп, суп!

Очень даже вкусный суп.

Или тут же на другой день выступают наши артисты. Кого только не было на Орловско – Курской дуге, кто только не выступал. Например, Лидия Русланова или Изабелла Юрьева. Говорят, где-то пела даже Клавдия Шульженко.

– Давай закурим, товарищ, по одной.

Давай закурим, товарищ мой.

Говорят, в Мурашихе, это в трёх километрах от города в сторону Глазуновки, пел перед нашими бойцами даже Утёсов. А для тех, кто там не был, не слышал его, так для нас тут гремел голос его с пластинок. Мы считали, что это он, Леонид Утёсов, пел про наш Малоархангельск.

Офицерский вальс

– С берёз не слышен, невесом,
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы.
И, словно в забыты,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.

*И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом.
И каждый думал и мечтал
О чём-то дорогом.*

*И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну.
И каждый знал, дорога к ней
Ведёт через войну.*

Вот как пел, помню, Леонид Утёсов! А у меня, пацана, на глаза аж слёзы навёртывались. Такой голос, такие песни, такие артисты! И дальше песня про наш городок. Мы думали, что тут же у нас в Малоархангельске её и сочинили. И как же ещё? Вот как.

*Спит городок...
Спят облака...
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука...
Пусть я с вами совсем незнаком,
И далёко отсюда мой дом.
Но как будто бы снова
Возле дома родного
Мы танцуем вдвоём,
Мы танцуем вдвоём.
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём...*

И совсем, совсем как про наш дом, про нашу калитку.

Если завтра в поход... если завтра в поход...

Я пройду мимо ваших ворот.

Так пели все тогда, сами писали и переиначивали песни на известные молитвы, но на свой лад, на свои слова, какие звучат в душе до сих пор.

А за горизонтом, где-то за Глазуновкой, погромыхивал гром, проходила война. И каждый чувствовал всё в

этой жизни так остро, так тонко, сегодня ты есть, а завтра тебя может уже и не быть.

*С берёз не слышен, невесом
Стекает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы.
И, словно в забыты,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.*

Сегодня Утёсов пел танкистам в прифронтовом лесу, в Мурашихе, с открытой эстрады, прямо с грузовика, а на завтра узнал, что весь танковый полк сгорел в жестоком бою тут же на Орловско – Курской дуге.

И звучали во мне слова Сергея Есенина: «Песни, песни, очём вы кричите?» Когда весна уже кончалась, отцветали яблони и груши. Военные засуетились. Появились новые воинские части. По всему было видно, что на фронте что-то затевается. А у нас тут готовилась эвакуация местного населения в тыл, в глубину обороны. Вещи, которые мы сохранили от пожаров, выбросив тогда из дома на середину двора, нам увезли в Луковец на военной машине. А шкаф, сделанный дедушкой, вершина его столярного мастерства, оставался, не хватило в машине места. Надо было увезти и его. Дедушка думал, думал, как бы и его перевезти, наконец-то додумался. Взял и приделал снизу к нему колёсики и сказал мне:

– Покатим, Лёлька, наш шкаф вдвоём с тобой на колёсиках.

– Аж до Луковца? – удивился я. – Все двадцать километров?

– Конечно, а как же ещё? – кивнул утвердительно дедушка, и мы покатали свой шкаф на Восток, откуда двигались машины и шли пешком новые воинские части.

Везти шкаф было нелегко, даже трудно. Особенно по выбоинам. Асфальта в те времена не было, и дороги, как в песне поётся, представляли в лучшем случае «пыль да туман». Были такие колдобины, выбитые тракторами, тащившими пушки, что шкаф скрывался в них до половины. Поднатужась, мы вытаскивали его каждый раз и продолжали свой путь.

Проехали город, Репьёвку, держа путь на Губкино, в Луковец. Но прежде перед Подгородненским прудом надо было подняться на Мамошинский бугор. Нам, конечно, он показался горой. А ну попробуй въезди со шкафом на колёсиках на высоту в полкилометра. Но мы с дедушкой это делали, передыхая почаще. Из себя выходили. Глаза вылезали на лоб от натуги, дыханье сбивалось. А мы всё толкали и толкали шкаф свой впереди себя

– Стоп! – говорил дедушка, и мы останавливались, садились на травку, которой хватало нам на обочине.

– Вон там, по середине бугра, видишь, справа деревня, это Мамошино, – сказал дедушка, – мы с тобой сделаем там привал. Перекусим, подкрепим силёнки.

Так и сделали. Дедушка расстелил на травке мамин платок. Вытащил из верхнего ящика шкафа еду: хлебушка по два кусочка, солёные огурцы, по яичку и бутылку с молоком. Всё, что собрала в дорогу нам моя мама.

– Мужская эта работа, – вздохнул дедушка, – из болота тащить бегемота.

Наши женщины уже были там, в Луковце, и ждали нас.

Мы с дедушкой перекусили маленько, и прибавилось у нас не только сил, но и ума. Дедушка перевязал своим ремнём шкаф посерединке, и мы потащили шкаф, не толкая его вперёд, перед собой, а за собой его потащили. Так было легче. Да и дорога стала более пологой. Перевал мы уже одолели.

В Луковце мы поставили дедушкин шкаф в сарай у дома, куда нас направили жить.

– Целее будет, – погладил дедушка шкаф своей рукой.
– Не страшен ему теперь никакой дождь.

– Никто отсюда не увезёт его на колёсиках, – сказал я и тоже погладил шкаф, гладкий такой, хороший. – Будет нам служить ещё долго.

В Луковце всё кишело народом. В каждом доме, в каждом дворе были эвакуированные из Малоархангельска. А в садах, по берегу Сосны, располагались воинские части, и наших солдат было тоже много, только они не ходили так вольно, как мы.

Вечером в саду через поле показывали кино. Белую простыню натягивали между стволами яблонь и, как только темнело, принимались крутить киноленты. Начинали обычно с «Новостей дня». Тыл – фронту. Мы смотрели, как где-то на Урале подростки точили на станках детали для танков. Подростки эти были ещё маловаты росточком, тогда они подставляли под ноги себе деревянные ящики и так работали, выполняли и перевыполняли нормы. А на Алтае один пчеловод собрал 100 тысяч рублей и передал их в фонд строительства самолёта. На борту его попросил написать «За Победу».

Вчера приезжали сюда, в Луковец, военные киносъёмщики, и все мы ждали, что вот-вот в «Новостях дня» покажут и нас, наши места на Орловско – Курской дуге. Приходили сюда смотреть кино и солдаты. Молодые были ребята, любили всякие фильмы и после шуровали с девушками по кустам. Движок тарахтел часов до двенадцати. А после двенадцати ходить никому не разрешалось, солдатиков начинали гонять патрули.

Как-то после кино я пришёл домой и уже спал, сморённый дневной беготнёй, как вдруг в дом к нам вбежала Тоня, она жила у нас и в Малоархангельске. Влетела Тоня в комнату и нырь ко мне под бочок. Лежит и дрожит. «Наверно, от холода», – подумалось мне. И тут в сенях затопали ногами, загремели оружием, вошёл патруль.

– Есть тут кто? – спросил один из патрульных.

Тоня задрожала ещё сильнее, так что мне показалось, сейчас задрожит вся кровать.

– Видел, – сказал другой патрульный, – она вбежала сюда, она где-то здесь.

– Есть тут кто?! – строго повторил первый патрульный. Я понял, что Тоню надо выручать.

– Да я тут, – сказал я сонным голосом, вроде спросонья.

– А-а, это ты, малец, – ответил первый патрульный. –

Ну, спи, спи.

Патруль вышел из дома и затопал дальше своей дорогой. А второй патрульный вернулся. Приблизился к моей постели, откинул тёплое одеяло, потрогал Тоню, сказал:

– Холодная.

И, засмеявшись, вышел наружу вслед за патрулём и исчез в темноте. Какое-то время Тоня лежала со мной бездыханно. Потом подхватила, поцеловала меня прямо в губы и ушла в эту тёплую майскую ночь.

Вот такие-то были любовные игры в войну тут у нас, в Луковце. Как я понял потом, живое брало своё.

Утром Тоня, как ни в чём не бывало, мыла полы, варила картошку. И только один раз уголками губ улыбнулась мне, чуть прищуривав глаз.

Целый день я смотрел на солдат, особенно молодых, кто из них был вчера ночью у нас, но попробуй узнай. Все в одинаковой форме, одинаково строги, все на защите Отечества, среди своих на Орловско – Курской дуге. А патруль на то и патруль, чтобы рыскать всюду: прифронтная полоса, могут ведь быть и немецкие разведчики тут у нас на прифронтной полосе.

**САМОЛЁТ САДИТСЯ В КУКУРУЗЕ. ЛЁТЧИКОВ
В НЕБЕ СБИВАЮТ НА ПАРАШЮТЕ.
ТАНКРЕМОНТНОЕ ПОЛЕ У СОСНЫ – РЕКИ.
ТАНКИСТЫ – РЕМОНТНИКИ УЧАТ МЕНЯ ЧИТАТЬ.
СТРЕЛЯЕМ ИЗ РАКЕТНИЦЫ**

Воздушный бой над Луковцем был скоротечным. На наш маленький самолёт – «кукурузник», как шакал какой-

гибудь, набросился бронированный истребитель с крестами и стрелял, расстреливал его из своей скорострельной пушки. Юркий «кукурузник» не знал, куда ему деться. Он делал виражи направо и налево, свечой поднимался вверх, камнем бросался вниз. Истребитель с крестами его догонял, выпускал в него очередь за очередью, но наш «кукурузник» чудом оставался жив, держался в воздухе и грызлся короткими пулемётными очередями.

«Кукурузник» сел за Луковцем в кукурузное поле. Немец походил кругами над ним, пострелял, пострелял из своей скорострельной пушки и убрался куда-то. Мавр сделал своё дело, мавр может и улететь. И люди со всего Луковца бросились туда, наверх, к нашему самолёту.

Мы, пацаны, первыми прибежали к нему, запыхавшись, когда в нём никого ещё не было. Самолёт стоял у края кукурузного поля и был весь изрешечен вражескими снарядами. Из кукурузы показался сначала один наш лётчик, затем второй, окровавленный весь, в кожаной куртке. Сюда по кочкам уже летела машина с красными крестами. Медицинские сестрички бросились к лётчику.

– Ничего, ничего, – улыбался он, утирая лицо рукавом. – Видите, меня только слегка зацепило.

И показал на второе сиденье, где он сидел за пулемётом. «Дюралем» обтянутое сиденье было исполосовано немецкой очередью, и тоже всё было в крови.

– Это я щекой за «дюраль» зацепился, – объяснял лётчик, – уже тут на земле, когда выбирался из кабины. – Сволочь! – махнул он рукой в ту сторону, куда улетел вражеский самолёт.

А медсестра уже пеленала лицо ему белым бинтом. Вскоре она его так запеленала, что говорить лётчику стало невозможно.

– Молодцы, ребята! – говорили медицинские сёстры лётчикам. – Герои наши! Такая махина, бронированный, весь в пушках, а с вами не справился.

– Ура-а-а! – кричали мы, пацаны, нашим лётчикам и грозили в сторону, куда улетел немецкий истребитель.

Не успели мы вернуться домой к себе в Луковец, как небо покрылось летящими самолётами. Наши или немецкие?

– Наши, – присматривались к самолётной армаде танкисты с танкоремонтного поля на берегу реки Сосны, здесь стояла воинская часть полковника Угрюмова, которая ремонтировала танки, их везли и везли сюда откуда-то из-под Поньрей.

– Наши, – подтвердили они. – Летят оттуда, от немецов, но лёгкие. Стало быть, отбомбились и возвращаются. А немцы их догоняют зенитками. Вон сколько от них хлопков вокруг самолётов...

И тут пошёл вниз один самолёт, другой. Повисли два парашюта с лётчиками. «Наши лётчики», – сжалось сердце у нас. Белый хлопок от зенитки возник возле парашюта, парашют загорелся, и лётчик камнем полетел вниз...

Через час лётчик лежал на столе. Его обступили так, что к нему нельзя было подступить. За спинами я видел только жёлтые пятки лётчика. Женщины заплакали, а мне стало нечем дышать. Только что жив был, выполнял боевое задание, и вот его нет, и не будет уже никогда. Поставят на могиле его жестяную звёздочку. Останется только память о нём...

Надо же было, танкоремонтная часть полковника Угрюмова была тут поблизости от нас на танкоремонтном поле, а поблизости к нам, у соседей, был на привязи пёс Угрюм, злой, как чёрт. Несколько раз его расстреливали немцы, но он оставался жив и вот, весь в шрамах, сидел на цепи. Никого, кроме хозяев и полковника Угрюмова, не признаёт. Вот и сейчас Угрюм услышал собачий лай, он накатывался сюда к нам откуда-то издалёка. Это вывозили на низких тележках раненых с поля боя. Всех собак пособирали в округе и впрягли в эти тележки, везущие раненых. Несколько раз приходили и к Угрюму, но тот никого не подпускал.

Мы сидели с мамой в саду, и она держала в руках «Букварь». В какой раз она пыталась учить меня читать, складывать буквы в слова.

– Рабы не мы, мы не рабы.

Но всякий раз я придумывал что-нибудь, чтобы от неё улизнуть. Вот и сейчас.

– Слышишь? Раненых с фронта на собаках везут, – сказал я.

– Где? – переспросила мама.

– А вон где, – показал я в совсем другую сторону, не там, где катили тележки собаки, и нырнул за сарай.

Только меня и видали.

С утра мать одевала меня в белую рубашку, а к ночи я возвращался домой в чёрной. Солдаты любили гладить меня и сажать на колени. Особенно один дядечка – пожилой украинец.

– Хлопчик, – говорил он мне ласково, – у меня ж дома такой же внучек, як ты.

Вечерами у костра танкисты читали газету. «Правда», которую привозили сюда каждый день откуда-то из штаба. В этот раз читали «Василия Тёркина» – поэму Твардовского.

– А ты, сынок, умеешь читать? – обращался ко мне тот, кто читал поэму.

– Так он ещё мал, – отвечал дядечка, с Украины, который держал меня на коленях.

– Пусть учится и как можно скорее, – говорил молодой солдатик, кто читал всем газету. – Нам надо уметь читать, без этого, хлопец, нельзя... достойно родину защищать...

Теперь было так. С утра я, как всегда, приходил к танкистам в белой рубахе. И весь день те, что были свободны, учили меня читать. По «Василию Тёркину» я учился складывать буквы в слова и улавливать смысл этих слов. Когда же танкисты уезжали на отремонтированных танках куда-то на фронт, в сторону Понырей, я читал «Букварь» с мамой. И она каждый раз удивлялась, какой я способный и как быстро учусь складывать буквы в слова. Она просто не знала, что читать меня учат ещё и танкисты, и я у костра слушаю «Василия Тёркина» и знаю уже кое-что из поэмы Твардовского наизусть.

И танкисты не знали, что я теперь ещё и с мамой охотно учусь складывать буквы. И ещё люблю петь у костра вечерами с солдатами песни. «Соловьи, соловьи! Не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят...»

А ещё я любил прокатиться на отремонтированном танке «Т-34» до Сосны – реки. И, когда залезал в него через передний люк, видел изнутри его запёкшуюся кровь. Однажды я подобрал под сиденьем стрелка – радиста чёрный шуруп с розовой косточкой, а это был человеческий палец. Мы с пожилым дядечкой – украинцем, пробуя отремонтированный мотор, мчались на танке вперёд, и я размахивал над собой своей белой рубашкой. Воображал, что мчусь на танке в сторону фронта, куда-то до Малоархангельска и дальше, дальше на Запад.

Возле танкоремонтного поля река Сосна течёт вниз излучиной, недаром село называется Луковец. Не от слова «лука», а от излучины. И любим мы, пацаны, проводить время на речке. То на дощатой лодке катаемся, гоняем лодку туда-сюда, под мостом переправляем в сторону Можарово или, наоборот, в сторону Губкино. Это так мы спасаем её, свою лодку, от можаровских или от губчанских пацанов. А то рыбу на речке ловим, кубарь ставим или удочкой, донкой ловим, а то даже голыми руками. Так на речке дни и проводим.

В свободное время я торчу у танкистов на танкоремонтном поле, а ребята, какие постарше, ходят куда-то далеко-далеко, аж за Малоархангельск, на Майскую Зорьку. Там были бои, и осталось много оружия, вот они и приносят оттуда пистолеты, гранаты и даже ракетницы. Есть такая ракетница у одного пацана, зовут его Коростовый. Это потому что лицо у него всё в коричневых пятнах, в коросте. Сам он местный, луковский, а не как мы, эвакуированные. Из Малоархангельска. Но живёт Коростовый в своей хибарке один, родню его расстреляли немцы. Зарезали Коростовые поросёнка и стали палить соломой, облитой керосином. А немцы подумали, что это они нарочно керосином-то, чтобы немцам не до-

сталось. А у них на этот счёт строго: партизаны, отравить их хотят и – к стенке. Сходил Коростовый за оружием в Майскую Зорьку, и появился у него пистолет – бельгийский «браунинг» и ракетница. Пистолет наши офицеры у него отобрали, а ракетницу оставили. И вот теперь Коростовый проводил день и ночь на реке. Швырял гранаты, глушил рыбу и тут же поджаривал её на костерке. Тем и кормился. А из ракетницы Коростовый стрелял в воду просто так, для интереса. Интересно смотреть, как ракета красного или зелёного цвета уходит вводу и высвечивает всё там до самого дна.

– Ну-ка иди сюда, – подзывал он меня. – Давай покажу, как в глубину воды уходит ракета. Только хлеба принеси, хоть кусочек.

Мне, конечно, это всё интересно. Вымозжу я у мамы горбушку, принесу Коростовому и говорю:

– Ну показывай.

А он опять за своё.

– Принеси, – говорит, – американской тушонки. Видел, – говорит, – как военные принесли вам целую банку.

– Не ври, – отвечаю я ему. – Откуда у нас американская тушонка или американский яичный порошок, из которого делают яичницу. Это не всяким военным дают, например, танкистам – ремонтникам, а только гвардейским частям. Они ходят в штыковую атаку и прорывают немецкую линию обороны.

– Много ты знаешь, – замечает мне Коростовый. – Ладно, принеси ещё хлеба. Покажу, как стреляет ракетница.

– В небо?

– Ты что! В небо нельзя. Враз ракетницу военные отберут. В воду стрелять буду... в самую глубину...

Принёс я Коростовому ещё хлеба. Это дедушка мне свой отдал. Коростовый слопал дедушкину горбушку и, не теряя времени, как-то небрежно выстрелил в воду. А ракета скользнула по её поверхности и вмиг перелетела на тот, другой берег. А там корова ходила, паслась. Ракета

впилась ей в бок, корова хвост трубой и летом на длинный-длинный Егурновский бугор. Там, на самом верху, деревушка дворов в шесть -Егурново. Корова пролетела её и скрылась...

– Дурак! – сказал я Коростовому. – И ракетница твоя дурацкая. Больше не буду хлеба тебе давать.

Но на речку я всё же ходил. И вот как-то раз искупался я на своём привычном месте, возле моста, и лежу, греюсь на солнышке, как вдруг подлетает легковая машина, «виллис» называется, и из неё выходит полный дядька в штанах с лампасами и китель с широкими погонями. Генерал! Пухлый такой, небольшого росточка, лицо широкое, улыбается. И два автоматчика следом.

– Ух, жарница какая! – вздохнул генерал. – Надо искупаться.

И стал раздеваться, аккуратно класть одежду на берегу. И бултых в воду, поплыл на тот берег, вразмашку, высоко взмахивая руками.

Один автоматчик остался возле его одежды, а другой поплыл с генералом рядом, не отставая ни на шаг и держа автомат высоко над собой.

«Важная птица! – подумалось мне. – Как они его охраняют. Конечно, прифронтная полоса. Может в кустах быть вражеская разведка... И кто же тут у нас самый главный? Рокоссовский? Но это не Рокоссовский. Я его видел в Малоархангельске. А кто же ещё? Генерал Пухов – командующий 13-й армией. Вот кто! Конечно, Пухов»...

Генерал искупался, вышел на берег, попрыгал на месте, выливая воду сначала из одного уха, потом из другого. Оделся и укатил на своём тупорылом зеленоватом «виллисе», я остался стоять, как и стоял. Надо же, Пухова видел! Никто не поверит. И Рокоссовского, и Пухова. Не знал я, что всё это с лета 43-го врежется в меня на всю жизнь.

Забегу вперёд и скажу. Чудо-юдо какое. Лет через сорок, в 80-е годы, когда было ещё Приокское издательство, приехали мы из Орла в Калужское отделение, по

книжным делам. Вижу перед собой главного редактора Калужского отделения: копия того генерала, что встретил я летом 43-го года у Сосны-реки в Луковце. Такого же роста, пухленький, лицо широкое, улыбается.

– Вы, – говорю, – Пухов?

– Да, Пухов, – отвечает он.

– Это ваш отец, генерал Пухов был командующим 13-й армией в сорок третьем году?

– Да, – говорит, – мой отец.

– Так я видел его! Видел!

И я рассказал, как всё было. И такое бывает в жизни. Разве не чудо? Через сорок лет узнать даже не самого генерала, а его сына, отставного офицера. Так они были похожи.

**ГОРЕ МОЛОДЕНЬКОГО ЛЕЙТЕНАНТИКА.
ОН СГОРЕЛ В ТАНКЕ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ.
ТРИ ДНЯ АРТИЛЛЕРИЮ РК ВЕЗЛИ НА ФРОНТ,
ВСЕГО ТРИ ЧАСА ВЕЗУТ С ФРОНТА**

Особенно мне запомнился такой случай в Луковце. Привезли на танкоремонтное поле танк «Т-34» с командиром экипажа молоденьким лейтенантом. Пришёл он вечером к нам, попросился переночевать.

– Утром в бой! – сказал он. – Так что силы мне надо иметь.

– Как зовут-то тебя, сердешный, – спросила его моя мама. – Откуда ты родом?

– Из Ленинграда, – ответил он, хмурясь. – Вот, – показал он письмо. – Вот! Только что получил... В блокаду все родные погибли... все до единого... Один теперь я, как перст...

И достал из кобуры пистолет.

– Пойду за угол и застрелюсь, – заплакал лейтенант и тут же зарыдал навзрыд. – Жить не хочу...не хочется жить...

– Да ты что, ты что, – успокаивала его, как могла, моя мама. – Как это не хочется жить? А кто отомстит им? Кому продолжать род?.. Да как же тебя зовут-то хоть, миленький? Алексей? Дорогой ты мой, Алёшенька, божий ты человек... Да это же последнее дело – стреляться! – обнимала она его, плечи у него содрогались. – Вернёшься, Алёша, с войны живой, будешь после блокады свой город отстраивать... С кем-нибудь встретишься, женишься, дети пойдут...

– Папа у меня был рабочий Кировского завода, тоже танки ремонтировал... Мама была хорошая, просто замечательная у меня была мама... и сестра Оля...

– Ничего, ничего, – гладила моя мама по голове молоденького лейтенанта, а тот всё плакал, рыдал, всё никак не мог успокоиться.

Лида, сестра моя двоюродная, увела меня в амшаник, где была её постель, и я не услышал, что дома у нас было дальше, в большой комнате – в горнице. Я лежал в амшанике, сдерживая дыхание, и всё глядел в потолок, до самого утра не мог заснуть. страшно было, особенно за лейтенанта. И всё же меня сморило каким-то тяжким, помрачительным сном. Проснулся я уже утром, когда в окна глядело солнце, и первым делом спросил маму, едва на ноги подхвativшись:

– А как же Алёша этот? Вчерашний лейтенантик?

– На фронт отправился, – вздохнула мама. – Чуть свет прибежали за ним. В танке сменили мотор, и Алёша уехал на нём куда-то, за Малоархангельск... В общем, туда, где война...

Целый день она учила меня читать, складывать слова из букв по «Букварю».

– Рабы не мы, мы не рабы, – шевелил я губами, вникая в тайный смысл того, что говорилось мной вслух.

Всё также где-то вдали с собачьим лаем накатывались тележки, везущие раненых с фронта, но мне уже не хотелось улизнуть никуда ни от мамы, ни от её «Букваря». Я отчаянно складывал буквы в слова:

– Рабы не мы, мы не рабы.

К вечеру мама, как всегда, надела на меня чистую белую рубашку и я, как всегда, полетел на танкоремонтное поле к танкистам – ремонтникам. Первым делом я увидел своего дядечку – пожилого украинца и спросил его:

– Вчера стоял тут танк «Т-34» и где он?

– На фронт ушёл.

– А командир его, молоденький лейтенантик? Приходил к нам ночевать...

– Только что ребята вырвались с поля боя... Сгорел танк вместе с молоденьким лейтенантом. Сгорел, сынок, заживо... Снарядом заклинило люк, никто не смог выбраться из горящей машины. Кричали, посылали врагу проклятья... Сгорели на нейтральной полосе, нельзя было нашим к ним подобраться...

После, потом уже, когда я стал писателем, и оказался в Доме творчества под Питером, в Комарово, 9 Мая мы все пошли тут поблизости в Репино, к Памятнику нашим погибшим героям, и я рассказал собравшимся о жестокой битве тут, у нас, на Орловско – Курской дуге. И все, кто был тут, в Репино, земляки – блокадники и не земляки, просто люди смахнули слезу по Алёше – том молоденьком лейтенантике, потерявшем в блокаду родителей и сгоревшем там у нас, на подступах к Малоархангельску, на Центральном фронте под командованием Рокоссовского.

Такие-то события вижу я перед собой всю свою жизнь. А танкисты ремонтники тогда, летом 43-го года, вечерами читали у костра «Василия Тёркина», и я уже сам мог читать из тех газет кое-что по складам.

Но вот сегодня с утра на фронт через Луковец пошла артиллерия. Новенькие, свежавыкрашенные в зелёный цвет тягачи – трактора везут новенькие, свежавыкрашенные в зелёный цвет пушки – гаубицы. По обе стороны каждой из них сидят с винтовками наши солдаты в новенькой, свежей, зелёной форме и в новеньких касках. Это брошена вперёд артиллерия РГК – Резерва Главного Командования.

Военные говорят, значит, первая фаза – оборонительная подходит к концу. Скоро начнётся вторая фаза – наступательная. Проще сказать, значит, скоро наши перейдут в наступление.

И в самом деле вскоре всё там же где-то, под Малоархангельском, загрохотало, задрожала земля, засверкало за горизонтом. Полетели трассирующие снаряды и самолёты. А когда всё отлеталось и отгрохотало, опять же через нас, через Луковец, обратно на Восток пошли тягачи с артиллерией РГК. Только были они уже искорёжены, без солдат с винтовками и шли всего три часа.

Мы стояли возле дороги, смотрели на них, и сердце сжималось от страха. Неужели немцы опять перейдут в наступление и окажутся тут?

– Рабы не мы, мы не рабы, – шевелил я сухими губами.

Но наши самолёты летели вперёд. Но танки с танко-ремонтного поля уходили туда же, на фронт. И страх сходил, дух у всех нас, у всего населения, поднимался. Мы верили, что нас они не остановят, наших не остановить. Мы скоро вернёмся в свой Малоархангельск, скоро мы будем дома.

х х х

Всё, что у меня связано с Луковцем и что произошло значительно позже необычный, почти невероятный факт. По времени почти двадцать лет спустя, когда волею судеб, окончив Курский пединститут, с дипломом я оказался в том же Луковце учителем, сам уже учил детей в средней школе русскому языку, литературе и истории. Именно в тех местах, где когда-то, в сорок третьем году, солдаты учили меня читать и любить свою родину, литературу, историю. А писать потом я и сам научился.

– Рабы не мы, мы не рабы, – учил я теперь детей в Луковской средней школе, они сходились со всей округи, порой приходили за семь – девять километров, из другого района.

Так вот, оказался я тут учителем. И жить сначала стал там, у кого жить начинали мы в сорок третьем году, у Ольги Сергеевны. Её дом стоял отдельно, чуть выше школы, она приняла нас сразу всех, эвакуированных из Малоархангельска. И вот теперь она работала в школе бухгалтером и хорошо помнила меня ещё маленьким, тогда лет около семи. Теперь она, как и все, звала меня по имени-отчеству, тем более, что директор Пётр Николаевич, собиравшийся уезжать к себе в Орёл, хотел оставить меня вместо себя.

Ничего себе, директор после года работы в школе. Неплохим, наверно был я учителем, если и в Губкинской семилетке, и тут в Луковской десятилетке оставляли меня директором.

Помню, в Губкино дело было в мае – месяце, в небольшом классе с распахнутым в сад окном. Замечательно как! Яблони цветут, соловьи поют. Передо мной дети сельские, которых я очень люблю. Что они видят тут, кроме меня – своего учителя литературы, кроме книг в школьной библиотеке, которая тут в шкафу у меня под рукой. Ни театра нет, ни тогда ещё не было телевизора. Один только я глаза в глаза с ними.

Шире окно! Больше воздуха! Я читаю вам, как и мне когда-то читали «Василия Тёркина», во весь голос я читаю вам эти строки из Константина Симонова:

*«Был у майора Деева
Товарищ майор Петров.
Вместе они служили
Ещё с двадцатых годов»...*

И пошло, поехало, покатило. Голос у меня дрожит, аж слеза прошибает, так читаю я про войну, про солдат и про офицеров. Видите – цветут яблони.

Слышите – поют соловьи. И это благодаря им – майорам Дееву и Лисунову, капитану Енакиеву и Евдокимову, который лежит под плитой в Парке Героев в городе Малоархангельске. Недаром до сих пор Женя Вершинин, который учился тогда у меня в Губкино в седьмом классе, называет меня «учителем».

А в Луковце с осени, в Луковской средней школе? Я на уроке в пятом классе учитель русского языка и литературы. Классная комнатка небольшая, но в ней около пятидесяти человек. Одна ученица – длинная такая, стропила, как говорится, слега. Но я сажаю её не на «камчатку», а за первую парту. Она недослышит. И я задаю всему классу вопрос:

– Что скажете мне, какие подготовили ответы? В тот раз задавал вам принести по две-три пословицы, народные выражения... Ну, хоть ты, – показываю я на стропилу. – Выйди к доске.

– Я так отвечаю вам, с места, – говорит она. – Вот такое выражение. Бабушка моя сказала: залезть на дерево да чтоб задницу не ободрать...

Хохот в классе.

– Нет, ты другую давай, – говорю я ей. – Что-нибудь, чтоб не смеялись... Прочитай отрывок из «Бородино» Лермонтова...

– Да вот, – отвечает она. – Вот...

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана...

– Ну, и дальше что? Читай.

– Полковник наш рождён ухватом,
Слуга царю, отец солдатам...

И опять смех в классе, просто грохот какой-то.

– А чего они смеются? – обижается ученица. – Что ни скажу, всё смеются.

– Так говорить-то надо правильно, – отвечаю я ей. – По-русски, литературно... Что такое «ухват», скажи ты, Ермилов?

– Чем чугунки из печки таскают, – поднимается ученик с готовностью.

– А как надо?

– Полковник наш рождён был хватом...

– Ну, вот видишь: хватом! А не ухватом. Полковник у меня друг в Малоархангельске – Мозжухин Николай

Кузьмич. Так си настоящий полковник. Но не «ухват», а хват. То есть такой человек – весёлый, находчивый, ловкий, за словом в карман не полезет.

– А я тоже не лезу в карман за словом. У меня и карманов-то нет. В платьях не бывает карманов, в пиджаке есть...

Так вот что я скажу после такого урока литературы. Скольких я переучил: и тут, в Луковце, с пятого по десятый, и в Губкино, и в Малоархангельске после того – в вечерней и дневной школе... Многих слышал, и многое повидал. Но в памяти осталась она, вот эта стропила, слега. Со своим «ухватом»... Как-то видел её в Орле, поздоровался, а она прошла мимо молча. Наверное, позабыла. А то, может, как и тогда бывало, не расслышала. Оттого и сидела на первой парте, у самой доски...

Вот такие-то сухари. Не какие-нибудь школьные анекдоты, а, как сказала бы эта «слега», правда это, святой истинный крест. Теперь школ таких маленьких нет: ни Губкинской и ни Луковской. Построили новые здания. Классы просторные, а учеников мало. И шуток уже не услышишь. Говорят по-русски нормально, с точки зрения грамматики, на правильном русском языке. Телевизор слушают, дикторы своей правильной речью уши всем набивали, но теперь стали другие ошибки. У них «турок» стало «турков», «дел» – «делов», усечённые окончания существительных в родительном падеже множественного числа, теперь будут писать, «ничего» вместо ничего и так далее.

Но такого ни в Губкино, ни в Луковце, ни тем более в Малоархангельске мы, учителя, ни самим себе, ни своим ученикам тогда не позволяли. Не потому ли бывший мой ученик в Губкинской школе Женя Вершинин, даже будучи ныне редактором, называет меня «учителем» и готов снять шляпу перед всяким, кто говорит по-русски прилично, грамотно и хорошо.

**ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД. КРУТОМ РУИНЫ,
ДОРОГИ В БУРЬЯНЕ. В САДАХ И ПО ОГОРОДАМ
ПОРОХ ОТ СНАРЯДОВ РАЗБРОСАН,
КРУГОМ РАЗБИТЫЕ МАШИНЫ,
В ПОЛЯХ СОЖЖЁННЫЕ ТАНКИ.
ПРО КНИГИ. КАК МЫ С ВОЛОДЕЙ ЕФРЕМОВЫМ
СОЗДАЛИ В ГОРОДЕ БИБЛИОТЕКУ**

Вернулись мы в Малоархангельске в тот же дом, откуда и уезжали: к Лаушкиным. Город в центре разрушен весь окончательно, улица вся в бурьяне, полынь выше пояса. Совсем другой горсад, которого не узнать. В самом доме всё так же, как было, а вот в саду, на огородах следы от машин и от орудий, длинные. жёлтые и чёрные порошины, порох, который придавался дополнительно к орудийным снарядам, чтобы они летели подальше в тыл врага, километров за сорок. Порох этот ломался, хрустел под ногами, не давал свободно ходить.

В одном месте, на переулке Красноармейском, гаубица стояла около дома так близко, что от выстрела снесло половину крыши. Так и стоял после дом с половиной крыши, пока не заменили её на новую. Под огромными вековыми тополями, что были за кинотеатром, под самым бугром, был большой склад ротных и батальонных мин. Они манили к себе нас, пацанов, на столько, что в бурьяне мы дорожку сюда проделали, бегая под бугор чуть ли не каждый день.

Оружие мы, пацаны, любили, все виды оружия – от автоматов и гранат до пулемётов, разбросанных всюду. И стреляли и бросали гранаты в блиндажи, когда хотели. У меня, например, был лёгкий станковый пулемёт Дегтятерева, я лично сам швырял гранаты в блиндаж, что был под яблоней в Никулинском саду.

Помню, стою в саду, заухала сова. В кирпичной стене средней школы, тут же раздались одиночные выстрелы. Смотрю, уж бегут мужики из военкомата: «Кто стрелял? В кого?» А откуда я знаю? Мужики побежали дальше, а

пацаны тут же встали, швырнули гранату в копанку, где тётки полощут бельё.

А по дороге в больницу всё везут и везут на телегах трактористов, пахали поля. И нас, пацанов, таких вот, как мы, тоже везут в больницу. Интересуются ребята разбросанным всюду оружием, где только возможно и даже нельзя, потому что всюду лежат всякие мины – ловушки. Вот такая была тогда обстановка, когда мы вернулись из Луковца. Слава богу, были мы пока ещё живы. Но уже то в одном, то в другом месте наши сверстники взлетели на воздух.

Немцев прогнали. Духу их теперь тут не стало, значит можно учиться, в школу ходить, в начальные классы. Всех нас записали в базовую школу при педагогическом техникуме. Техникум, уходя, немцы взорвали, от него остались одни руины, а школа при нём цела. В ней была у немцев конюшня. Мы сами стали её ремонтировать, доводить до ума. Те, что постарше, работали вместе со взрослыми. А мы, будущие первоклашки, делали работу, какая полегче: становились в цепь и, передавая друг другу кирпичи от руин техникума до своего класса, осторожно клали их на земляной пол, пропитанный конским навозом.

– И по камушкам, по кирпичикам

Растащили мы этот завод...

Запевали те пацаны, что были постарше, а мы, первоклашки, им подпевали. Вот такая была картина, пока не отпустили нас на обед. Пошли мы от школы домой. Бредём по Косому переулку, а там, впереди, мы знали, что мина лежит – крылатка немецкая, красивая, в два цвета раскрашена. Угроза смертельная, но тянет к себе, так и хочется её шевельнуть лопатой.

Ребята – мои друзья: Толик Харский – сосед Ефремовых, Гена Монастырёв – сын санврача, Толик Марков – сын первого секретаря. Идут они по переулку чуть впереди меня, а я слегка приотстал. И вдруг взрыв раздался, и всех троих насмерть.

«Где стол был яств, там гроб стоит».

Кажется, это у Пушкина? Поминали Толика Маркова за тем же столом, откуда и уносили гроб с его телом на кладбище. И было как-то дико и страшно. Вроде и войны уже нет, куда-то делась, ушла, а убивает, лишает жизни всё так же, как и недавно, когда стреляли повсюду и падали бомбы. Представьте себе, были три друга у меня и сразу всех троих нет.

Помню, были на поминках даже апельсины, но я не съел ни одного.

А потом всё опять пошло, как обычно. Пошли мы с пацанами под бугор за кинотеатром, где был заброшенный склад батальонных и ротных мин. Приподнял я одну, какая попузатее, потолще, и стал бить ею о другую. Чтобы выбить из мины взрывчатку. Вот средний палец мой попал между минами, и расплющило его, окровавило всего меня. Пацаны увидели и бежать. Пришёл я домой, руку мне перебинтовали, забрался я в постель, скрылся под одеялом, лежу.

Проснулся я от крика матери, от слёз её жгучих.

– Ой, ой! – бросилась она на меня, запыхавшись,... Ты живой? Живой. А мне сказали, что подорвался на mine... Я бегом всю дорогу бежала аж из Подкопаево, что за Луковцем...

Я знал, мать ходила туда к знакомым и жила там с неделю, шила одежду, зарабатывала на хлеб. До сих пор шрам на среднем пальце напоминает мне о том, как я сдуру расквасил его ударом мины о мину и мама моя бежала ко мне сюда аж из Подкопаево, целых двадцать пять километров.

А вообще-то и тогда жизнь состояла не из одних только страхов и ужасов. Военные с мамой научили меня читать, и это стало такой радостью. Целый мир открылся вдруг передо мной. Первая книга, которую я прочитал, называлась «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Стерегу корову, сяду в ловкое сиденье из корней липы, под самой огромной, крайней в горсаду, и читаю,

зачитываюсь, а корова возьмёт и уйдёт куда – нибуду с глаз долой.

Очнусь, оглянусь, гляну по сторонам: где корова?

– Маня, Маня! – кричу я и бегаю, как угорелый.

Может всякое быть. И украсть могут, увести куда-нибудь, может пропасть ведь корова-то. Что делать будем без коровы? Пошепчу-пошепчу, покручу-покручу свою книжку, умоляю, прошу Буратино... Гляжу, а корова уже лезет ко мне сюда из бурьяна. Светлая такая, «симменталка», ещё довоенной симментальской породы. Каждый год приносила нам по телёнку – бычков обычно, бело-красных, каждого мы называли Цветок, и давала она до войны по ведру молока.

– Маня, Манечка, – бегу я к ней, – где же ты была, курва, куда пряталась?

– М-м-му-у-у, – тянет она ко мне свои мягкие губы.

А я беру её за длинные уши и глазу их, прижимаюсь губами, целую. И говорю:

– Не уходи, Маня, не убегай. Я теперь тебе буду эту книжку про Буратино читать. Называется она «Золотой ключик».

Нашёл меня как-то в саду с коровой друг мой Володя Ефремов. «Ну, и что ты тут творишь? – Книжки читаю. – Прочитал эту, что в руках держишь? – Прочитал уже. – Пойдём-ка отнесём её в школу, в классную комнату через дорогу и положим хоть на пол. А кто-нибудь возьмёт её почитать и положит свою. Так и получится библиотека. – А-а, – говорю я, – это тебя мать научила, Вера Ивановна, она у тебя библиотекарь. – Ну и что? А библиотека с того в городе и начнётся»...

Так и сделали. Пришли мы с Володей Ефремовым в дом тот с двумя пустыми комнатами и цементными полами, это были два класса через дорогу от средней школы. Положили газетку прямо на цемент, а на газетку книжки. Я – свою, Володя – свою... Пришли к вечеру, наших книжек уж нет, а другие лежат. Взяли мы их почитать...

И люди сюда пошли, тоже понесли свои книги. Стало их много. Мать Володи, Вера Ивановна, пришла сюда, начала их переписывать. С того библиотека районная и началась. А теперь тут Музей боевой славы...

– Сюда бы ещё принести книги из той, районной библиотеки, – говорю я Володе. – Ещё бы книги князя Куракина... Вот были книжищи огромные! Сам видел, валялись на улице, никому не нужные. Дело было перед приходом немцев. Ветер трепал их страницы... Кто-то же их, скорее всего, подобрал, у кого-то они лежат. Вот люди сюда их и принесут. Тоже положат на пол цементный...

– Принесут, конечно, – запускает Володя палец в нос себе, любит палец в нос себе запускать.

– Подстелить ещё газеток надо, да потолще. Под такие книги.

– Конечно, – говорит Володя, – такая ценность. Библиотека ценной станет, как до войны.

– Мама твоя, Вера Ивановна, – говорю я Володе, – их в особый список запишет.

И как в воду глядел. С того ценность районной библиотеки, в самом деле, и началась. Малоархангельск – маленький городок, но, как говорится, в нём всё есть. Даже такая библиотека, такие книги, каких в других районах области нет. Это хорошо знает теперь уже сын мой Игорь. Как только приедет сюда, на свою малую родину в наш дом, к бабушке, так бежать сюда в библиотеку за книгами. Всё от корки до корки тут перечитал. Особенно классику. И свои теперь сюда носит, написанные им самим. Так и приохотился книги писать: и научные, и художественные, а с недавних пор пишет рассказы для детей. Для таких, каким сам был когда-то, что сам когда-то переживал, что с ним случалось, то и рассказывает в письменном виде. Ну ещё, конечно, фантазии добавляет. Мама говорит, весь в тебя пошёл, отец, а в кого же ещё...

И поскольку война всё гремела, всё шла вокруг станции и за Глазуновкой, через город всё двигались наши воинские части, машины ехали в западном направлении. И

однажды к нам сюда, в дом Лаушкиных, в знакомую ему нашу квартиру, где моя мама пришивала ему белый воротничок, подкатил на «виллисе» майор Лисунов Александр Емельянович.

– Вот, пришёл вас проведать, мои дорогие, – ступил он за порог. – Давненько не виделись.

Как все мы обрадовались ему, как все мы его целовали, встречали, как родного, Александра Емельяновича.

– Да вот дали пару деньков, – рассказывал он за столом, где пили мы чай. – Наверно, перед решительной битвой. Скоро пойдём в наступление... Может, скоро меня и убьют...

– Ой, да что вы, что вы! – вскрикнули мы, завопили мы все за общим столом.

– Типун тебе на язык, – сказал наш дедушка Александру Емельяновичу. – Живи, сынок, до победы, вернёшься к нам сюда после Берлина.

Хотя сам Герасим Макарыч получил уже первую похоронку на первого сына, погибшего в первые дни войны на границе где-то там, в Брест-Литовске. Помню, Лисунов достал из нагрудного кармана свою фотографию и подписал на обороте её моей маме:

*«На добрую и долгую память Марусе
от Лисунова А. Е.*

Малоархангельск 12 мая 1943 г.»

На фотографии Александр Емельянович стоит в офицерской гимнастёрке с орденом Красной звезды, в пилотке и майорских погонах, с офицерским ремнём и портупеей, справа была кобура с пистолетом. Вот и всё, что осталось у нас от него, Лисунова Александра Емельяновича. Семейная реликвия, хранится, как зеница ока, у нас до сих пор.

А через неделю мы узнали, что он погиб под станцией Малоархангельск. Вместе почти со всей своей стрелковой дивизией. Тогда было так: в день погибали по одной-

две-три дивизии на Центральном фронте, на подступах к Малоархангельску. Вот какова была цена его слов, которые он сказал, отправляясь, снова на фронт, после пары деньков, проведённых у нас в семье: «Маруся, город мы не сдадим».

На той же неделе привезли в город тело капитана Евдокимова. Его хоронили в центре города, в сквере, переименованном затем в Парк Героев. Хоронили капитана Евдокимова и других героев, защитников родины, погибших под Сабурово. Хоронить их собрались все жители города.

Нет, наш Малый город они не сдали. Защитили ценой своей жизни. И был тут, в сквере, над ними самый первый салют из всех видов оружия. Из винтовок и автоматов, из ракетниц и даже из пистолетов. Там, где сейчас стреляют 9 мая из пушек, отмечая салютом нашу Победу.

Но мы-то, пацаны, защищённые такими, как майор Лисунов и капитан Евдокимов, уже собирались в школу. В Москве салютовали за Орёл и Белгород, Рокоссовский со своими войсками уже ушёл за Орловщину, наши двигались к Брянску, а мы собирались в первый класс.

Как всегда наступал сентябрь. Как всегда, дети шли в первый класс. Но, не как всегда, в первый класс шли не только такие, как мы – восьмилетние, а ещё и десятилетние ребята, такие, как Володя Ефремов.

В первый раз – в один класс

Шли мы в свою начальную школу.

В базовую когда-то при педагогическом техникуме.

Его директора немцы как подпольщика расстреляли в 1942 году.

Много погибло у нас тут, во фронтовом городке, хороших, просто замечательных людей, чтобы мы, ребята, пошли в первый раз – в первый класс.

**УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ. ПИШЕМ НА ГАЗЕТЕ
БУЗИНОВЫМИ ЧЕРНИЛАМИ, ЛЁЖА НА ПОЛУ.
«НЕ ПИЩАТЬ!» И МЫ НЕ ПИЩАЛИ**

Пришли мы в свою начальную школу, в свой первый класс, окнами на дорогу. Встретила нас наша учительница Нина Борисовна Ермакова. Мама подвела меня к ней:

– Вот, сынок, будешь учиться у кого все эти четыре года.

Как глянул я на учительницу и увидел её такую, всю в пятнах огромных, родимых в половину лица, испугался её и как бросился к маме носом своим в колени.

Глупенький ещё ты, малыш! – гладила учительница меня по плечу. – Ничего-ничего, привыкнешь.

– Да она же хорошая, замечательная эта учительница, – говорила мне ласково мама. – Лучшая в школе. Будешь потом хвалиться, что учишься у неё, у Нины Борисовны.

Ну, и начали мы учиться. В классе ни единой парты, ни одной скамеечки. Мы все сидим на полу. Это, когда у нас чтение или Нина Борисовна что-то рассказывает. А когда писать, ложимся на грудь или на живот. А как же ещё? Когда под тобой пол такой, на котором стояли немецкие лошади.

Принесли мы из дому газетки и стали стелить их перед собой, положили на них ручки – просто из палочек и чернильницы – просто пузырьки с бузиновыми чернилами. С чернилами из отвара бузины, которой у нас в огородах видимо-невидимо. И только сзади всех, у самой стены, была всего одна парта, на ней сидели двое: Мишка Кузнецов со Стальновки и дядя его, мы так и звали его «Дядя Ваня», Иван по фамилии Клёнышев из Репьёвки. Парту из стола своего сделал им ихний дедушка.

Так и учимся. Пишем на газете бузиновыми чернилами, по складам те же газеты читаем. И Нина Борисовна написала нам на доске «Не пищать!» Это, чтобы мы не ныли. Так, сказала она нам, было написано ещё после гражданской войны великим педагогом Макаренко. «Не пищать!» Было сказано всей колонии, всем колонистам,

которые потеряли родителей и собрались в колонии вместе, чтобы жить и учиться.

– Вы же не все родителей потеряли? – говорила нам Нина Борисовна. – Не все. Вот, например, у него, – и показывает на меня, – есть мама. Очень хорошая, заботливая мама. Я её знаю. И вот у неё, Люси Шмелёвой, и сестры её Гали тоже есть мама, она учительница Лидия Михайловна.

– А где же их папа? – спрашиваю я Нину Борисовну. – Где папа у Люси и Гали Шмелёвых?

– А где и у всех, – отвечает Нина Борисовна. – На фронте.

– А у дяди Вани отец не на фронте, – говорит Мишка Кузнецов, – он в глубоком тылу. На Урале делает танки.

– Ну, и это как на фронте, – говорит нам Нина Борисовна. – Только называется трудовым фронтом.

– Ага, знаю, – говорит Шурик Горохов, он живёт на Мотах. – Всё для фронта – всё для победы.

Шурик Горохов старше других на целых два года, всё знает.

– Ну, и что мы напишем тут, на доске? Для начала. Что напишем мы первым?

– «Рабы не мы, – говорю я. – Мы не рабы».

– Молодец! Правильно, – пишет мелом на доске Нина Борисовна. – Так и напишем давайте:

– «Рабы не мы, мы не рабы».

Буквы мы уже знаем. Будем из букв слагать слова. Так? Так... И ещё какие мы напишем слова? «Свобода». «Победа». «Малоархангельск».

И какое, смотрите, тут у нас самое длинное слово? Наш город, где мы живём. «Ма-ло-ар-хан-гельск». И сколько в нём слов? А ну, посчитайте. Считать до двадцати вы уже умеете... Так сколько в нём букв?

– Пятнадцать, – поднимает руку Галя Шмелёва. – Не двадцать. Всего пятнадцать... Раз, два, три, четыре, пять... Всего будет пятнадцать...

– Учим таблицу умножения на «семь», – продолжает Нина Борисовна. – Семью восемь – «Семён Лосев»...

Все смеются: нет у нас такого ученика – Лосева. Есть Горохов Семён. Из Вавилоновки.

– Так легче запомнить, – говорит наша учительница. – А ещё, сколько дней, например, в июле? Никто не скажет? А вот как легче запомнить... Сложите, ребята, вместе обе руки и считайте по косточкам пальцев: январь попадает на косточку – 31 день, февраль мимо – 28 дней, в високосный год 29, март – снова попадает на косточку – опять 31 день и так далее. Две косточки с двух рук совпадают, видите? Это июль и август, в них по 31 день... А ну-ка сложите руки, считайте...

– Ловко как, – смеются ребята. – Где тридцать дней в месяце, где тридцать один, а где двадцать восемь или двадцать девять...

– Ну вот, – говорит нам наша учительница Нина Борисовна. – С этим мы тоже разобрались.

А ещё предстояло разобраться во всём, что нас окружало, что у нас было в классе. Например, нам давали на каждого по 50 граммов чёрного хлеба и по американской печеньеке «Привет». Кого поставим мы раздавать хлеб с печеньекой? Наверно, Женю Михалёва. У него первая оценка – «пятёрка» по арифметике. Значит, хорошо умеет считать. И ещё у него есть брат Юра и сестра Милочка, дома трое детей. А мама у них учительница в деревне Костюрино, папы нет. Стало быть, если кто-нибудь не придёт в школу, например, уйдёт на день куда-нибудь или заболит, хлеб с печеньекой останется у Жени, он принесёт хлеб домой...

– Правильно, дети, я говорю? – спрашивает нас наша учительница Нина Борисовна.

– Правильно! – кричу я громче всех.

Голос-то у меня какой? Громкий. Недаром я пою под гитару всякие песни с Лидой и подружкой её Клавой Лаушкиной.

– И куда его с таким голосом? – спрашивает всех Нина Борисовна. – Первая оценка у него по чтению «пятёрка». Книжек много уже прочитал.

– Библиотекарем!- кричат все в нашем классе. – Пусть в сумке книжки носит и нам их читает.

– А кто у нас руки будет у входа в класс проверять? Перед тем, как хлеб получить у Жени Михалёва? – спрашивает Нина Борисовна. – Хлеб ведь надо брать чистыми руками.

– Люсю Шмелёву! – кричат все. – Люсю! Она на врача собирается учиться... будет врачом...

– А сестра её – Галя?

– А Галя Шмелёва, как и мать её, тоже хочет быть учительницей.

– Правильно всё вы, дети, решаете, молодцы, – говорит нам наша учительница Нина Борисовна.

Какая хорошая, просто замечательная учительница. Пятен у неё на лице уже никто не замечает, их просто нет, растворились куда-то.

А месяца через полтора, к середине октября у нас появился новенький. С Репьёвки почти половина нашего класса. Новенький – это Шурик Денисов, как и мне, ему тоже лет восемь. Также с тридцать пятого года.

– Где же ты был? – спросили все мы его. – Откуда ты хоть явился?

– С Украины пришёл, – сказал он тихим каким-то проваленным голосом. – Корову с матерью привели.

– Откуда, откуда? – спросил я его.

– Из Днепропетровской области.

– И сколько же вы прошли километров?

– Две тысячи.

Все мы, которые услышали это, просто поверить своим ушам не могли. Как это пройти по дорогам, разорённым войной, две тысячи километров? Да я, помню, шёл с тётей Лидой Лаушкиной пешком в Луковец и то где-то на середине пути, в Губкино у сарая присаживался, не мог дальше идти, хотя тётя Лида всё шла бы и шла бы, до самого Луковца. А ведь до Губкино от города каких-нибудь двенадцать километров. А то две тысячи. Обалдеть можно.

– Ну, и как же вы шли? Расскажи, – окружили мы Шурика.

А когда Сота, так мы звали Сашку Сотникова, который тут же нарисовал Денисову на его светлой куртке синими чернилами «Кот» за то, что тот букву «к» не выговаривал, вместо неё говорил слово «от», так мы дали «Соте» по морде. Где Шурик Денисов ещё одну куртку возьмёт? Что тут ими, что ли, пруд пруди? Не у каждого есть и по одной. Вон у Витька Колединцева, какой живёт на конце нашей улицы, обуться не во что, так он, хоть и тоже с тридцать пятого года, дома сидит, в школу не ходит. Не во что обуваться. Сотников Сашка сначала обиделся, а потом понял что-то, пораскинул мозгами, хоть мозгов у него и не очень-то много. Глаза вылупились, выражение дурацкое...

Ну, и что рассказал нам Шурик Денисов? Нина Борисовна пересадила его ко мне, посадила рядом, и он стал одним из моих первых друзей на всю, как говорится, оставшуюся жизнь.

И вот что Шурик Денисов рассказал нам подробнее. Отец его был там, в Днепропетровской области, то ли директором совхоза, то ли управляющим большого отделения. И, когда погиб на войне, жители совхоза написали сюда, на Орловщину, Шуриковой маме, оставшейся с двумя детьми, что с Востока им пригнали сохранившееся стадо коров, и они готовы дать корову Денисовым. Как семье погибшего фронтовика.

– Ну, мы с матерью собрались и пошли. Мама взяла меня, а не Маинку – сестру мою, та была помоложе.

– Ну, и как же вы шли?

– Так и шли, – рассказывал Шурик. – Видишь, ноги в кровь сбиты, трудно ходить. И звук провалился в горло, говорить трудно... В общем, вышли мы из села на рассвете и пошли напрямиком на север – в сторону Харькова, а потом и на Курск, на Орловщину – в Малоархангельск... Идём день, идём два. Главное, корову было бы где напоить. Пьёт она по ведру, а то и по два. А корм – под ногами, щипи траву, сколько хочешь...

Идём, идём и присядем, когда идти уже невозможно. Потру, потру ноги руками, разотру, чтобы не было больно, и опять идём. Проходили в день сначала километров по тридцать. А потом за Харьковом всё меньше и меньше.

Всё видели. Разорённую Украину. Сёла сторевшие, как и у нас на Орловщине, битые танки. Города мы старались обходить, что нам с коровой делать там, в тех городах? Ни воды, ни травы. Так и проходим с утра до самого вечера километров по тридцать, потом по двадцать.

Видит мать, я иду с трудом..Взяла и посадила меня на корову: сиди и гляди, пойдёшь потом, когда отдохнёшь... Вещички свои кое-какие и сумочку, с хлебом в основном, мы на рога корове повесили. Несёт корова наши вещички, только рогами потряхивает. Не нравится ей нести всё это на рогах, хочется сбросить с себя. А я сижу на спине у неё и слежу, чтобы не сбросила. Мать-то впереди, тянет корову на поводу за собой и не видит, что позади делается...

К Курску стали подходить, на душе полегчало. Вроде мы уже ближе к дому – к Репьёвке нашей, к Малоархангельску. Проходили мимо Коренной пустыни, так мать моя зашла в разбитый храм и помолилась, чтобы силы небесные помогли нам дойти до своего порога. Самое трудное – это конец пути, кабы в конце чего-нибудь не случилось. Ни с коровой, ни с нами...

– Ну, и что, – говорю я,- как сейчас, молока корова даёт?

– Даёт, – отвечает мне Шурик, – да мало. И какое-то, как молозиво. Как после телёнка...

– Хоть такое, а всё же даёт, – говорю я ему. – А то, что бы вы ели в дороге-то, если бы не корова? «Сухой бы я корочкой питалась», – как поётся на пластинке Вяльцевой Анастасией. Есть у нас такая пластинка.

– У нас тоже много пластинок, – сказал Шурик. – Приходи, послушаешь на патефоне. Заодно и молока от коровы нашей попробуешь.

– Приду как-нибудь.

Загад не бывает богат. Прийти к Шурику Денисову мне пришлось не скоро. Через несколько дней Шурик не пришёл в школу. Сказали, что его положили в больницу, может, даже в Орёл увезли, в областную больницу. Что-то с горлом случилось, сделали ему какую – то операцию. Так далась им корова. Подумать только, вести её две тысячи километров...

И только перед самой весной Шурик пришёл в школу, в наш класс. Проведал сначала, а потом ещё с неделю не ходил на занятия, пока не окреп, не встал на ноги. И вот, наконец, он пришёл на занятия, сел, как и осенью, рядом со мной. И даже вылупный этот Сотников Сашка улыбнулся, протянул ему руку.

Вот что такое корова! В войну и даже после войны. В любое время. Что бы все мы без неё, кормилицы, делали?

МЫ ИДЁМ НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ.

БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК.

МОЁ ПЕРВОЕ СОЧИНЕНИЕ.

«НА ДВОРЕ ЧИРИКАЕТ МАЙ».

ФАТЬЯНОВСКИЕ СОЛОВЬИ.

МУЗЫКА НА СЛОВА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

А вот и весна следующего, 44 –го года. После уроков в школе мы с почти половиной класса сверху от базарной площади, которая тогда называлась в Малоархангельске Красной площадью, выходим, как говорится, на оперативный простор. Нам с ребятами из Репьёвки, которых у нас почти что полкласса, идти по главной улице вниз, до самого моста, потом подниматься до улицы Либкнехта. Мне сворачивать по ней направо, в самый конец, мы живём теперь там по адресу: ул. Либкнехта, 7. А репьевским ребятам дальше идти, до самой Репьёвки.

Мы шагаем с Шуриком Денисовым рядом, совсем близко друг к другу, мы идём со всеми ребятами вместе,

мы идём навстречу яркому весеннему солнцу, мы идём сбоку буйного мартовского снегового ручья, который течёт вдоль улицы и поём песню, которую любили и знаем с самых первых лет своей жизни:

*– Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.*

*Все вымпелы вьются, и цепи звенят,
Наверх якоря поднимая.
Готовые к бою орудия в ряд
На солнце зловеще сверкая.*

А ручей справа от нас и бежит, бежит и журчит. Я вытаскиваю из сумки газету, складываю из неё бумажный кораблик и ставлю его на быстробегущую воду. Беги, беги, волна за волной! Неси, неси вперёд навстречу слепящему глаза, яркому – яркому солнцу наш бумажный корабль! Мы все оттуда, из его экипажа, мы все из «Варяга»!

*Свистит, и гремит, и грохочет кругом,
Гром пушек, шипенье снаряда,
И стал наш бесстрашный, наш гордый «Варяг»
Подобьем кромешного ада!*

И Шурик Денисов поёт рядом своим тихим, проваленным голосом, но поёт и поёт, ему нравится петь. И я пою своим звонким мальчишеским голосом.

*В предсмертных мученьях, трепещут тела
И грохот, и дым, и стенанья,
И судно охвачено морем огня, –
Настала минута прощанья.*

Вот тут в сорок третьем, знаем, по этой улице проходила война. Вот тут стреляли из пушек. Вот тут хоронили в сквере наших героев, по ним давали салют из всех видов оружия. Вот тут, на углу, немцы вешали наших трёх героев-разведчиков. Вот на этом месте, мы с мамой стояли и видели, слышали всё.

*Прощайте, товарищи! С богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали, братцы, мы с вами вчера,
Что нынче умрём под волнами.*

А корабль наш бумажный по ручью бежит и бежит. А мы с Шуриком рядом поём и поём. Бумажный кораблик, солнцу навстречу лети! Чистое небо над нами, синей! Мы тоже с «Варяга»! Мы тоже герои, мы – дети ушедшей войны!

*Не скажут ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага,
Лишь волны морские прославят вовек
Геройскую гибель «Варяга».*

Вот так и шли мы тогда, весной 44-го, и пели. Ведь песня родилась за сорок лет до того, в 1904-м. А сейчас эти строки пишутся уже в 2016-м. И тот ручей мартовский схлынул, и бумажный кораблик приплыл, куда надо. И Шурик Денисов в Кострому уехал к своей дочери, внучке, а песня в душе осталась, и я пою её и вспоминаю всех. Когда мне бывает трудно да и когда хорошо.

И когда наша учительница Нина Борисовна уже в мае, когда всё цветёт и поют соловьи, попросила нас написать что-нибудь о весне, то Толик Шомин написал «На дворе чирикает май». И все рассмеялись.

– Ну, а ты прочитай, что ты написал, – обратилась ко мне наша учительница. – Прочитай нам своё сочинение.

И я прочитал про «Варяга».

Потом уже, через годы, когда друг мой со школьных лет Шурик Денисов уезжал в Кострому, и мы прощались с ним у нас за столом на крыльце, он сказал, обращаясь ко мне:

– Вот ты говоришь, что начал писать со стихов. И это было у тебя, кажется, в классе четвёртом... Нет! Начал ты с прозы, и это было ещё в первом классе. Когда ты читал про «Варяга». Когда мы шли вместе, навстречу солнцу, – повторил свои слова Шурик Денисов. – А бумажный кораблик всё бежал и бежал по ручью.

– Наверх вы, товарищи, все по местам, – разом запели мы оба. –

Последний парад наступает.

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает.

С такой песней, с такими словами и уехал мой друг в Кострому. И как-то сразу осиротела душа.

Но вспоминалось и другое, что было связано с Шуриком. Кажется, в третьем классе. Нина Борисовна попросила нас спеть какую-либо современную песню. Например, «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат»...

– Спой нам всем, – сказала она, обращаясь ко мне. – Говорят, ты поёшь хорошо. Под гитару со своей сестрой.

Я всегда стеснялся петь при ком-нибудь, кроме сестры Лиды с её подружкой Клавой, и читать написанные мною стихи. На что дедушка говорил мне: «Ну, что ты – на Луну, что ли, пишешь?» Вот и тут как ответил я Нине Борисовне, как вильнул, ушёл в сторону.

– Нина Борисовна, – сказал я, – а вы попросите спеть про фатьяновских соловьёв Шурика Денисова, а мне в журнал оценку поставьте.

– Ха-ха-ха, – рассмеялись все в классе.

Ну, и как было не рассмеяться? Точно помню, в 1995 году, когда отмечали 50-летие Освобождение Орла, в город к нам приехала жена поэта Алексея Фатьянова Галина Николаевна. Пришла в Союз писателей, и меня, поздравляя её, попросили спеть что-нибудь. И я спел под гитару пришедшего с ней Рафаила Аюпова:

– Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат.

Пусть солдаты немножко поспят...

Галина Николаевна бросилась ко мне, обняла и поцеловала. И это был для меня самый дорогой, самый ценный подарок в жизни. Никогда не забуду.

И уже после всего с четвёртого класса я начал писать стихи, а в седьмом классе – песни. Помню, в марте иду я из школы, средняя школа была тогда на нашей улице, приостановился около сквера, возле куста сирени, а с веток

капельки тенькают. Стою и слушаю, как звуки слагаются в мелодию, в музыку, в песню. Стал к мелодии слова подбирать, не музыку к словам, а именно слова к музыке, мелодия сама ко мне откуда-то с неба лилась. И получилась песня. А потом так и пошли во мне песня за песней. Душу стали ломить, пока не появился у меня японский магнитофончик, который назвал я «япошей». Так с «япошей» теперь и живу. Много чего написал. И своего, авторского. И из тех поэтов, какие поются, особенно Сергей Есенин.

Всё мечтал попасть на родину к нему на Рязанщину, в село Константиново. Был у нас он тут в Орле, у жены своей Зинаиды Райх, а мы к нему туда всё никак. И вот оказался я в Константиново. Надо же, день такой тогда получился. Даже представить страшно. Помню, стою на откосе, смотрю на Оку тут широкую, на Мещору щёткой по горизонту. Чувствую что-то неладное, оглянулся, а на нас прёт чёрная туча. Куда спрятаться, куда скрыться? Кафе рядом, нырь туда. И пошло по стеклу колотить. Ураган! Помнят многое; как женщину потоком воздуха подхватило и понесло бог знает куда, опустило аж где-то в Иваново...

А тут, в Константиново что происходило? Причалил к берегу под откосом белый теплоход с пассажирами из Москвы, в основном дети. Поднимаются вверх сюда, по откосу, а тут уже ураган бушует вовсю. С деревьев сучья летят, крыша с музея – дома Кашиной съехала и несётся по воздуху.

Вижу, стоит человек, раскрыв руки перед школьниками с теплохода, не пускает их под деревья, в глубину музейного парка. Стоит, вижу, не жалея себя.

После, когда всё это прекратилось, познакомились. Оказалось, это директор есенинского музея Владимир Исаич Астахов. Сидели после в музее, на первом этаже и пили чай, разговаривали по душам.

– Они мне и говорят, – прихлёбывал он чаёк из синей керамической кружки. – Настаивают: смени отечество да смени. Это они на Солженицына намекают. Смени да смени.

– Как это смени? – отвечаю. – Да оно мне отцом моим
дадено.

– На второй этаж, – говорят, – не всякого-то пускай.
Там посмертная маска Есенина, а на ней над левой бро-
вью шрам.

– Как у Гагарина.

– Скажут, не сам, а кто-то покончил с ним... Пойдём
наверх, покажу...

Поднялись наверх. Посмотрели. И опять сидим, чай
с Астаховым пьём.

– Сергей Есенин, – говорю я, – мой крёстный отец.
Одногодки они с моим отцом натуральным, оба роди-
лись в 1895 году. Есенин легко ложится на музыку. Сколь-
ко песен на слова его записал, не упомяну. И пою...

– А ну, – говорит Владимир Исаич, – покажи.

– С чего бы начать? – смотрю я туда, на верхний этаж.
– С поэм или со стихов?

– Да хоть с чего.

– Ну хотя бы вот с этого... с Кашиной. Со слов есе-
нинских, посвящённых им Кашиной...

Калитка

*Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Как мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.*

*Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет».*

*Знакомые милые были.
Тот образ во мне не погас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит, любили и нас.*

Картина маслом. Владимир Исаич прямо-таки офонарел. Как это можно и на музыку класть, и самому же петь?

– А ещё есть что-нибудь?

– А как же. «Письмо матери» Есенина на известную музыку, – говорю я, – а то «Письмо женщине» – на мою... Спеть свою?

– Свою, конечно. Ту мы все знаем.

И, вдохновясь своим крёстным-Сергеем Есениным, пою в сокращении.

Письмо женщине

*Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял, приблизившись к стене.
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел –
Катиться дальше вниз
Любимая!
Меня вы не любили...
Сегодня я
В ударе нежных чувств...
Живите так,
Как вас ведёт звезда
Под куцей обновлённой сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин. (1924)*

И пошло, поехало, покатило. Пою Есенина и на свои мелодии, и на всем известную музыку, известные песни и неизвестные: «Клён ты, мой опавший», «Не бродить, не мять в кустах багряных», «Устал я жить в родном краю», «Отговорила роща золотая», «Песнь о собаке»... Уже и забыл, к каким словам музыку я сам написал, а к каким кто-то другой. Что квартет «Реликт» поёт, а что Александр Новиков... «Только синь сосёт глаза»...

И хотел я закончить словами Есенина «Покатились глаза собачьи золотыми звёздами в снег», а потом, дай, думаю, ещё добавлю чего-нибудь из Есенина, невозможно не добавить: « Пускай ты выпита другим...»

*Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.*

Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле...

*И закончу я своими словами из «Есенианы»:
У Толстых, дав целковый на водку,
Называли вас Ваше Величество.
На Неве звали Ваше Сиятельство.
Знак беды, знак Руси. Так насели,
Что сразили, повесили начисто
Золотого, любимого всеми.
Мы – количество, качества узкого.
Освяти, Боже, этого русского!*

После таких слов Астахов Владимир Исаевич достал из стола целую пачку фотографий есенинских, с константиновских мест и на обороте одной из них, где бюст Сергея Есенина во дворе его крестьянского дома, что напротив дома-музея Кашиной, написал: «Лёне Золотарёву – преемнику лучших есенинских традиций».

**ПРО СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА.
В ОРЛЕ ТУТ И НА РЕКЕ ОКЕ,
ЗА СТАНЦИЕЙ МАЛОАРХАНГЕЛЬСК.
ДУХ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА НА ВОЙНЕ, В ТАНКЕ «Т-34».
НАШ РУССКИЙ ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ**

Всё в нас Есенин, Сергей Александрович Есенин, держится в памяти, не выходит из головы. Про него я много чего написал. Например, лирическую драму про то, как Сергей Есенин с Зинаидой Райх ездили на Соловки, на Соловецкий архипелаг, где их как бы венчали, вернулись они оттуда мужем и женой. И то, что в Орле у Зинаиды Райх поэт бывал, это общеизвестно. А вот то, что он бывал ещё и у истока Оки – реки, откуда она начинается, это менее общеизвестно. Сергей Есенин родом из рязанского села Константиново, а Константиново расположено на Оке срединной, широкой, откуда поэт всегда с интересом смотрел на верховье Оки, на истоки её. И, чтобы, бывая в Орле на Оке, у жены, поэт не побывал там, где Ока начинается, быть такого не может. Не верится в то, что русский поэт, душа наша русская, национальное достояние Сергей Есенин не испил бы водицы тут, где русский дух, где Русью пахнет. Ока берёт начало, тут за станцией Малоархангельск, и течёт по городам русским до самой Волги.

И это всё пришло мне в голову, когда я бывал в Очке, а когда как-то раз мы, орловские журналисты, приехали сюда поклониться истоку реки, написались такие вот строки:

Все реки России на юг и на север,

И только Ока поперёк.

И сами собой легли на музыку, стали песней мои такие слова.

Пояс Богородицы

*Начинается с кружки, кончается морем
Среднерусская эта река.*

Опясав Орёл, течёт на просторе
Богородицы пояс – синеокая наша Ока.

Припев. Глазастая, под ивами, берёзками,
В туманах трав – хоть пей с них, хоть коси.
До Волги, ой, сторонка глазуновская,
Окою просияла по Руси.

Былинная, таланная, желанная,
Дай хоровод затеем, заведём
Расстелемся, как скатерть самобранная.
По берегу к Есенину пойдём

Размахнись, наша песня широкая!
Подмигни, уведи в окоём!
Мы живём тут, моя синеокая
Открывается этим ключом.

Припев. Глазастая, под ивами, берёзками,
В туманах трав – хоть пей с них, хоть коси.
До Нижнего, сторонка глазуновская
Окою просияла по Руси.
До Волги, ой, сторонка глазуновская
Окою просияла по Руси.

Начинается с поля, с зёрнинки на севе,
И на Солнце, на Солнце стремится поток.
Все реки России на юг и на север,
И только, и только, и только Ока поперёк.
Богородицы пояс, живая вода,
И по ней города, города.

Нужно сказать, что где-то тут, вблизи Оки, в чистом поле под берёзой, видим мы скромный памятник погибшей роте. Вот что написано на обелиске:

Здесь 5 июля 1943 г.

Героически сражалась

8-я стрелковая рота

467 с.п. 81 с.д.

Ст. л-нт Буланов К.Н.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВАМ, ПАВШИЕ БРАТЬЯ.

Среди них были и рязанцы – земляки Сергея Есенина, потомки Евпатия Коловрата.

Поневоле мне вспоминается учитель мой неподалёку тут, в городе Малоархангельске, Иван Алексеевич Семеновский, с которым мы задумывали и ставили памятник А.С. Пушкину на нашей улице, приподнимающему цилиндр перед нами «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

И ещё вспоминается рассказанное мне моим учителем о своей судьбе – судьбинушке, как и у многих нас тут, можно сказать, трагической. В войну он был танкистом, воевал на танке «Т-34» на Орловско-Курской дуге. В накале сражения пушку у него от стрельбы заклинило, в стороны разнесло. После боя кто-то из завистников написал на него донос: возит, мол, в танке стихи Сергея Есенина. Даже когда ставил памятник Пушкину – Есенин и Пушкин – это слитно, заплот, одно, – говорил наш учитель. – Русская душа, русский дух, гении оба они, наше национальное достояние.

Мы – дети военных лет, нас опалила война. Даже нам в документах писали: «Был в оккупации». Но мы дети войны, вставали на ноги, мы поднимались, и подниматься нам помогали, не давали упасть стихи и Пушкина, и Сергея Есенина.

Павшая рота стоит у меня перед глазами, судьба таких, каким был учитель мой – фронтовик. Пепел Клааса стучит в моё сердце! И это через пепел Клааса мы пронесли через время, как птица Феникс, возрождаясь из пепла.

Есенин – мой крёстный отец. Он был одноклассник отца моего родного. Родившись в 1895 году, Есенин погиб в 1925 году, отец мой – в 1937. И вот вслед за «Есенианой» ещё и такие мои стихи о Есенине, думается, в духе «лучших есенинских традиций».

*Слова Есенина пою
И я на свой мотив.
Всегда в бою, всегда в строю
С Есениным летим.*

*Есенин – с розовых бровей,
Любимый мой пиит.
И отрок тот Варфоломей
С Есенина глядит.*

* * *

*С детства помню Евпатия Коловрата.
Он вернулся, а Рязань сожжена.
Вот такая ума палата
Где-то у самого дна.*

*Помню, встал я рядом с Евпатием,
Не пропускаю врага в степь.
К Есенину – с любовью, к Евпатию – с симпатией,
Увеличивал русскую крепь.*

*Помню, как надвигаться врагу
Тут у нас, на Орловско-Курской дуге.
Коловрат тоже не жалел пороху,
В павшей роте, в железной пурге,
Как вернулся домой, а Рязань сожжена
Так и Малоархангельск взят в пламена...
Вот такая сидит во мне, понимаешь, история
На все времена.*

* * *

И закончим стихами Сергея Есенина «Только синь сосёт глаза».

*Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя – поле безбрежное –
Дышит запахом мёда и роз.*

*Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляню.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.*

*Напылили кругом. Накопытили.
И пропалили под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.*

*Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Всё спокойно впивает грудь.
Стой, душа, мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.*

*Разберёмся во всём, что видели,
Что случилось, что стало в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.*

*Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году-
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.*

*Но ведь дуб молодой, не разжёлудясь,
Так и гнётся, как в поле трава...
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова! 1925*

СУДЬБА – СУДЬБИНУШКА

Спросите меня, что такое судьба? На мой взгляд, это то, чего от жизни не ожидаешь, даже предвидеть не можешь, что может случиться с тобой в какой-то момент. Вот такой случай, который во многом перевернул всю мою жизнь.

Это ещё недалеко от прошедшей войны, когда я, точно помню, учился в седьмом классе в Малоархангельской средней школе. Это было осенью 1949 года, как я теперь называю, у старой школы, во дворе которой во время войны летом 1943 года, видел я Рокоссовского. Всего каких-то шесть с половиной лет отделяли нас от того героического времени.

И вот втроём мы идём по улице и гоним, поддавая ногой, консервную банку, пасуем друг другу. Мы – это друзья, одноклассники: Володя Ефремов – сын прокурора, Юра Забин – сын первого завуча Марии Фёдоровны и я, как говорится, ваш покорный слуга. Раздухарились, бегаем, гоняемся друг за другом, бьём что есть силы по банке ржавой, которая под ногу нам подвернулась. Вот Володя как врежет в неё, в эту банку, а она, ударясь о бугорок, возьми да и подскочи, взлетела в воздух и врубилась в окно. Стёкла вдребезги. Все мы так и замерли. Растерялись, стоим онемелые: это же директорский кабинет! Окошко в самом низу, почти на земле.

А из разбитого окна уже слышится, кричат нам:

– Хулиганьё! Идите сюда! Живо идите сюда!

Спускаемся на первый этаж, в полуподвальное помещение. Входим в учительскую, а там уж директор встречает нас, выйдя из своего кабинета. Оглядел строгим директорским взглядом, уставился почему-то в меня одного:

– А ну, заходи ко мне в кабинет!

Захожу, а что делать?

– Ты разбил окно? – спрашивает он меня.

– Нет, – говорю, – не я.

– А кто же?

– Не знаю.

– Нет, ты! – говорит директор. – Это сделал ты! А ну, стань к печке и подумай, кто это сделал? Пока не скажешь, будешь стоять и думать: кто это сделал?

Так я и простоял до обеда. Думал, на другой день забудется, и я приду в свой класс, буду учиться. Но не тут-то было. Дверь нашего соседнего с учительской класса

раскрылась, и на пороге появился директор. Нашёл глазами меня и строгим голосом:

– А ну, иди за мной!

Прошли через учительскую в его кабинет.

– Становись-ка к печке!

Становлюсь на то же место, где стоял и вчера. Стою в пальтишке у печки. А печка натоплена, жарко. Пот градом с лица катится и по всему телу. Директор сидит за столом прямо против меня, что-то пишет.

– Ну, вспомнил? – поднимает он глаза на меня.

– Что вспомнил?

– Что окно мне разбил.

– А что вспоминать-то? Не я.

– А кто же?

– Не знаю.

– Как не знаю? – смеётся директор и хватается за сердце. – Ты меня угровишь, никакого здоровья не хватит на тебя.

Стою неделю. От звонка до звонка. В воскресенье лишь выходной, когда в школе не учатся. На вторую неделю приезжает кто-то из облоно, приходит в школу, появляется в директорском кабинете. Видит меня в тёплой одежде у печки.

– Что это он стоит тут у вас? – спрашивает областной представитель у директора.

– Да так, – пожимает плечами директор. – Хулиган, стекло разбил тут в моём кабинете.

– Смотрите-ка, – говорит представитель. – Никогда б не подумал. Глаза умные, мальчик вроде приличный.

– А стёкла бьёт, – стоит на своём директор. – И что с ним делать? Стоит, как пень.

– Как Зоя Космодемьянская, – говорю я.

– Хотим отправить его в другую, Губкинскую школу. С Юрой Поздняковым, тоже такой же. Пусть походят туда – сюда по двенадцать километров.

Ну, кто знал тогда, что я потом буду работать там, в той же Губкинской школе, учителем.

На третью неделю, как только директор куда – нибудь выйдет, я тут же из его кабинета в учительскую. Помогаю дежурным разбирать карты по географии и истории. Учителя жалеют меня: учился я хорошо, особенно по литературе, и поведением плохим не отличался.

Ровно через месяц стойка моя у печки в директорском кабинете завершилась тем, что директор сказал:

– Ладно, уж. Иди! А то совсем меня доконаешь.

И только теперь, придя домой, я рассказал обо всём своей матери. Она охватила лицо ладонями и упала в плечо моему дедушке Герасиму Макарычу.

– Один – сын прокурора, другой – сын завуча, – рыдала она, – а я никто, несчастная портниха. Мы с Римой, матерью Юры Позднякова, работаем в каком-то промкомбинате...

На другой год директора этого в школе не стало. Думаю, вот почему. У матери Юры Забина, у Марии Фёдоровны – первого завуча, была подругой главная агрономша из «Сельхозтехники». Вскоре её перевели в райком партии, поставили вторым секретарём по идеологии. И директора вскоре перевели куда-то в Орёл, в распоряжение облоно...

Однако чем чёрт не шутит. Пошутил он и на этот раз. Появился в школе новый директор Михаил Кодратьевич. Началось с того, что он пришёл к нам в восьмой класс на урок истории, хотя по образованию, говорили, был учителем биологии и географии. Помню, сидит он перед нами, как истукан какой-нибудь. Пауза. Мёртвая тишина. Вдруг у кого-то по парте карандаш покатился.

– У кого это?! – сжал он рот и поставил на нас, на «камчатке», глаза.

– Ты, что ль? – указал он пальцем прямо в меня.

– Не я.

– А кто же?!

– Не знаю.

В общем такая же картина, как и в том году, ещё с тем директором.

Вот таким оказался Кондратьич. Летом мы поехали в Орёл на областные юношеские соревнования по волейболу. Посылал нас районный Комитет по физкультуре и спорту, председателем его был Николай Зарьянов. В команде нашей было пятеро из нашего класса и двое их других классов: младший брат Жени Михалёва Юра, на класс ниже, и Коля Мозжухин из параллельного 10 «Б». Ребята выбрали меня капитаном команды. Наверно, я играл хорошо, не хуже других, в общем, имел у ребят авторитет.

В первый год стали мы чемпионами области, во второй тоже. За это мельхиоровый кубок должны были оставить нам навсегда. Приехали мы домой радостные, конечно. Ещё бы, кубок привезли! Да ещё навсегда! А Кондратьич вызывает меня к себе как капитана и говорит:

– А кубок где?

– Как где? В райкомитете по физкультуре.

– Сейчас же принеси в школу! Вы же ученики нашей школы.

Пошли мы к Николаю Зарьянову, а тот Кубок не отдаёт. Это, говорит, соревнования облаластные, вы представляли район, а не школу. Кондратьич с ума сошёл от своего сумасбродства. Ладно, говорит, в конце концов поглядим, кто прав, а кто виноват.

А у нас как раз шли экзамены на Аттестат зрелости. Всё и отразилось на мне, на моей судьбе – судьбинушке. Дело в чём? У Кондратьича было много детей, а их, естественно, надо кормить. Да ещё, как говорится, получше. В классе 10 «Б» была такая ученица Валя Некрасова. Училась она неплохо, аккуратная такая, но не лучше всех, а Кондратьич оформил её на золотую медаль. Отец у неё был председателем горпотребсоюза, а мать – зав. столовой. Вот и всё.

А у нас в 10 «А» классе, как Нина Борисовна ещё в 1 «А» классе поставила первую пятёрку по чтению мне, а Жене Михалёву – по арифметике, так потом и получилось всё. Как врубила. Мои изложения и сочинения читали по всем классам вплоть до 10-го, а Женя Миха-

лёв был во всех классах лучшим по математике. Чтобы получить золотую медаль, надо было, кроме пятёрок по другим предметам получить пятёрки по сочинению по литературе и по математике. Женя Михалёв получил серебряную медаль (по литературе была у него четвёрка), а я должен был получить как минимум тоже серебряную медаль, но отчего не получил? Поставил Кондратьич мне обе четвёрки. Что по математике – я не возражал, а вот почему по сочинению? Я же всей жизнью потом доказал, стал писателем, журналистом. Зато как бы вместо меня серебряную медаль получил мой первый друг Володя Ефремов. Ему Кондратьич поставил пятёрку по литературе. Опять-таки почему? А ни почему. Правда, сыграл фактор другой, чем в случае с Валею Некрасовой. Какой именно? У Володи был старший брат Геннадий Ефимович, а Геннадий Ефимович хорошо играл в шахматы, был во всех отношениях, так сказать, интеллектуалом. Домой к Ефремовым сходились многие, чтобы сыграть то в шахматинки, например, даже Шурик Денисов, то потом перекинуться в картишки, в «кинга». Сюда, как в клуб какой-либо ходили и Иван Алексеевич Семеновский, и какой-то Стюарт, и я ещё по довоенной традиции.

Чем отметить своё тут присутствие, что он не такой тут, как все, Кондратьич и отметил тем, что поставил Володе пятёрку по литературе. А нам с Юрой Забиным шиш с маслом. Особенно показательно это было по отношению ко мне. Когда уже был журналистом, работал в «Орловской правде», приезжал я, бывало, домой сюда на выходной и шёл к Ефремовым перекинуться в картишки, в того же «кинга». А играли, бывало, до самого утра. Шуточки всякие, смех, подковырки. Кондратьич хлопнул однажды меня по плечу и сказал:

– А зря не дал я медали тогда тебе, Леонард!

– А может, не зря? – ответил я. – Вот я Гене помог сюда из Луковца перебраться.

Зав. роно Максимов живёт напротив нашего дома, так я ему сказал однажды: «Ну, что это? Геннадий Ефимо-

вич Ефремов всю жизнь ходит по субботам сюда домой. Представляете, сколько он отмотал километров? Нашли бы ему тут работёнку-то»... Он и нашёл: Семёнов Михаил Иванович, который был до того у нас учителем математики, уходил на пенсию, и Максимов на его место инспектором и оформил Геню Ефремова. А тот потом уже стал директором средней школы.

Нужно сказать, что я, по мнению Максимова, был уже не без авторитета. Работал я с Яновским в отделе культуры «Орловской правды», и Анатолий Николаевич оставлял мне курировать школы и ПТУ, а себе брал медицину и театры. Тогда по районам области активно строили школы. Естественно, первое место занимали Ливны, второе, естественно, – Мценск, а третье можно было отдать какому-либо другому району. Зависело всё от меня, от того, что я опубликую в газете. Ну, и в самом деле, в Малоархангельском районе одновременно строились три средних школы: в Луковце, в Губкино, где до того была восьмилетка, и Октябрьская средняя школа на Второй Подгородней, ставшая затем Малоархангельской городской средней школой № 1. Вот такие-то дела.

И всё-таки, всё-таки. Что-то было не то. Став директором, Геннадий Ефимович ввёл английский язык и отменил французский, который даже я когда-то изучал с пятого класса, и Людмила Серафимовна приехала сюда из института по направлению и стала после моей женой.

Ну, а с Володей Ефремовым картина маслом. Получил он серебряную медаль, и это помогло ему поступить в Московский госуниверситет имени Ломоносова, на юридический факультет. Приезжая на каникулы, он скажет, бывало, что учится с внуком Ворошилова и с Горбачёвым, тем самым, который станет после генсеком. Всё это так. Но «червячок» какой-то, скорее всего, точил Володину душу.

В старом здании МГУ, на Манежной площади, на первом и втором этаже размещался филологический факультет, где учились, как говорили тогда, «филологини»,

лёв был во всех классах лучшим по математике. Чтобы получить золотую медаль, надо было, кроме пятёрок по другим предметам получить пятёрки по сочинению по литературе и по математике. Женя Михалёв получил серебряную медаль (по литературе была у него четвёрка), а я должен был получить как минимум тоже серебряную медаль, но отчего не получил? Поставил Кондратьич мне обе четвёрки. Что по математике – я не возражал, а вот почему по сочинению? Я же всей жизнью потом доказал, стал писателем, журналистом. Зато как бы вместо меня серебряную медаль получил мой первый друг Володя Ефремов. Ему Кондратьич поставил пятёрку по литературе. Опять-таки почему? А ни почему. Правда, сыграл фактор другой, чем в случае с Валею Некрасовой. Какой именно? У Володи был старший брат Геннадий Ефимович, а Геннадий Ефимович хорошо играл в шахматы, был во всех отношениях, так сказать, интеллектуалом. Домой к Ефремовым сходились многие, чтобы сыграть то в шахматинки, например, даже Шурик Денисов, то потом перекинуться в картишки, в «кинга». Сюда, как в клуб какой-либо ходили и Иван Алексеевич Семеновский, и какой-то Стюарт, и я ещё по довоенной традиции.

Чем отметить своё тут присутствие, что он не такой тут, как все, Кондратьич и отметил тем, что поставил Володе пятёрку по литературе. А нам с Юрой Забиным шиш с маслом. Особенно показательным это было по отношению ко мне. Когда уже был журналистом, работал в «Орловской правде», приезжал я, бывало, домой сюда на выходной и шёл к Ефремовым перекинуться в картишки, в того же «кинга». А играли, бывало, до самого утра. Шуточки всякие, смех, подковырки. Кондратьич хлопнул однажды меня по плечу и сказал:

– А зря не дал я медали тогда тебе, Леонард!

– А может, не зря? – ответил я. – Вот я Гене помог сюда из Луковца перебраться.

Зав. роно Максимов живёт напротив нашего дома, так я ему сказал однажды: «Ну, что это? Геннадий Ефимо-

вич Ефремов всю жизнь ходит по субботам сюда домой. Представляете, сколько он отмотал километров? Нашли бы ему тут работёнку-то»... Он и нашёл: Семёнов Михаил Иванович, который был до того у нас учителем математики, уходил на пенсию, и Максимов на его место инспектором и оформил Геню Ефремова. А тот потом уже стал директором средней школы.

Нужно сказать, что я, по мнению Максимова, был уже не без авторитета. Работал я с Яновским в отделе культуры «Орловской правды», и Анатолий Николаевич оставлял мне курировать школы и ПТУ, а себе брал медицину и театры. Тогда по районам области активно строили школы. Естественно, первое место занимали Ливны, второе, естественно, – Мценск, а третье можно было отдать какому-либо другому району. Зависело всё от меня, от того, что я опубликую в газете. Ну, и в самом деле, в Малоархангельском районе одновременно строились три средних школы: в Луковце, в Губкино, где до того была восьмилетка, и Октябрьская средняя школа на Второй Подгородней, ставшая затем Малоархангельской городской средней школой № 1. Вот такие-то дела.

И всё-таки, всё-таки. Что-то было не то. Став директором, Геннадий Ефимович ввёл английский язык и отменил французский, который даже я когда-то изучал с пятого класса, и Людмила Серафимовна приехала сюда из института по направлению и стала после моей женой.

Ну, а с Володей Ефремовым картина маслом. Получил он серебряную медаль, и это помогло ему поступить в Московский госуниверситет имени Ломоносова, на юридический факультет. Приезжая на каникулы, он скажет, бывало, что учится с внуком Ворошилова и с Горбачёвым, тем самым, который станет после генсеком. Всё это так. Но «червячок» какой-то, скорее всего, точил Володину душу.

В старом здании МГУ, на Манежной площади, на первом и втором этаже размещался филологический факультет, где учились, как говорили тогда, «филологини»,

недаром звали его тогда «факультетом невест». Этажом выше был юридический факультет, где и учился Володя. Каждый раз, спускаясь вниз, проходя мимо филфака, он испытывал то ли угрызения совести, то ли, действительно, тягу к литературе. Мать-то его, Вера Ивановна, была библиотекарем, и в их семье был, действительно, культ книг. Это они, Ефремовы, меня с самого детства приучали к книгам, к чтению, к серьёзной литературе.

По окончании юрфака МГУ Володя Ефремов приехал ко мне в Курск, где на истфиле пединститута, не поступив без медали в Московский университет, я и учился. Пришёл, помню, Володя по мне на госэкзамен по литературе, я как раз выхожу из дверей Государственной экзаменационной комиссии.

– Ну, как? – бросается он ко мне.

– Да как, – говорю я. – Пятёрка.

Хотел Володя и к нам на истфил поступать. На заочное отделение, тоже что-то не получалось. А я после пединститута уже в деревне работал. Кажется, в Губкино или в Луковце. Приезжаю как-то в Курск. Захожу на работу к Володе, а он уже заместитель начальника следственного отдела областного управления.

– Ну, как ты тут?

– Видишь, – говорит, – сколько пишу. Сколько бумаги извёл. Показания записываю. И всё тщательно надо, точно... Собрался диссертацию писать по филологии.

Это в первый раз он так мне сказал: «По филологии».

А второй раз по-другому: «По юриспруденции. А то неудобно как-то. Мой начальник отдела – давно уж кандидат наук, докторскую пишет, а я никак кандидатскую не осилю.»

Так и не получилось у него ни с кандидатом наук, ни с полковником, так подполковником и остался. Это с таким высоким образованием! Вот другой мой друг и товарищ Коля Мазжухин, кстати, тоже был в нашей волейбольной команде, хоть и в запасных, так он сначала военное училище по строительству аэродромов закон-

чил, которое было приравнено к среднему специальному образованию, потом по окончании Вильнюсского университета заочно, кстати, тоже юридического факультета, стал он полковником.

Но судьба есть судьба. Судьба – судьбинушка. Она тебе что закон, а закон что дышло: куда повернёт, туда и вышло. Такие-то были отголоски прошедшей войны, те самые годы, не такие уж и далёкие от миновавших сражений, которые так или иначе отражались и на нашей судьбе. И, что интересно, я ведь нисколько не завидовал тому, что Володя – мой самый первый, ещё довоенный друг, получив серебряную медаль, вроде как лишил меня в жизни чего-то. Да ведь, если подумать, не лишил, так и стал я тем, к чему у меня было призвание, что Бог мне дал и освятил мне дорогу, весь мой жизненный путь.

И вот писатель я, журналист. Пишу на благо людей, у многих из которых я был учителем. Так и зовут они меня до сих пор: «Учитель!» Так в дипломе у меня и записано.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗИМОЙ В ГОРОДЕ, ЛЕТОМ В СИНЯ- ЕВСКОМ. ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

**«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ». ПЕРВЫЕ ШАГИ
В «ОРЛОВСКОМ КОМСОМОЛЬЦЕ». НА ДОСКЕ ЛУЧ-
ШИХ. ГЕНА ХАРИТОНОВ – РЕДАКТОР НАШ,
ДВИЖИТЕЛЬ ПРОГРЕССА. «ЧТО МЫ РЫЖИЕ?»
ТРИ ИДЕОЛОГИНИ. «ПЯТОЕ КОЛЕСО». И Я УЖЕ
В «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЕ». ЧЬИ СТИХИ ЛУЧШЕ?**

Подумать только, «как молоды мы были». Тогда ещё в те времена, меня из Луковца перебросили в Малоархангельск, в среднюю школу, чтобы поставить директором. Но горло у меня было больное, ангина была хроническая, фоликулярная, и мне сделали операции, после чего я не мог говорить. И я пошёл по редакциям: сначала был в районной Должанской газете «За урожай», где пробыл пару месяцев, попал затем в областную молодёжную газету «Орловский комсомолец», это в хрущёвские времена, а потом уже оказался в «Орловской правде» – в оттепель, в 60-е годы, в брежневскую стагнацию.

В «Орловском комсомольце» обо мне через Василия Михайловича Катанова кое-что уже знали. Скорее всего через него. Полночи пробродили мы с ним, когда он приезжал в командировку, в Малоархангельск, ходили

под звёздами от города до самого пенькозавода, и я читал ему стихи, которые я написал и тут, в малом городе, и в Курске, где я закончил тогда истфил пединститута. Стихи мои, помню, Катанову понравились. И оказался я не в курской «Молодой гвардии», куда меня брали корреспондентом сразу после пединститута, а в Орле, в боевом отделе «Орловского комсомольца». И стал я мотаться по Орловщине по командировкам.

Первый очерк, помнится, я написал о Юре Позднякове «Ave maria»- музыканте, своём друге, первом директоре Малоархангельской детской музыкальной школы. Сразу же этот очерк попал на Доску лучших. И пошло, покатило. Затем вышел в свет второй очерк «Фауст», далее «У Толстовского родника», «Утро туманное» и другие. Со своими очерками я, как говорится, не слезал с Доски лучших. Что за жизнь была тогда – молодая, жизнерадостная. Сколько энергии входило в тебя от людей и сколько выходило из тебя к людям. Буйные хрущёвские времена. Гена Харитонов, Геннадий Иванович, наш редактор был двигателем прогресса, генератором идей. Сколько энергии в нём оказалось, сколько всяких задумок., которые мы, его сподвижники, тут же и осуществляли. А чего стоили наши девчата, мы называли их «идеологинями»: Алла Карасик, Аня Безденежных, Светлана Мезенцева. Недаром наша газета входила в тройку ударных молодёжных газет страны, и к нам сюда присылали на практику студентов журфаков Московского и Питерского госуниверситетов.

Приезжаю однажды из района, из одной командировки, захожу в редакцию в сапогах и плаще, весь в солнце и дорожной пыли, а тут Виктория Васильевна Учёнова – доцент МГУ, руководитель студенческой практики, встречает меня, восклицая:

– А-а! Вот какой Лёня Золотарёв – замечательный наш очеркист...

Уезжая, студенты оставили мне бутылку шампанского. Мы за них потом подняли тост всей редакцией. А я, по приглашению Виктории Васильевны, побывал в Мо-

ске у них, на Ленинских горах, при подведении итогов студенческой практики. Вот такие были дела.

Но Гену Харитонова взяли в Москву, в журнал «Молодая гвардия», и на месте редактора оказался Иван Рыжов, его заместитель. Мне же всякие должности были ни к чему, я отказался даже от заведующего отделом. Считал, что все силы надо отдавать творчеству, честной и прямой журналисткой позиции, слову в защиту людей и слову художника. Без усталости ездил я по письмам, как говорится, трудящихся.

Из Кромского района, из села одного по дороге на город Дмитровск, однажды пришёл вопль души: председатель – тиран, жена у него – зав. магазином, все бразды в руках у них, налицо тирания XX века. Поехал я по письму разбираться. На это даётся всего три дня. Разобрался, подготовил статью «Правда в кулаке». Опубликовали. Отметили в Белом доме, где как раз проходил семинар газетчиков пяти соседних областей.

Однако председатель присылает протест. Харитонова уже нет, он в Москве. Еду снова туда же, беру с собой в свидетели другого журналиста Славу Дерюгина. Председатель собирает собрание. Выступает, кострошит по всем швам меня как журналиста. Половина зала за него из чувства страха и подхалимажа, половина молчит. Мне дают слово. Выхожу на трибуну, читаю статью свою, под конец и говорю:

– А теперь пусть он напишет про меня, пусть изложит, как всё понимает.

Хохот в зале. Председатель-то не то, чтоб статью написать, но и читает-то, пожалуй что, по складам...

Вернулись в редакцию мы со Славой Дерюгиным, и я написал продолжение первой статьи «Кулаком по правде». И отнёс туда же, редактору. Но уже был другой редактор, другой человек. Выбросили мою статью в корзину. И на этом всё кончилось бы, но продолжалось в другом.

Написал я очерк, отнёс, как всегда, в секретариат, а они его тянут-потянут или вовсе не публикуют. А то по-

вешат в «Пятом колесе». Это так называлась доска в секретариате, куда помещалась каждый день всякая чушь, дребедень.

Месяц тянется, два. Написал я после командировки очерк «Берестяные песни». Не так уж велик, всего двенадцать страниц. Писал раньше и побольше. Сдал в секретариат, возвращает мне его ответственный секретарь Коробков Володя:

– Мы с редактором почитали, посоветовались... Сократи вдвое...

Стою ни с места, как онемел. Что делать? Понесу-ка, думаю, в «Орловскую правду». Пришёл в Белый дом на пятый этаж, отдал в руки другому Коробкову – Сергею Владимировичу, главному редактору. На другой день он звонит:

– Будем публиковать.

– Полностью?

– Да. Гонорар заплатим самый большой, какой можно. Но договор такой: деньги передашь на памятник Дмитрию Бlynскому. Согласен?

– Ну, конечно, – говорю я. – Я поэта Дмитрия Бlynского знал хорошо, не раз с ним дежурили в типографии...

«Берестяные песни» мои опубликовали в субботнем номере, а в понедельник позвонили и пригласили на работу.

И вот я в «Орловской правде», в отделе культуры, где работали до меня три писателя, все трое члены Союза, и где работает зав. отделом тоже писатель Яновский Анатолий Николаевич. В командировки тут почти не ездят, зато бегают по кабинетам обкомовского начальства, по двум этажам – второму и третьему. Нюхают воздух. Бегают по начальству и мой зав. отделом Анатолий Николаевич, а я должен сидеть за бумагами и телефоном, как пробка. Я и сижу: правлю письма, отвечаю на звонки, принимаю посетителей и мечтаю вырваться на свободу. Хоть какой-нибудь материальчик сделать бы, какой-нибудь очеркишко.

Но пока что не получается. Потом всё как-то приходит в норму, берётся откуда-то время. И очерк сам собой пишется.

Людей здесь побольше, планы в отделах на бумаге потолще, а художественность никакая не требуется. Голые факты. Лишь бы не перевирались, не то, что в «Орловском комсомольце».

Первым делом надо запомнить, как зовут каждого по имени-отчеству. Запомнил, здороваюсь за руку, знаю, кто в какую дверь входит и откуда выходит. Потом номера телефонов знать надо наперечёт, а их тут гораздо больше. Но память сама делает своё дело.

Вскоре я уже кручусь на своём пятом этаже своего Белого дома. Захожу в облоно, в его отдел кадров, что рядом с нашим отделом культуры. И вообще бегаю в городе по театрам, школам, художественным выставкам, а вот медицинские учреждения, аптеки, высшую художественную элиту Орла Яновский оставляет себе. Например, Курнакова, Крутлого, скульптора Басарева. Ну, и пусть. Мороки с ними не оберёшься. Попадётся какой-нибудь материал о них, не знаешь, с какого угла потащить, за какую ниточку дёрнуть... Да, ну ладно. Начнём с ярких фактов, а их тут побольше, чем в молодёжной газете. И посложнее.

Во-первых, отношения с начальством. Редактор Коробков Сергей Владимирович больше на бюро сидит да в своём кабинете, а всеми делами в редакции заправляет Логутков Александр Иванович. Его из «Орловского комсомольца» как раз перед моим приходом перевели сюда сразу на должность заместителя. И как был он там другом таких, как Рыжов, так тут таким и остался. Глаза «вылупные, но синие», на выкате, губы крупные, прёт всегда напролом. Пишет под Кузьму Пруткова своим сатирическим пером «Пантелеймона Корягина» и хочет, чтобы его самого хвалебно оценивали и в глаза на летучках, и за глаза в кулуарах, откуда до него всегда доносится эхо солнечных бурь.

Первый мой очерк «Берестяные песни» поместили на Доску почёта. Второй очерк «Седые хлеба» я написал, съездив в командировку в Свердловский район, на родину Николая Семёновича Лескова, в деревню Старое Горихово. Этот очерк получился объёмнее первого, дали его начало на первой и во всю вторую газетную полосу. Тоже отметили как лучший. Написал я через какое-то время третий...

Приходит в отдел Логутков, вылупил глаза на меня и аж брызжет слюной:

– Ты зачем сюда пришёл? Очерки свои писать?

– Так очерк-то газетный материал, – говорю я ему. – Не рассказ ведь, не то, что стихи, какие не давал мне писать в «Орловском комсомольце» Дроздилов Виктор Петрович.

На следующей летучке раздраконили мои «Седые хлеба», которые раньше хвалили. И так третий, четвёртый... Сценарий известный: сначала повесят на доску, а потом, как своего в «доску», давай чехвостить...

И ещё моду взяли. Метелят тебя на летучке, как хотят, а пройдут по коридору, завернут за угол и давай хвалить, за плечи тискать тебя, обнимать... Ну, да ладно...

Уходит Яновский в отпуск и говорит:

– В одну субботу запланируешь на летучке материал про Бунина, а в следующую – про Фета.

Так я и сделал.

Раздаётся телефонный звонок, беру трубку.

– Кто это? – слышится мне голос такой специфический, вкрадчивый.

– Как кто? Я, – говорю.

– А чего ж это ты поставил в один номер Бунина – «антисоветника», а в другой – Фета, «крепостника»... Ну, гляди у меня!..

А это один такой был – с третьего этажа, «помидором» звали... То ли от того, что помидоры в сетке, бывало, домой носил, а то ли от того, что щёки были красные у него, как у помидора. «Вот про таких, – думаю, – и пи-

сал бы Кузьма Прутков, помещал бы в свою рубрику про «Пантелеймона Корягина»».

И тут опять через какое-то время телефонный звонок. Звонит редактор Сергей Владимирович Коробков и «на ковёр» к себе вызывает. Пошёл я к нему в кабинет, предстал пред его ясны очи. «Так я пишу или нет? - думаю, а вслух говорю:

– Это вы, Сергей Владимирович, насчёт огурцов и помидоров?

– Да нет, – говорит. – Помидоры уже съели. Одни огурцы теперь носят с базара в кошёлке... Я насчёт поэзии...

И достаёт лист из стола и начинает читать. А потом и спрашивает:

– Ну, хорошие?

Я молчу, а сам думаю: «Чего это он, проверяет мою квалификацию?»

Достаёт он другие стихи из сейфа, читает.

– Ну, и как?

«Эх, была не была, – думаю. – Пропадать, так с музыкой. А почему так думаю? Квартиры нет, живу в общежитии на «Химтекстильмаше». Ошибаться мне, как минёру, нельзя. Квартиру не жди, не предвидится»...

– Эти стихи, – всё равно говорю, – что первыми вы прочитали – плохие... А вот те, что вторыми, – хорошие...

– Да? – сказал он. – Ну ладно. Иди, иди...

Заявляется из отпуска Яновский Анатолий Николаевич.

– Ну как ты тут без меня? – говорит. – Что новенького?

– Коробков вызывал.

– И что?

– Стихи читал.

– И что ты ему сказал?

– А что стихи, какие из стола у него, – хорошие. А какие из сейфа – плохие.

– Так и сказал? – покачал головой Анатолий Николаевич. – Не мог сказать наоборот? Стихи-то из стола – его

самого, им написаны. А какие из сейфа – Дмитрия Блинского. Не мог сказать наоборот?

– Мог, конечно. Да из сейфа стихи были лучше.

– Ну, и жди теперь санкции от Пантелеймона Корягина, живи на своём «Химтекстильмаше» до скончания века.

**В ТУЛЕ, НА СЕМИНАРЕ МОЛОДЫХ. БУРЯ
В СТАКАНЕ ВОДЫ. РАЗГОВОР С МИЛЬЧАКОВЫМ.
ПОЕЗДКА НА КУЛИКОВО ПОЛЕ. ПИСАТЕЛИ
НОСОВ И АСТАФЬЕВ, ОЛЬГА КОЖУХОВА И ПЁТР
ПРОСКУРИН. «ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ЛЫСЫЙ?»
ЯВЛЕНИЕ ПАНТЕЛЕЙМОНА КОРЯГИНА**

Зимой, наверно, в феврале, в Орле у нас состоялась областная семинар молодых прозаиков и поэтов, на котором отметили как прозаика и меня то ли за очерки, то ли за рассказы. За это в «Орловской правде» меня все обошли вниманием, кроме зам. редактора Логуткова Александра Ивановича, который как вперил в мою личность свои «вылупные синие» глаза, так и держал половину рабочего дня.

И вот подошла осень. Скорее всего в ноябре по итогам областного семинара меня пригласили уже на республиканский творческий семинар молодых писателей в Туле, в который вошли прозаики и поэты двенадцати областей Серединой России.

На летучке этот с «вылупными, синими» глазами заявил категорически:

– Никуда он не поедет, ни в какую Тулу! Тут работать надо, в газете. А не где-то в литературе.

– Ну что вы, товарищи, – выразил несогласие с ним даже зав. идеологическим отделом обкома партии Алексей Фёдорович Кузьмин. – Это же в будущем деятель нашей культуры.

– Да и всего-то на день прошу отпустить, – поднялся я с места. – Вчера дежурил, завтра у меня выходной.

– Не поедешь! – сказал, как отрубил, Логутков.

Я, конечно, поехал. И там меня, моё творчество как прозаика оценили весьма высоко. Меня из Орла поставили первым, Игоря Лободина из Курска – вторым, Васю Белокрылова из Воронежа отметили после Лободина, но тоже оценили весьма высоко. Вернулся я в Орёл к себе и как в яму попал. Прибегает с утра ко мне домой Володя Перкин:

– Скорее на работу! Ненормальный этот спятил, с ума сходит.

Пришёл, сижу в своём отделе культуры, делаю в номер срочную информацию. Сдаю в секретариат. И тут же получаю её обратно. «Информушка» всего в каких-то пятнадцать, двадцать строк, а, оказывается, писать я не могу, не умею. Получаю такой разнос! И пошло, поехало. Что ни напишу, всё назад, всё в корзину. Встретился мне в коридоре этот с «синими вылупными» глазами, воткнулся взглядом:

– Что это ты не лысый?

Я оторопел.

– Да у меня дедушка не лысый, хотя ему уже семьдесят. И газету без очков читает.

– Прямо тебя хоть в сатиру вставляй, – говорит он резко, начальственно. – В «Пантелеймона Корягина»...

Это переполнило у меня чашу терпения. «Слава богу квартиру хоть получил, – думаю я. – А то выгонят, что бы делал? Коту бы под хвост все эти годы работы в редакции. Надо пойти посоветоваться к Мильчакову Владимиру Андреевичу». А тот был ответственным секретарём Орловской писательской организации, её основателем. И присутствовал на республиканском Творческом семинаре в Туле, где меня оценили как прозаика.

– Что делать-то, Владимир Андреевич? – говорю. – Прямо-таки уж и «информушки» – то я у него написать не могу.

– Ничего, – положил руку мне на плечо Мильчаков. – Не тушуйся. Рукопись твою, вишь, как в Туле подняли.

Как только выйдет книга, так мы тебя в Союз писателей примем.

Так и получилось. Вышли в московском издательстве «Современник» мои рассказы «Берестяные песни». Это, наверно, в октябре или ноябре, а в начале декабря в Союз меня приняли, тут же на Секретариате и утвердили. Причём единогласно. Этого никто не ожидал, даже сам Мильчаков, ну, конечно, и сам я. Руки коротки оказались у интриганов, оставшихся с носом в редакции, подвергшим меня остракизму, настоящим репрессиям.

Да, ну ладно. Возьмём время чуточку раньше. До того, как приняли меня в декабре 1973 года в Союз писателей СССР. Когда я ещё не был ни членом Союза, не получил ещё двухкомнатной квартиры в районе больницы Семашко. Да и билет члена Союза, помню, выдали мне 11 февраля 1973 года, когда Солженицына выкинули за границу, а меня один хлюст тут у нас обозвал ещё одним Солженицыным.

Надо сказать, в Орловской писательской организации было тогда тоже не всё в порядке. Также были всякие интриги, ухлёсты и перехлёсты. Мильчаков в основном опирался на нас, молодых, таких, как я, Шиляев Толик, Витя Дронников, Иван Подсвилов. Мы к нему были вхожи домой. Бывало, сидим у него в кабинете, а он смолит сигарету за сигаретой, как паровоз. И заболел Владимир Андреевич. Рак лёгких. Мы все были, конечно, подавлены.

И вот Мильчаков собрался в Колпнянский район. Попрощаться с людьми, с местами, которые дали ему живой материал для его книги «Птенцы орлов» о подпольщице Розе Иванниковой. И взял нас с собой. В гостинице мы жили все вместе, чаи вечерами гоняли за разговорами и выступали по колпнянским сёлам и деревням. Помню, главными у него были такие слова:

– Как солдата головой на Запад

Хороните, спутники, меня...

Вскоре и в самом деле похоронили его. Владимир Андреевич успел передать ключи Катанову Василию Ми-

хайловичу. Да, кстати, Мильчаков тоже был ведь не лысый! На голове у него была вот такая буйная шапка волос, куда больше моей. Мильчаков дал бы любому сдачу, если бы этот «Пантелеймон» сказал ему что-то подобное.

И опять, возвращаясь к Творческому семинару в Туле, скажу, что о нём во мне остались самые сильные воспоминания. У нас тут в Орле как: всё классиков нам подавай, XIX –й век: Тургенева, Фета, Лескова... А там, на семинаре, я увидел вдруг живых, настоящих современных писателей: Носова из Курска и его друга из Красноярска Виктора Петровича Астафьева, Ольгу Константиновну Кожухову – в прозе она, как в поэзии Юлия Друнина, Сергея Васильевича Викулова и Петра Лукича Проскурина, который дал мне рекомендацию в Союз писателей. У нас дома есть их книги, целый книжный шкаф, стоят они по алфавиту...

Помню, подали автобусы. Ольга Константиновна собралась ехать в Ясную поляну, а я был там уже несколько раз, но на Куликовом поле, куда ехали Носов с Астафьевым, – ни единого разу. Вот мы с Васей Белокрыловым и сели в этот автобус, и пел я вместе со всеми песни про Русское поле, военные песни, народные. И подпевали нам все, что сидели в автобусе.

Поле, Русское поле!

Пусть я давно человек городской,

Запах полыни, вешние ливни

Вдруг обожгут меня прежней тоской.

После этого семинара Проскурин Пётр Лукич написал мне в предисловии к книге рассказов «Мёд из подснежников» (Тула) такие слова: «У Леонарда Золотарёва есть талант, знание народной жизни, чувствуется богатая языковая одарённость. И это тотчас понимаешь, прочитав хотя бы один его рассказ. Да, прозаик он очень талантливый. Два-три рассказа из этого сборника, а также другого «Мёд из подснежников», изданного в Туле, что называется, сразу же делают имя человеку в литературе».

А вот слова Ольги Константиновны Кожуховой из предисловия к книге «Берестяные песни», вышедшей в свет в московском издательстве «Современник»: «Молодого писателя всё привлекает, он внимательно слушает речь доярок и трактористов, стариков и старух – хранителей разного рода преданий, легенд, песен, петых их предками Толстому, Тургеневу, забытых образов. Так рождаются рассказы «Берестяные песни», «Глинописец», «Ливенка» и другие. Стихия живого народного языка органично вплетается в ткань произведений, однако без модничанья, без щегольства, а с большим чувством меры, позволяющим нам уже сейчас, по одной этой первой книге писателя, судить о его, несомненно серьёзном, даровании.

Лиризм и реальность изображаемого, поэтический язык отличают рассказы молодого писателя от многого читанного на ту же тему. Его книга заставит читателя и задуматься, и загрустить, и порадоваться нелёгкому, но добытому честным трудом счастьем героев».

Несколько позже, а именно в 1986 году, в Москве, в издательстве «Высшая школа» под редакцией профессора П.С.Выходцева вышла «История русской литературы» (учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Русский язык и литература»). Вот что там было написано: «Среди жанров прозы, в которых современник и современность художественно исследуются прежде всего с точки зрения нравственных отношений, пожалуй, наиболее активную роль играет рассказ. К нему обращаются почти все писатели. Особенно плодотворно работают в этом жанре С. Антонов, Ю. Нагибин, С. Шуртаков, Е. Носов, Вл. Солоухин, Ю. Казаков, В. Белов, В. Личутин, В. Крупин, Г. Семёнов, Л. Золотарёв, Л. Лихоносов, В. Конецкий и другие».

И вот уже я принял ключи из рук Катанова Василия Михайловича. В 1986 году стал ответственным секретарём, то есть руководителем Орловской писательской организации. Наша организация размещалась тогда в

самом центре, на площади Ленина, в вечерней школе, на первом этаже. Сажу в кабинетике ответственного секретаря, а тут дым коромыслом. Писатели смоят с утра до вечера, а сейчас куда-то ушли, наверное, за бутылкой.

Заходят двое: Саша Макушев из сектора печати обкома, мы с ним работали в «Орловской правде», и этот, с «синими вылупными» глазами. Принесли рукопись про Пантелеймона с этим самым, как его... «Пантелеймоном Корягиным», до сих пор печатаемым по субботам в «Орловской правде». Требуется для издания в Туле (в Приоксиздате) направление ответственного секретаря, то есть писательской организации.

Макушев смотрит на меня с ехидной улыбочкой: что я скажу? Знает же все перипетии у нас с этим «вылупным». А тот, «с синими глазами», стоит, напрягся весь, как струна. Как Мюллер в диалоге со Штирлицем из сериала «Семнадцать мгновений весны». «Ну, чего ты напрягся? Чего глаза опускаешь, поддёргиваешь слегка головой? Мы на мелочи не размениваемся».

Перед глазами у меня последний съезд Союза писателей СССР, перед тем, как вскоре СССР развалится. Стоим мы, писатели, у Спасской башни Кремля и ждём, когда принесут известие: кого же там, на Пленуме, избрали Председателем Правления Союза писателей СССР вместо Георгия Мокеевича Маркова, которого хватил удар прямо на трибуне, за чтением отчётного доклада. Стоят вместе со мной Носов с Астафьевым, Викулов Сергей Васильевич – редактор журнала «Наш современник», который публиковал меня не раз. Тут же Василий Белов. А я стою как раз за спиной Чингиза Айтматова. Очень люблю я его романы «Плаха», «Буранный полустанок, или дольше века длится день»... Спина у Айтматова такая широкая, мощная. Вырос Чингиз, скорее всего, на мясе, а мы – на картошке...

– Ну, так что? – говорит с дрожью в голосе «Пантелеймон Корягин», который, конечно, не положит своей головы на «плаху» во имя чего-то высокого и серьёзного, что грядёт, что будет вот – вот...

– Давайте,- говорю, – вашу бумаженцию.

И подписываю, как положено От души, с размахом. Ещё студентом сто раз ставил подпись, как на ассигнациях, на бумажных финансовых документах.

– Мы псковские, – улыбаюсь я «Пантелеймону Корягину». – Но погоны с плеч по сто раз не снимаем и не одеваем опять.

Уходят они, не хлопнув дверью. А я сижу, и в душе у меня звучит музыка. Всегда так, когда напрягаюсь. В сложных моментах истории моей жизни, которых у меня как говорится, было хоть отбавляй. И вот что сказал на этот счёт значительно позже Виктор Фёдорович Садовский – музыкант, поэт, журналист. Вот что он написал опять-таки в предисловии к моей книге «Вечерний звон», где мои авторские песни он же положил на ноты: «Любовь к музыке у Леонарда Золотарёва с детства. Обладая тонким музыкальным слухом и хорошей памятью, он впитал всё, что звучало по радио, что можно было услышать на патефоне, магнитофоне, по телевизору. Он сродни античным аэдам, древнерусским певцам-сказителям, таким, как легендарный Гомер, песнопевец Боян. То есть можно говорить о продолжении Золотарёвым античной, древнерусской традиции былинно-эпического жанра (его повесть «Не рыдай меня, мати» и другие), где автор текста, музыки и исполнитель – всё в одном лице, а тематически музыкальное повествование отражает то, что происходит в данное время с соотечественниками, страной, всем миром. Им создана звуковая поэзия мира из многих кассет – музыкальное зеркало «звёздочётов» земли.

В душе писателя звучит несметное количество самой разнообразной музыки. Писатель часто использует нестандартные обороты, стиль, форму, разные ритмы, которые делают слово музыкальным и живым, а стиль оригинальным, что отличает письмо автора. А услышав такую песню однажды, носишь в душе её мелодию, как звуки в соловьиной роще, как свет души, как праздник, который всегда с тобой».

Но предисловие к моей книге и ноты на мои песни, записанные Виктором Фёдоровичем Садовским, будут потом, а пока в обеденный перерыв мы с Володей Перкиным гуляем где-нибудь у Дворянского гнезда и беседуем по душам. Точно так же, как не так давно в Туле на Творческом семинаре бродили по площади у Центральной гостиницы, обсуждали литературные дела и порой читали стихи. Иногда с нами бродил и Сергей Васильевич Викулов – редактор журнала «Наш современник». У Володи Перкина он был руководителем семинара. Неплохо Сергей Васильевич знал и меня, публикуя потом мою прозу.

– Скоро я, наверно, уйду из газеты в издательство, – говорил Володя. – Бардак, где сейчас я работаю. Этот Коробков Володя, что перешёл сюда из «Орловского комсомольца», взяли его на должность зам. ответственного секретаря газеты, клеится к жене моей.

– К Люде? – удивляюсь я. – Да что ты?

– Оставляю Люду ему в подарок, – откровенничает со мной Володя. – Пускай пользуется.

– Да ты что? – останавливаюсь я у ротонды на Дворянском гнезде. – У тебя такой хороший сынишка. Представляешь? Денис останется без отца. Я знаю, что это такое. Сам всю жизнь пробыл безотцовщиной. Нет, Володя, подумай хорошенько... Сто раз прежде, как говорится, отмерь, один раз отрежь.

После таких прогулок с Володей Перкиным я возвращался в свои «пенаты» одухотворённым, наполненным силами. А дел предстояло множество. Вообще-то я люблю, чтобы были дела – и малые, и большие. Малые-это такая повседневность, какая забирает время и силы. Конечно, большие, стратегические, основные задачи предстоит решать долгое время. Такой стратегией для меня оказался капитальный ремонт Дома писателей на крутом берегу Орлика.

У писателя Владимира Алексеевича Громова квартира была в самом центре, на бульваре Победы. До Союза писателей на Центральной площади, где Союз тогда раз-

мещался, было всего ничего, метров двести. От дверей до дверей. Так вот, Громов и говорит: «Дом писателей никак нельзя переносить туда, на откос. А то ведь писатели напьются да и свалятся с кручи... в вешние воды». А во мне было совсем другое: «Надо переводить сюда Дом писателей, надо! Такая тут красота! Поглядите, какой вид открывается, излука какая! Душу гладит, за перо братья хочется, славить любимый Орёл».

Не зря когда-то построил этот дом удалой орловский купец Калашников, а потом тут жил Председатель Орловского облсовета трудящихся Свешников. Но к тому времени, когда я стал ответственным секретарём, дом этот уже передали какому-то «этнографическому музею». А поскольку заниматься им было бы некому, его бы скорее всего снесли. Инертен был ответственный секретарь передо мной. Составлен был только план внутренней реконструкции жилого помещения, на том всё и кончилось. Пришлось мне начинать всё с азов, с того, что прежде надо было забрать этот дом у какого-то «этнографического музея».

Наконец-то дом передали нам на баланс. Надо было браться за его капитальный ремонт. С каждым днём он приходил во всё больший упадок: двери выламывали, стёкла в окнах разбивали, загадили все комнаты, кроме одной, где бомжи, видимо, распивали своё спиртное. Мать одного литератора Виктора Шохина, живущая в соседнем доме, которую я просил присмотреть за этим домом, предупреждала меня:

– Вы туда, особенно вечером, не заходите. Там бомжей развелось не меньше, чем крыс. Трахнут чем-нибудь по голове, узнаете, что такое шаг вперёд и два шага назад.

Одному туда заходить было опасно. Даже днём. Я брал с собой кого-нибудь из любителей российской словесности, и уже вдвоём – троём мы входили в будущий храм культуры, и бомжи, словно крысы, брызгали в разные стороны. И тогда мы свободно ходили по комнатам и я, вдохновясь, рассказывал и показывал всем, кто был тут со мной:

– Вот здесь будет выход на веранду с видом на излучину Орлика. А рядом камин... В соседнем, можно сказать, актовом зале, поставим рояль или пианино, будем проводить тут не только собрания, но и выступать перед гостями, читать стихи, петь романсы. А в первой комнате слева у самого входа, поставим бильярд, столик с газетами, журналами. Отдыхайте, развлекайте, живите, братья-писатели, в свободное от работы время. Такие-то были мечты. Но это всё как во сне, а что наяву?..

А наяву – деньги на всё нужны, а их ноль. Документов тоже никаких. И ещё сопротивление некоторых писателей. А по эту сторону только голый энтузиазм. Прежде всего позвал я писателей помочь убрать отсюда весь этот мусор, крысиный помёт. Пришло всего двое: посмотрели, потоптались на месте, подержали в руках метлу и ушли. Пришлось в Институте культуры звать на помощь студентов, они всегда на всё доброе, человеческое отзываются. Подмели, размели, вынесли мусор, руки из кружки помыли. С этого всё у нас и началось.

Документы оформить – это одно. На это с неделю потребовалось. А вот без финансов куда? Поехал я в Москву, в Литературный фонд. Там и деньги, и всё остальное. Приехал к нам сюда главный инженер Литфонда, оглядел всё с критической точки зрения. Я его встретил, как следует. Показал всякие литературные места. Вскоре из Москвы приходит бумага: выделяют первые семьдесят тысяч, но куда? Укажите.

Спасибо Васе Катанову. Он мне и говорит:

– Не вздумай на счёт писательской организации брать. Повесишь на шею хомут, съедят тебя потом братья-писатели. Начнут считать, сколько в карман себе положил.

– А куда же их деть?- говорю. – На кого оформить?

– УКС такой есть в горсовете. Управление капитального строительства. Вот туда пусть и перечисляют. Понял?

– Понял, – говорю.

Так и сделал. И до сих пор благодарен Василию Михайловичу Катанову. Что он избавил меня своим советом от всяких провокаций, которые очень даже могли бы быть в нашей писательской действительности.

Деньги – это одно. А капитальный ремонт – дело совершенно другое. Тыкаюсь я туда-сюда, как котёнок. Нашёл ремонтный участок какой-то строительной конторы во главе с Юдиным. Участок есть, а возможностей нет. У нас, говорит, столько всяких объектов навешано: и музей Тургенева, и церковь Преображения в Болхове. Опять пришлось искать особый, человеческий подход к Юдину. Повесил он себе на шею и наш объект – Дом Орловской писательской организации. Так нас стали тогда называть в документах...

Тут и начались всякие писательские интриги вокруг да около. Писатели наши больше мастера по интригам в жизни, чем в своих произведениях. Там у них кишка тонка. А в этом случае они настолько преуспели, что, плюнув на всё, я ушёл с этой должности два года спустя, оставив дом недостроенным.

В общем, дело было так. Застучали на крыше деревянные молотки, стали ставить новые двери. В пятницу после обеда приезжает на своём «лимузине» с закрытыми окнами начальник участка Юдин. Мы с писателем Сашей Логвиновым встречаем его у входа. Саша толкает меня:

– Надо его угостить, дело быстрее пойдёт.

– Денег нет, – говорю. – Ни шиша в кармане.

– На, возьми 700 рублей, – лезет Саша себе в карман. –

Потом отдашь.

По рюмке поднять? А где? Тут нельзя. Сухой закон в стране, Горбачёв как раз ввёл. Куда-то поехать? А «лимузин» у Юдина с тёмными окнами. Я ездить в таких не могу, тошнит, с души рвёт. Особенно в последнее время.

– Пошли на берег, – говорит Саша. – Подальше куда-нибудь. За Дворянское гнездо...

С этого всё и началось. Присели мы втроём на травке, под кустиками. И разговорились. Юдин обещает поско-

рее закончить капитальный ремонт дома. Назвал, куда к высокому начальству сходить мне за разрешением и то место, где выдают краску, обои, линолеум, в общем, всё, что полагается для ремонта внутренних помещений.

– Так, так, – говорю я, раздухарившись, в предвкушении, что дело сдвинулось и придёт скоро к своему завершению.

И не вижу, как с двух сторон: с того берега Орлика к нам сюда и со спины у нас от стадиона, движутся люди. Увидел только тогда, когда они вдруг предстали передо мной. Милиция. За шиворот взяли почему-то меня одного, ничего не спросив и не сказав, как будто были обо всем осведомлены. Потащили меня в участок. Там дали позвонить домой... Вот такая история, перевернувшая всё с ног на голову.

Стал я думать, почему меня одного забрали. А ведь нас было трое. Это во-первых. Почему это Саша сидел лицом к тому берегу, видел их, а мне ничего не сказал. И в-третьих, почему это у него в кармане никогда ни копейки, а то нашлось сразу 700 рублей. После узнал, что «метастазы» ведут далеко куда-то и теряются где-то, похоже, возле Рыжова, а ведь он же дружок «Пантелеёмона Корягина»...

Дело было летом. Саша Логвинов, будучи в отпуске, пребывал в своём Шамардино, где я бывал у него неоднократно, ездил к нему по грибы. Съездил я к Саше, отвёз ему должок – все эти 700 рублей, которые потратил я тогда на встречу с Юдиным. И пока шёл полями в Шамардино и из Шамардино, дал себе клятву: «В сентябре отчётно – выборное собрание, непременно уйду с этой должности! Пусть достраивают дом без меня. А то ведь за два года не написал ни единой строчки, ни прозы, ни поэзии. Даже петь и то перестал».

И вот дело к осени, к 10 сентября. Первый секретарь обкома меня не отпускает: – У тебя, – говорит, – получается. – Так, видите, какие интриги вокруг? – Ничего, это отдельные из них, успокоятся. – Не успокоятся, – гово-

рю. – С самого начала «телегу» на меня катят. Приезжали руководители писательских организаций из Воронежа и Твери, звали меня к себе. А Воронеж – мой родной город, я там родился. А Тверь, говорят, между столицами, неподалёку от Москвы... Но всё-таки я не поехал, остался в Орле. И вот дело до чего докатилось...

Что-то ещё придумают интриганы. Им бы с такими способностями хорошие книжки писать, а не катить бочки на своих конкурентов, какие пишут получше их.

Как только прошло собрание, и я всё сделал, чтоб уйти из секретарей, дело было в пятницу, так Моисеев с Рыжовым, ставшие один ответственным секретарём, другой – его заместителем, тут же в понедельник бросились в стол, искать на меня компромат. Думают, я дурак. Думают, оставлю им на закуску что-нибудь, даже чего и не было. Но всё же потом за что-то прицепятся, придумают что-то. Всё никак интриганы эти от меня не отцепятся.

«ДЯДЯ СТЁПА» – МИЛИЦИОНЕР.

**«ЖИВЁМ ПО СУХОМУ ЗАКОНУ». САМ СЕБЯ
ССЫЛАЮ В СИБИРЬ. ВОЗВРАЩАЮСЬ НА РОДИНУ,
Я В СОВХОЗЕ «ПРОГРЕСС». ЕЛЬЦИН И ПАРТБИЛЕТ.
А ПОТОМ И ЗАЧЕМ БЫЛО ВСЁ ЭТО?**

Снял с себя погоны ответ. секретаря хотя и добровольно, но какое-то время всё-таки переживал, был как бы сам не свой. Всё казалось, что у моего преемника всё не так, не так бы делал я и с домом, и с самими писателями. Моисеев Леонид Юрьевич был барин и очень любил деньги. А ларчик открывался просто. До того Моисеев был главным режиссёром областного драматического театра имени Тургенева, как же – заслуженный деятель искусств. И потому ценил себя высоко, выше любого писателя, как и любого актёра. А почему-то деньги любил втрое больше обычно? Хотя сам себя любил больше всего. В общем, какой там

дом, какие там деньги писателям по линии Бюро пропаганды художественной литературы. Это я всего за год на посту ответ. секретаря фонд Бюро пропаганды увеличил вдвое (с 18 тыс. руб. до 36 тыс. руб.) за счёт Камчатки, где план постоянно не выполняли.

И ещё интересный момент. Напросился Моисеев к губернатору на приём. Дело было в самом начале развала Союза. А губернатором стал тогда Юдин Николай Павлович – наш малоархангельский, даже с нашей улицы. С ним мы в одной школе учились, на какие-то два года он был моложе меня. Я и во Мценске не терял с ним, как говорится, творческих связей, когда он был сначала директором Спасско-Лутовиновской школы, потом мэром города, строил здание мэрии.

Вот Николай Павлович и говорит нам, писателям, попавшим к нему на приём вместе с Моисеевым:

– Ну, что у вас? Какая главная просьба?

– Да вот, – встаёт с места Моисеев и на цырлах к нему, говорит робким голосом. – Деньжонок бы нам подбросить. Чтоб книжки легче писались.

– По десять тысяч на год каждому хватит? – улыбается Николай Павлович.

– О, конечно, конечно! – восхищается Моисеев. – Хорошо! И очень даже большое спасибо!

Поднимаюсь я с места и говорю:

– Хорошо, конечно. Да не совсем. В году двенадцать месяцев. Если в год по тысяче рублей, это десять тысяч. А что остальные два месяца делать? Лапу сосать? Если уж давать, так двенадцать тысяч. По тысяче в месяц.

– Разумно, – улыбается мне Николай Павлович. – А как мы их, эти денюжки, назовём? Ни зарплата, ни пенсия... как назовём, Леонард?

– Век живи, век учись, – говорю. – А коли каждый писатель учится... просто обязан учиться... как студент, стипендию получает... Стипендией и назовём.

Уходили мы все от губернатора нашей провинции довольные. Не знали, что станет это традицией. И у вто-

рого, третьего, четвёртого руководителя области. Интересно, кто же всё-таки дал нам стипендию? Моисеев, Юдин, Строев, Козлов или ещё кто другой? Как человек скромный я считаю, что кто-то неведомый, свыше, только не я...

Как бывший ответственный секретарь писательской организации я всё ещё оставался членом Центральной ревизионной комиссии Союза писателей России. А новый секретарь организации Моисеев должен был стать этим членом. И вот мы с ним едем на Пленум в Москву. Поселяют нас в гостинице «Россия» в двухместном номере. Завтракаем мы с видом на Спасскую башню. Тут-то я и узрел, сколько вмещается в этого борова: втрое больше, чем в меня. Столько он съел и выпил, сколько и я. Да ещё столько. И ещё столько же.

Идём в Союз писателей, это в сторону метро Парк культуры. Там и Союз, и Дом-музей Льва Толстого в Хамовническом переулке. Зашли мы сначала в дом к Толстому, побывали на втором этаже, в его кабинете. Спускаемся вниз, а навстречу дружок мой, тоже из Малоархангельска, но из Орла переехал в Москву. Позвонил я ему, как раз он идёт нам навстречу. Прямо на лестнице я говорю им:

– Мы орловские, познакомьтесь.

Моисеев важно протягивает руку:

– Леонид Юрьевич.

А тот этак не менее важно:

– Юрий Леонидович.

– Да ну? – изумляется Моисеев и смотрит на меня: в шутку это всё или всерьёз?

– Всерьёз, всерьёз, – говорю я им обоим. – Зато фамилии разные.

И разошлись мы, как в море корабли. Моисеев пошёл через дорогу напротив, в Союз писателей России – по делам, а мы с дружком отправились в центр, в гостиницу «Россия», в наш с Моисеевым двухместный номер. Входим в него, Юра сразу мне:

– Это вот твоя постель, поближе к двери. А это – его, у окна.

– Так сразу и догадался? – говорю я.

– А чего тут догадываться-то? – улыбается. Юрий Леонидович. – У тебя постель аккуратно застелена, а у него всё как зря. Подушка в ногах, одеяло на полу...

Идём на другой день с Моисеевым Леонидом Юрьевичем по коридору Союза писателей России, что на Комсомольском проспекте, а навстречу нам Михалков. Главный тут, Председатель Правления.

– Здравствуйте, – протягивает руку ему Моисеев. – Я ответственный секретарь Орловской писательской организации.

– Ну, и что? – свысока говорит ему «Дядя Стёпа».

– Я – ответственный секретарь...

– Ну, и что!! – резко говорит ему Михалков, не менее ответственный, но более резкий.

И пошёл себе, куда ему надо.

Стоим мы с Моисеевым, смотрим в спину ему. Я Моисееву и говорю:

– Сколько тут бываю, в первый раз вижу его. Даже зам. его Бондарев и тот меня ни разу не принял. По серьёзным делам, например, по финансам, связанным с капитальным ремонтом дома... С Зиминным я дело имел или с Поголевым...

– А Зимин – адмирал ведь в отставке, – постепенно приходит в себя Моисеев. – А кто же тогда Михалков?

– Автор гимна, вот кто! – говорю я. – Текста, у которого взял он один кусочек у Апухтина, а три – у меня.

– Низачто бы не поверил, – лицом повернулся ко мне Моисеев, бывший главный режиссёр Орловского драматического театра. – Вот бы сцену поставить такую в «Днях Турбиных».

– Небось, сразу бы дали Народного артиста СССР, – гляжу я на него иронично. – А не какого-нибудь заслуженного деятеля искусств.

– Вот именно, заслуженного! – поднял указательный палец Леонид Юрьевич Моисеев. – А не какой-ни-

будь просто писатель с тремя кусочками непонятно чьих слов...

Развернулся и пошёл в обратную сторону от той, куда мы собирались идти.

Это для чего рассказал я такую историю? А чтобы тот, кто будет читать эту мою писанину про орловских писателей, Моисеева ярче себе бы представил, как это он потом, когда меня в Орле подвергали репрессиям не только в редакциях, но и в других «борзописных» местах, был, как говорится, не в последних рядах, а где-то в передовых. И всё-таки он оказался если не самым первым, то скорее подручным у того, кто начинал не печатать мои рассказы ещё в молодёжной газете. И вот тот стал лидером пегих и рыжих, потом его и заменил Моисеев на режиссёрском посту.

И сразу же я почувствовал это. Ведь рыжий состряпал мне тогда дело на берегу Орлика. Сухой закон есть сухой закон. Сам Горбачёв как генсек пьёт молочко на трибуне, а мужиков с бутылками загнал в сараи или ещё куда подальше. Я прямо тогда сказал самому себе, что долго так страна не продержится. Мужики, каких всю жизнь приучали к пойлу, как жеребцы расшибут копытами стойло.

Живу с осени целую зиму у матери в Малоархангельске. Пишу то роман в стихах, то стихи в прозе. И мне ни до чего. То одно письмо пришлют из Орла, из Союза писателей, конкретно, из парторганизации. Конкретно, от человека, которому я способствовал стать партсекретарём. То второе письмо, то третье... четвёртое... пятое... Надоело мне всё это. «Дай, – думаю, – съезжу, узнаю, в чём дело».

Приехал. Тут же собрали собрание. Тут же исключили меня из партии. Впятером заседали, решили с перевесом в один голос, получилось тремя голосами (трибунал). Я опешил. Первый поэт, когда меня исключали, бегал по коридору, кричал: «Из членов Союза давайте исключим! Из Союза исключим!» Уж так ему хотелось проголосо-

вать, а членом партии не был, чтобы не платить членские взносы.

А что же со мной было? Сидело во мне, наверное, всё, что происходило когда-то с моим отцом в Воронеже, когда мне было всего два года. Что бывало тогда после этого? «Беломор», «Казбек» и прочие сигареты. Но были уже другие времена. Однако всё равно затаскали меня по «коврам». Как это было? Да как это было возможно?

В конце концов разобрались, поняли, что к чему. Умный человек занимался. Из профсоюзов. Поставили мне «на вид». Надо же было моим коллегам кость бросить. Но меня это взорвало: как это «на вид»? За что? На какой «вид»? «Да у нас, – объясняют мне, – директора заводов, предприятий «строгачей» штук по пять имеют, и ничего, работают».

– «Нет, – думаю, – так дело не пойдёт». Пошёл я в райком, взял открепительный талон и с глаз долой отсюда, куда подальше, в Сибирь. Сослал сам себя к сестре своей двоюродной, на Алтай. Такая энергия во мне поднялась, просто фантастическая. Роман в прозе месяца за полтора накатал. Не про себя, но события, похожие на эти, зафиксировал.

«Ну, и что? – думаю. – Чего добились они? Побуду тут, ещё роман напишу». А потом заскучал по дому, да и отправился назад восвояси, в свой Малоархангельск. Тут в райкоме приняли мой алтайский прикрепительный талон и поставили на партучёт в ближний, подгородненский совхоз «Прогресс». На одном собрании побывал, на другом, вернулся в реальную жизнь. О чём говорят в совхозе, что их волнует? Не о книжках, конечно, не о литературе (о литературе и писатели не говорят на своих собраниях. Больше интригами занимаются). А здесь о деле говорят: о севе, о сельхозтехнике, об удобрениях.

Затем перевели меня в здешнем райкоме в парторганизацию районной газеты «Победа коммунизма». Так тогда она называлась, а сейчас это «Звезда». И тут заговорили о том, что не пора ли мне обратно в Орёл, возвращаться на учёт в писательскую парторганизацию.

Так бы и перебрасывали меня туда-сюда. Как это мне ученица моя в пятом классе Луковской средней школы сказала: «На дерево влезть, да чтоб задницу не ободрать?» Так бы и мотали меня, но вмешался Его Величество Слу-чай. Пока время тянулось, страна подошла к такому невероятному, но очевидному развороту событий.

В Москве пошли митинги, колонны под знамёнами. Возник Борис Николаевич Ельцин как первый секретарь горкома партии. Сам видел его выступление с грузовика на площади перед Лужниками. Милиции понагнали, аж жуть. Автомашины за автомашинами, оцепление за оцеплением.

Перед микрофоном знакомая личность – членкор Юрий Корякин:

– Власть себя изжила, нужно переходить к другим формам правления.

«Ничего себе, – думаю. – Что он говорит? Что слышат мои уши? Даже не верится».

Мы с Юрием Леонидовичем не лезем в самую гущу народа. Это опасно, в случае чего могут и намять бока, раздавить. Стоим в сторонке, но на самом высоком месте: всё видно и слышно.

Вот морской офицер, капитан-лейтенант Северного флота, из Мурманска, сказал что-то, и у него отнимают уже микрофон, тащит милиция его в сторону, к милицейским машинам.

– Борис Николаевич! – кричат в толпе. – Борис Николаевич! Они забирают его...

Ельцин делает два огромных шага к морскому офицеру, хватает его за воротник и тащит к себе. Милиция тащит офицера к себе, Ельцин – к себе.

– Отпустите! – кричат в толпе на милицию. – Отпустите!.. Вот Ельцин скоро придёт к власти, он вам покажет...

По телевизору показывают на всю страну. Вот Ельцин чётким шагом в Кремлёвском дворце подходит к трибуне и кладёт партбилет на стол перед Горбачёвым.

Все это видели. И я подумал: «У меня с партбилетом была репетиция. Зачем всё это было? Зачем всё это было надо?» И всё это вело к развалу Союза. Писатели тоже разбили на куски свой Союз. По иронии судьбы я оказался с теми, кто меня исключал.

**РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА. ПОРТРЕТЫ
ПО КАРМАНАМ. СОЮЗ – ЭТО КОНТОРА.
«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ?» ПИСАТЕЛЬ –
ЭТО ЗВУЧИТ. «ПРОСТИ ИМ, ГОСПОДИ!»**

После меня Дом писателей всё же доделали. Но без камина, без террасы с видом на Орлик, без пианино в главной комнате. Однако с большим полукруглым столом, заказанным ещё Мильчаковым. «Без острых углов, – говаривал Владимир Андреевич. – Что для писателей архиважно».

За ним мы и заседали на своих собраниях как рыцари круглого стола, как в «Янках при дворе короля Артура». Стол этот из помещения, что было на Центральной площади, мы сюда перетащили, ума на это хватило. А вот портреты писателей – классиков, что были развешаны там по тем стенам в комнате ответ. секретаря, разошлись по карманам. «Как это по карманам?» – удивитесь вы поневоле. – «А так, – отвечу. – Каждый отнёс домой себе своего любимого писателя, чтобы тот индивидуально его просвещал».

Естественно, без творческого догляда писателей-классиков писатели – современники, как говорится, ещё более развеселились. В своих желаниях и притязаниях. В иной раз они заходили так далеко, что уходили из-под надзора того же Максима Горького или Ивана Алексеевича Бунина, Тургенева или Фета, Чехова или Куприна. Писатели ставили перед собой трудные задачи, непостижимые цели, но достигали результатов легко. Например, на собрании с темой «Идеологическое воспитание совре-

менников» они готовы были в глаз врезать, кому хотелось, особо тем, чьи книжки больше нравились читателю, были ещё талантливее.

Но одному достичь этого было бы невозможно. Вот они и группировались в кучки, в творческие течения. Так и ходили по городу кучками, сидели за полукруглым столом по ту и по эту сторону баррикад.

Мне всё это осточертело. Я занял место поближе к двери, чтобы вовремя приходить на собрания и вовремя сматываться. И те, кто меня уважал, садились поближе, но по разные стороны. Я старался помалкивать, не отвечать на животрепещущие вопросы некоторых инициаторов. Например, первому поэту Дроздикову Виктору Петровичу надоело быть без государственной премии. Ну, и что? И тогда он стал тут торчать день и ночь, окуривая всех сигаретами, как говаривал он, марки «чужаго». Любил «стрелять» у каждого, кто входил в помещение. Как «стрелка» его свободно можно было бы переименовать в «охотника». Представляете? Но «охотники» уже были, и «записки» про них уже были («Записки охотника» Тургенева), и потому вопрос повис в воздухе. И Дроздилов переключался на спиртное, которое приносили с собой другие любители русской словесности. – члены Союза и даже не члены.

Иные заседали тут постоянно: ответ. секретарь, конечно, секретарша, при нём, она же бухгалтер Нина Денисова – Трофимычева – Людмила Зыкина, так её звали за любовь к русской песне. В состав постоянных членов Совета безопасности, вернее, Бюро пропаганды художественной литературы, входил, безусловно, его директор Степаныч. От нечего делать он смотрел постоянно в окно, давил левой рукой мух на стекле, а правой рукой принимал дары волхвов, которые торопились стать под его покровительство. Проще говоря, с утра до вечера тут курили и пили, как и там, на площади, в лучшие времена. И пока что с откоса в Орлик, в его вешние воды, скатываться не собирались.

Ну, что ещё сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Кстати, Степаныч, как и известный писатель – классик отечественной литературы, родившись в Орле, успел побывать на Сахалине. Много лет его старшая дочь пробыла на том единственном в стране острове, который считается областью.

Почему я останавливаюсь на этом подробно? А потому что зима, которую я обычно провожу в городе, кончается, завершается зимний период, и скоро мне уезжать на лето в деревню. Люблю деревню, хоть и родился в городе. Но не любую деревню, а с видом на поле, на лес, на пруд или речку. Вот уже несколько лет я езжу по Орловщине и выбираю места. Первым делом съездил на пруд Чернечик, что в Дмитровском районе, где, бывало, любил отдыхать Мильчаков. Далековато? Зато Соломинский спиртзавод поблизости. Однако это меня не прельщает. Пусть приезжает сюда к дроздам первый поэт.

Пруд нашёл я где поближе, под Глазуновкой. Но леса нет. А без леса я не могу.

Под Малоархангельском пригляделся к посёлку Онегино. Приехал сюда на мотоцикле с другом своим Денисовым Шуриком, Александром Кузьмичом. Он сюда ездит за молоком. Три-четыре двора осталось и пять-шесть коров. «Город близко, наш дом, – подумалось мне. – Нет полной смены впечатлений».

Продолжаю ездить по области. Конечно же, Мценский край – жемчужина Орловщины. Но особая жемчужина в нём – посёлок Синяевский, где есть всё, почти всё абсолютно. Бывал там у учёного пчеловода Абрикосова даже Лев Николаевич Толстой. Проезжал по Новосильской дороге к своей дочери Татьяне Сухотиной в Кочеты, ныне Залегощенского района. Здесь, в посёлке Синяевском, всё есть: слева поле, а справа лес, внизу речка Алёшня, заливные луга в залесённых холмах. Недаром зовут всё это «орловской Швейцарией». Как увидел это я, так и сами написались у меня такие стихи.

Алёшня

*Алёшня. В пойме травяной настой.
Страна берёз в ракитовом краю.
Купался тут когда-то Лев Толстой,
И я в воде алёшненской стою.*

*Я – русский конь в упряжке ременной.
Конь с перемётом затянуло в ручку.
Какой там пряник, кнут вневременной?
Как дёрнут, оборвут, боюсь, уздечку.*

*Боюсь сорваться сердцем от любви,
В синяевских туманах заблудиться.
Пока мы живы, Бога не гневи.
Пока мы тут, что нам Босфор и Ницца.*

*По всей Алёшне от берёз светло.
По всей долине тянется туман.
Неси, Алёшня, рук моих тепло
В огромный Ледовитый океан.*

Увидел я всё это и сказал твёрдо:

– Буду тут жить!

И живу до сих пор.

Но это я рассказал про чудо земное, своё, деревенское, летнее, чтобы отвлечься от зимних своих, городских впечатлений. Ну, и чем мне закончить холодные или даже дождливые зимы в Орле? Рассказать, что ли, про особо яркие впечатления, случаи за столом рыцарей того круглого, полукруглого стола, который подарил нам Мильчаков?

От случая к случаю, от книг к книге. Краткий, но яркий калейдоскоп эпизодов и строчек, реальных и фантастических.

*Прощай, зима, в начале лета,
А в октябре прощай, любовь.*

Одно утешение – люди, мои читатели, которые тут, в Орле, остаются и живут зимою и летом.

«И вот что интересно: «академиков» всяческих в стране хоть отбавляй. Собрался междусобойчик (добавим, за круглым, полукруглым столом), обозвали себя как покруче, зарегистрировались в соответственном совете – и нате вам, «членкоры», «академики». Утром – деньги, вечером – стулья. Галина Борисовна Курляндская строго несла свой профессорский титул, пережив многих настоящих академиков, научных светил. Так кто же она тогда, если мода ныне на «академиков»?..

Ценность Галины Борисовны до конца нами как-то даже не осознаётся. А ведь Орловщина – край литературный, земля коренная, созидавшая и созидающая наш русский язык, отечественную литературу, культуру. Это родимые корни Тургенева, Лескова, Фета, толстовские, бунинские места. И ко всему этому ею был подобран научный ключ – эстетический, литературоведческий, философский – на базе российского и мирового сознания. Взгляните только на перечень городов и имён, откуда приезжали в Орёл на симпозиумы, научные конференции, на степень участия в них профессора Курляндской.

Такие люди, как Галина Борисовна, уникальны, это наша гордость, национальное достояние.

Она давно была в роще Платона – в мудрообильных кущах, шла стезёй, протоптанной бессмертными именами. Не в том ли состоял секрет её неувядаемости, удивительного долголетия, что жила она не только за себя, но и за других, во имя, а не вопреки. Она была верна идеалам».

И ещё знаю я человека с непростым, значащим именем. Это Александр Сергеевич Трунов – мэр моей малой родины г. Малоархангельска. Что интересно, кабинет его находится на втором этаже, окнами напротив памятника Пушкину на противоположной стороне улицы. Нет-нет да и взглянёт в окно Александр Сергеевич на Александра Сергеевича.

– Ну, и как, Пушкин, живётся тебе?

А Пушкин ему:

– Да так как-то. Как во времена Гоголя и... «Ревизора».

Подмигнёт Пушкину городничий – по-современному мэр, потянется к томику Пушкина или к «всероссийской» комедии. И начнёт читать то Пушкина, то Гоголя. И так светло становится, так радостно. С такими чувствами и идёт он к людям, к мирным читателям городка.

И ещё: сейчас, в наши дни, живёт у нас в Орле человек с таким именем – Владимир Ильич. Даже назвать его так как-то неловко. Думаешь, как это можно? А приглядишься к нему во времени и обстоятельствах и видишь, что, хотя он и чиновник, а простых человеческих качеств, таких, как совесть, порядочность, не теряет. Давно его знаю. Трудлюбив, точен, слова на ветер не бросает. Бережно несёт Коротеев Владимир Ильич имя своё.

Вот какие люди живут в Орле, делают погоду, климат городу, отчего уважаем и любим мы его, наши родные «пенаты».

И потому не каждый раз хочется мне идти туда, в дом на откосе Орлика, где дым коромыслом, где первый поэт бегаёт по коридору и тычет пальцем в меня:

– Распни его, распни!

А Яновский Анатолий Николаевич ушёл, помню, с такого собрания. Потому что он фронтовик, потому что в друзьях у него и Песиков, и Афонин Леонид Николаевич, потому что они люди иного поколения, какие не знают в душе такого слова «Распни!» Потому что учитель для них есть Учитель, какого распяли, но жив он для всех до сих пор.

– Господи! Прости им, грешным.

И перенесусь я от них, таких, в те годы свои молодые, когда я работал в деревне учителем истории, русского языка и литературы, и скажу таким на все времена:

– Господи! Прости им, прости, они не ведают, что творят!

**ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДЕНИЯ.
НА АБРИКОСОВОЙ ПАСЕКЕ. МОЙ ДРУГ
ДЕМЬЯНЫЧ, ПЧЕЛОВОД. ЖИВУ ПОКА ЧТО
НА КОСАРЁВКЕ. ВИД С ДРУГОГО КРАЯ ПОСЁЛКА
СИНЯЕВСКИЙ**

По книжке краеведа Чернова, облазил я, пожалуй, половину Мценского района, что в эту сторону – на Восток. Но никак не мог найти того места, где Лев Толстой встречался с учёным пчеловодом Абрикосовым, когда ездил по Новосильской дороге к дочери своей Татьяне Сухотиной. Однако искал я это место встречи не там, за Зушей, по той дороге, а не по эту сторону Зуши, по дороге, какая ведёт на село Высокое.

Случайно встретился я на автовокзале во Мценске с одним журналистом, из районной газеты, разговорились. Журналист этот мне и сказал:

– Не по той дороге ходишь, товарищ, надо бы где-то около Подбелевца, перед речкой Алёшной. В общем, выходи из автобуса и спрашивай...

Так я и сделал. Председатель колхоза Артюхов сразу же сказал мне:

– А-а, это Жанова горка у посёлка Синяевский. Вот по этой дороге и идите, придёте к Абрикосовой пасеке. К Демьянычу. Это Козырев Владимир Демьяныч. Там, на горке, в старом саду, его владения. Там стоят его ульи. Купил пасеку он у лесхоза, теперь он тут хозяин... Ничего, толковый мужик. Он вам всё и расскажет...

Лесной дорогой я прошёл прямо к вагончику, возле него на земле стояла «Спидола», музыка из неё разносилась окрест. Вскоре от пчелиных колодок в маске подошёл, улыбаясь, сам пасечник. Познакомились. Демьяныч тут же принялся угощать меня чайком со свежайшим медком.

– Пусть ползают, это мне всё равно, – обирал он с рук своих пчёл. – Меня они не кусают, а если и укусят, так руки у меня не распухают... Угощайтесь, угощайтесь! Это мёд из подснежников. Первый сбор с первых после снега

цветов. Снег едва сойдёт, как пчела уж летит, труженица. Она меня и спасла... Вернулся я после войны из Германии едва живой. Взяли меня немцы отсюда подростком и увезли туда к себе, и пошёл я там у них по концлагерям... Ну, конечно, какое здоровье?..

Вернулся я, и кто-то меня надоумил:

– А возьми-ка за пчёлку. Божья тварь тебя на ноги и поставит.

– И поставили, – говорю я, – пчёлки-то?

– Поставили, – улыбается Демьяныч. – Ни язвы желудка, ни ещё чего-либо... В общем, встал на ноги и в другом смысле. Божья тварь мне и денег дала. Дом построил, женился, двое детей...

Так сидели мы с ним и гутарили до самого вечера. О чём только мы с Демьянычем не переговорили. Рыжеватый такой, сам похож на пчелу. Струнка у нас с ним какая-то натянулась, сразу же между нами установились, откровенно сказать, такие тёплые дружеские отношения, которые длятся долгие годы. А пока пасечник мне и говорит:

– Мы бы остались тут, в вагончике, ночевать, да домой мне надо. Утром рано ехать во Мценск... Вон лошадка моя стоит под ракитой. И там же телега, запряжём и поедем...

Спустились мы с Жановой горки, свернули налево на нижнюю дорогу, вдоль речки.

– Там, наверху, посёлок Синяевский, – крепко держит Демьяныч возжи в руках, – но мы по нему не поедем. На всякий случай. Чтобы не увидели, что мы уехали. Вроде мы ещё на пасеке...

Так и проехали мы мимо Синяевского. Утром поднялись рано. Демьяныч отправился по дороге на Мценск, а я пошёл вдоль Алёшни на посёлок Синяевский. Посёлок этот – столыпинский «отруб», выселки из деревни Синяевки, что за бутром в сторону Подбелевца. Заходил я в него с этого краю, от Прилеп. А когда прошёл через посёлок на тот конец, остановился у крайнего домика, ахнул:

– Вот это да! Речка внизу, заливные луга, на той стороне залесённый бугор. В самом деле «орловская Швейцария» Красота и уют, какое-то умиротворение. Как будто и нет у тебя за спиной ни других деревень и посёлков, ни всего колхоза «Россия», ни полей с тракторами, ни ферм, того беспокойного хозяйственного уклада, который заставляет тебя хлопотать, колготиться, бороться за хлеб свой насущный...

– Буду жить тут! – твёрдо сказал я сам себе. – Жить буду тут обязательно.

С этого лета мы перестали ездить на отдых в Крым. А ведь до того бывали в Крыму не раз. И дикарями в Евпатории дважды. И в Домах творчества: в Ялте и Коктебеле два раза, где нам тоже очень всё нравилось. Там море, а зелени всё-таки мало. А тут зелени море и воды сколько хочешь. Речка Алёшня впадает в Зушу, а в истоке Зуши даже есть острова, по берегам ключи ледяные... Щука и караси, лещ и окуни ... Но рыбу ловить я не очень люблю. Я – грибник, люблю собирать грибы. Люблю «третью» охоту, грибы люблю. А их тут по лесам и перелескам хоть отбавляй...

Сразу пришёл я в крайний домишко – к бабе Кате, так звали горбатенькую суховатую старушку, которая ловко бегала по буграм и таскала на горбу из лесу домой к себе всякое добро: хворост – топить печку, грибы, землянику, даже малину. ..

Только ступил я к ней за порог, как баба Катя сразу же повела меня куда-то за хату, к пристройке. Открыла дверь:

– Смотрите, что тут у меня.

Полки по стенке, снизу доверху.

– Это грибы... белые, свинухи, рыжики... солёные, маринованные...

Видите? По другую сторону – банки. Огурцы, помидоры. И ягоды всякие: клубника, земляника, малина... И всё это им туда, в Москву. Да разве Москву накормишь?..

– Кому, кому? – любопытствую я.

– Своим туда. Дочь Рая там у меня, и у неё тоже дочь Валя, а у Вали тоже дочь Катя, зовут, как меня...

– Прямо как в русской народной сказке, – улыбаюсь я ей. – Как в сказке у вас, баба Катя, – говорю я. – Матрёшка одна в другой, матрёшка в матрёшке...

– Старовата стала, – жалуется баба Катя. – Уже не одолеваю.

– Чего не одолеваете, баба Катя?

– Не одолеваю по буграм лазить, хворост таскать на себе... Помирать пора...

На другой день прихожу к бабе Кате и говорю:

– Чем бросать хату, продала бы, что ли, мне хотя бы?

– А чего? – говорит она звонко. – И продам! Присылай документы, дорого не возьму.

Вот у меня всё не выходит из головы хатёнка бабы Катина, сама баба Катя. Поселились мы всей семьёй в Косарёвке. Возле Демьяныча. В пустом Валином доме. Живём неделю, живём другую. Пошёл я опять в посёлок Синяевский, а бабы Кати уж нет: в Москву, к родне, укатила.

Написал я письмо и пошёл с ним в Подбелевец, в почтовое отделение. Отдал прямо в руки зав. почтой Сталине, так звали её, Сталина. И жду ответа, как соловей лета. Так до самого Покрова ответа и не последовало.

Уехал домой в Орёл и я.

И только потом, на другой год, когда вернулся в эти края, узнал от одного близкого мне человека, что Сталина эта моё письмо никуда не послала. Как говорится, прикарманила письмецо моё. И тем расстроила все мои планы.

Но стратегия моя оставалась. А стратегия эта заключалась в том, чтобы всё равно, при любом раскладе пасьянса, жить мне в посёлке Синяевский, в этой «орловской Швейцарии». Приглядел ещё один домик – другой старушки, бабушки Даши, Дарьи Ивановны, матери Нюры Тихоновой. Нюра да Иван Тихоновы жили тут же рядом в большом деревянном, добротном доме. Они стали потом нашими замечательными друзьями, как гово-

рится, на всю оставшуюся жизнь. Нюра тогда была дояркой, а Иван – пастухом на ферме. На коне объездил по этим буграм, наверно, половину экватора.

Жил – жил я в Косарёвке, в пустом Валином доме, а потом, думаю, надо поближе к «орловской Швейцарии» подбираться. Пришёл как-то к Нюре Тихоновой, а там баба Даша, Дарья Ивановна.

– Чего это вы тут делаете? – спрашиваю я её.

– Как чего? Живу, – говорит она, как всегда, с каким-то задором.

– Зимой?

– И зимой, и летом.

– Хата ваша, баба Дарья, выходит пустая? – говорю я.

– Выходит, пустая... Приходи и живи, сколько влезет, Михалыч. И своих из Орла тащи сюда. Всем места хватит.

Так я и сделал. Поселились мы все втроём в Дарьиной хате. А она, такой человек, то, бывало, не переступит порога, а то как заявится, так и сидит, сидит не уходит, смотрит, как мы едим. Интересно ей, что это мы, городские, едим тут в деревне. Какие такие «бисквиты». – Какие там «бисквиты», – садись с нами, Дарья Ивановна. – Садиться откажется, а сидит и глядит. А нам как-то неловко сидеть и есть под чьим-то пристальным взглядом.

Нюра знает все эти фокусы своей матери. Вот и стала она нас к себе приглашать. Звать за свой большой деревянный стол в первой комнате, вроде столовой, которая больше даже той комнаты, где у них телевизор. Понаставит Нюра всего на стол. Всякой еды своей деревенской: яйца, хлеб, молоко, огурцы, помидоры... Ну, всего, всего... и сама ест, и нас угощает...

И у каждого из нас завелось там местечко своё за большим деревянным столом. Баба Даша сидит слева в торце стола как хозяйка, я – у окна на скамейке, Нюра – напротив меня, ей бегать на кухню, что у неё за спиной, Иван рядом с ней, прямо напротив меня, а Людмила моя с Игорем – справа от меня на диване. Ну, а все остальные, кто появляется, кто где садятся между всеми нами,

главными, основными сидельцами за большим Нюриным столом, накрытым клеёнкой, а по праздникам так и цветной, розовой скатертью, купленной для таких случаев специально.

Потом Нюра стала поговаривать, что соседняя хата даже не бабы Даши, Дарьи Ивановны, а сестры её, Нюриной, Нинки. Младшей сестры Нюры. А у Нинки есть сын Серёжа, племянник Нюрин. Нинка и ему подыскивает хатёнку на том краю посёлка, в самом его начале. Когда две сестры – старушки, какие тут жили, поумирали одна за другой, хатёнка эта какое-то время оставалась пустой. Пока не появился тут брат умерших сестёр, который жил где-то в Москве. Сёстры подписали ему эту свою хатёнку.

Обычно я проходил мимо этой крайней хаты в посёлке, почти не глядя на неё. Она была за кустами, деревьями где-то там, повыше, на буторке, и не обращала на себя никакого внимания. Такая была она простенькая, обыкновенная, даже примитивная. Но вот на крыльце появился человек.

– Давно здесь живу, – подошёл я и протянул ему руку, – а своего угла нет. Слышал, что вы её продаёте? – кивнул я на эту хату – дворец, ему, владельцу Балантре.

– Завтра с утра уезжаю, – сказал он как-то скупно. – Захотите купить, приезжайте ко мне в Москву.

И назвал свой телефон.

Мне почему-то стало ясно, что человек не хочет афишировать эту свою продажу, что ему хотелось бы совершить нашу сделку в Москве. Через неделю я приехал в Москву, разыскал его где – то в спальном районе. Он как раз собирался к себе на дачу. Спешил на электричку, что ли, Москва – Петушки. И не очень-то интересовался упавшей ему с неба звезды – какой -то хатёнкой в каком-то посёлке Синяевском. И потому легко согласился сходить к нотариусу, где мы подписали бумагу. Деньги я должен был отослать ему на сберкнижку из Подбелевца. Сказал он всё это и тут же укатил в свои Петушки.

**ХОЗЯИН УСАДЬБЫ. ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ.
СВЕРХУ ПОЛЕ, СНИЗУ ЛЕС. ДУША ПОЁТ**

Вернулся я в Подбелевец и только, тут разглядел что в процессе должно было участвовать третье лицо. Я крепко задумался: «Кто же будет это третье лицо?» Хорошо помнилась недавняя проделка зав. почтовым отделением этой самой Сталины с хатёнкой бабы Кати на том краю посёлка Синяевский. Надо было спешить. «Однако кто же будет посредником, третьим лицом при продаже?

– Демьяныч! – пронзило меня. – Владимир Демьяныч, вот кто! Больше никому».

Пошёл в Косарёвку. Демьяныч к этому времени уже маленько забронзовел. Он ездил, как в былые годы, уже не на лошадке, а на машине, на «Москвиче» синего цвета. Демьяныч хотел было улизнуть от меня то ли в Высокое, то ли во Мценск. В кабине у него, я заметил, висел милицкий мундир со старлеевскими погонами.

– Зачем эта вся бутафория? – спросил я его, удивившись. – Одеваетесь, что ли, когда подъезжаете к городу?

Демьяныч слегка растерялся.

– Да так, – махнул он рукой. – Висит просто.

Но стал со мной маленько помягче, поговорчивее. И поехали мы с ним не на Высокое ни на Мценск, а в Подбелевец, прямо в Чахинский сельсовет. Пришлось ему подписывать мне бумагу. Сумма не ахти какая, но тоже уважения требует, круглой печати. Я тут же побежал в почтовое отделение к той же Сталине, чтобы перечислить деньги в Москву. А Демьяныч тут же укатил во Мценск на синем своём «кабриолете» с милицким мундиром.

– Ну, что? – подошёл ко мне председатель сельсовета Николай Васильевич Горбатов. – Всё оформил? Давайте-ка я вас отвезу.

Мы сели на его «Урал» с люлькой и поехали в нём, как поближе, прямо по кочкам на непаханном поле, что было за Жановой горкой.

Подъезжали сверху к хатёнке, которую я купил только что, в кармане лежал на неё документ. Выбежали Сухоруковы – старые жители посёлка.

– Вот привёз вам соседа, – сказал Николай Васильевич, показывая на меня. – Прошу любить и жаловать. Новый хозяин усадьбы.

Сел я на крыльцо теперь своей собственной хаты и крайне задумался. И хата эта дышит на ладан, и усадьба ничего себе, вся в кустах, в бурьяне выше пояса. Сколько же нужно тут сил человеческих, чтобы привести всё в порядок. Ни пила, ни топор, ни лопата не гуляли тут годы. Ни единой тропинки, ни единого шага от поля до леса не пройдено по этой усадьбе. Пошёл я по ней, стал делать ей наружный осмотр. Сад давнишний, видать, послевоенный. «Штрифель» протянул свою длинную руку с яблоками почти к самому окну. И ещё «штрифель» за ним, а дальше антоновка, а потом какие-то красные яблоки, сорт которых мне неизвестен. Посредине сада груша – дикарка, но такая сочная, которую я ем и даже люблю.

Дело к осени, и яблоки с грушами, поспевая, валяются в бурьяне, прямо под ногами, Бери, сколько хочешь, ешь – не хочю. Кое – где даже вишни висят, ещё не опали. Правда, слив возле дома уж нет, кое – где в листве торчат жёлтые, абрикосовый сорт. И тут на пенёчке я вижу топор, изрядно уж заржавел... Прошёл дальше я – лопата... Под вишнями – молоток... Совсем дед память потерял. Ну, хорошо, топор-то понятно зачем, лопата тоже. А вот молотку что тут делать? И клещи вижу в развилке груши...

Сад снизу как бы огорожен огромными липами. На липе пчелиная колодка, повыше ещё одна. А между стволами, в низочке, две зелёные ёлочки. Уже подтянулись до половины липы. Хоть наряжай под Новый год, празднуй тут по пояс в снегу. Однако кто же сюда, в такую дикость, поедет?.. А огород? Отсюда до самых берёз, что в конце огорода до самого поля.

Посёлок между лесом и полем, между полем и лесом, это откуда глядеть. Жили же люди, пахали, трудились и

знать не знали, ведать не ведали, что придут сюда такие вот времена, когда никому ничего не будет тут нужно, всё это зарастёт бурьяном. Со столыпинских времён получили надел, трудились, распахивали целину на краю бугра перед лесом, перед пойменным лугом, по которому протекает малая речка Алёшня.

И в дом лучше не заходи. Тоже грязи по шею. Потолки чёрные от копоти, бабки топили русскую печь по чёрному. В последнее время обе они, видать, уже не слезали с широкой лавки за печкой, куда обычно на зиму ставят телят. Так и лежали, теряя силы свои с каждым днём...

Жена с сыном, конечно, не захотели тут ночевать.

– Наведи хоть элементарный порядок, – сказала Людмила. – Чтоб можно было тут жить. А мы с Игорем пока что в Орёл... К автобусу на Алёшненский поворот, пока время есть, не то опоздаем...

И ушли верхней дорогой на деревню Синяевку.

А я, проводив их, присел под эти две большие берёзы, что выбухали тут, в конце усадьбы, смотрел задумчиво перед собой на Высокое, откуда должен был сюда спускаться автобус. Вот он показался, вот он спустился к мосту через речку Алёшню к деревне Сойминово. Высокинским автобусом они и доедут до Мценска, неизвестно когда приедут.

И всё это время ты будешь горбячить тут, на этой усадьбе. А в ней как-никак полгектара. Вообще-то усадьбы у всех на посёлке Синяевском по гектару, а тут у меня и у соседей Сухоруковых по половине гектара. Почему? Ещё в те, столыпинские времена старший брат позвал к себе из города младшего.

– Чего тебе там мыкаться, – сказал он ему. – Я тебе половину своего надела отрежу. Вместе станем жить и работать, землю пахать. Так-то легче вдвоём...

– «Прообраз коллективного хозяйства, – подумалось мне. – Бригада потом получилась».

– Бригада, бригада, – шумела одна берёза.

– Прообраз, – отвечала другая.

И всё же сию я тут под берёзами, и так мне хорошо. Не то, что в городе: толпы, дома огромные и машины. А тут вольная воля между полями и перелесками. И запеть захотелось мне, стихи полетели сами. Строка за строкой. Летят журавли надо мной, над самой моей головой. Весной летели на север, в те места, где когда-то они родились. Летели молча, сосредоточенно, спешили домой. А тут уже осень, и летят они уж на юг. В тёплые, но чужие страны. И летят, подают голоса, словно плачут, прощаясь с родиной. Отчего не заплакать: то летели по тридцать, по сорок штук, по столько их косяком, двумя струнами вёл их на север вожак, а то он один, и за ним от него на расстоянии всего шесть – семь в одной струночке. И уже рыдают они, а не плачут, слёзы льются вместе с туманом на меня откуда-то с неба – журавлиные слёзы, смешиваясь тут под берёзой с моими слезами, со словами двух берёз плакучих надо мной, пронзающих небо.

«Журавли колесом!»

*Две берёзы за хатой моей деревенской.
Шорох жоровлей с неба, золочёные синь – купола.
Осень, осень в сторонушке нашей амченской,
Что-то жуткое в этом концерте-гала.*

*Всего семеро в нити, перетянутой кликом,
Величаво летят над моей головой.
А бывалыча, клином проходили великим,
Оглашая окрест серебро над молвой.*

*«Журавли колесом!» – им вослед тут кричали,
Возвращая обратно, проявляя желанье и пыл.
Ведь кого-то встречали и кого-то венчали,
Кто-то где-то кого-то когда-то любил.*

*Что случилось? Кто выпал из мистерии клина?
Завернулась струна острым в сердце моё.
Не катит колесо, как бывалоча, длинно,
Да и кратко уже откатила своё.*

*Две берёзы за хатой моей деревенской,
Ледяные, стоят, в чём их матушка Русь родила.
Вот уже и декабрь в этой теме осенней амченской.
Серебро на висках в этом жутком концерте – гала.*

Всё это так и пронеслось, прокатилось над моей головой, до зимы просквозило. На другой день пришла сюда ко мне, на этот край посёлка, баба Даша, спросила и задорно, и грустно:

– Михалыч, а видал вчера журавлей? Как печально летели, так было их мало. Штук семь насчитала.

Присела баба Даша на крылечко, тогда я взял и прочитал ей эти свои стихи – свежие, написанные вчера.

– Сами пишутся, – сказал я Дарье Ивановне. – Сами поются, скоро, наверно, положу их на музыку, получится песня.

– Ты, Михалыч, прямо, как я, – головой покачала Дарья Ивановна. – Со словами-то как управляешься. Играешь, как мячиками. Я, бывало, так с детства, да хоть и сейчас... Говорить говорю, а писать, читать не умею, не научилась...

Вишь, Михалыч, как на усадьбе за работу ты взялся. Тут работы тебе непочатый край. Физической. А у тебя работа ещё и химическая, это внутри тебя. Как у тебя в самом себе выходит всё складно. Стихи называются... а потом, стало быть, будут и песни...

– Будут, будут, – улыбаюсь я бабе Даше.

– Как это у тебя, «осень, осень в сторонushке нашей амченской, что-то жуткое в этом концерте-гала». И что это значит – «гала»?

– Концерт такой большой, – говорю я. – Очень большой. Связан с людьми и жизнью природы. Вот журавли

летят и поют, а мы запеваем, поём вместе с ними. И тогда получается песня. Одна песня на всех, зато какая! Летит по стране, по земле великой с небес, все поют.

*«Здесь под небом чужим
Я как гость нежеланный,
Слышу крик журавлей,
Улетающих вдаль.
Сердце бьётся сильнее,
Слышу птиц караваны.
И в другие края провожаю их я».*

«Это душа моя так поёт, – думаю я. – Так красив тут ландшафт, стратегически хорош весь посёлок Синяевский. А тут пока что, с этого его края, с моей стороны, красоты ещё мало. Всё заросло бурьяном. Даже груши-дикарки по левую руку, за садом, и те сока не дают. Тверды, как камень, и на вкус даже горькие.

Надо скорее за сад браться, бурьян выламывать, кустарник выпиливать, убирать сушняк с яблонь. А то вот так посиди без дела-то, душа привыкнет к такому безобразию, и красоту перестанет тут замечать. Это не дело»...

Первым делом взялся я за косу. Сначала отбил её, как положено. Нашёлся у деда отбойный молоток, и скамейка с отбойником. Навострил косу смолянкой, и смолянка у деда нашлась. И пошёл я посмотреть на нижнюю дорогу, что выводит мимо сада моего за околицу, что там косой можно сделать. Можно ли сразу косой работать по бурьяну? Оказывается, нельзя. Много всякой хворостяной мелочи: дубки молодые – от желудей, липочки – от семян липы, боярышнику, шиповнику сколько, малины... Взялся я за топор и давай всё это вырубать. Вырубил всю эту дребедень, засорившую траву, и за косу взялся. Косить тут хорошо, в тенёчке от дубняка, идущего вдоль дороги, что ведёт в середину посёлка. Покосишь, покосишь и постоишь.

Появилась на краю посёлка Рая – бабы Катина дочь. Москвичка. Когда-то после войны уехала из этих мест в Москву по лимиту, отстраивала столицу, получила квар-

тиру и теперь приезжает на целое лето сюда, на посёлок Синяевский. А сейчас она делает очередной обход вокруг всего посёлка. Вернее, разминает больные ноги, заодно и присматривает за хатёнками, когда людей нет, куда-нибудь по делам уезжают.

– Молодец, новый хозяин, – подбадривает Рая меня. – Коси, коса, пока роса. Под своей усадьбой будешь косить или и под Сухоруковыми?

– Пока под своей. – сдержанно отвечаю я ей, тоже Сухоруковой. – А потом, как управлюсь, буду и под соседями косить, за орешником.

– Бог в помощь, – проходит она далее мимо меня.

**С ВЕСНЫ Я В ПОСЁЛКЕ СИНЯЕВСКИЙ.
ВСЁ СТАНОВИТСЯ ТУТ ПО-ДРУГОМУ.
ПРИЕЗД САШИ ЛОГВИНОВА. ГРИБЫ – ПЛАВУНЦЫ.
МОИ СОСЕДИ СУХУРУКОВЫ**

Уже с апреля всей душой рвусь из Орла я в свой посёлок Синяевский. Пришёл с Алёшненского поворота, а груша уже зацвела. Неистовый розовый запах, тонкий, едва уловимый. И пчёлки уже полетели. Усадьбы моей не узнать, так она преобразилась за короткое время. Труд человека красит, а природу, живую природу? Мальва из земли поднялась, подтянулась к окну. И откуда взялась? Наверно, от птичек. Птички семена принесли, а их тут превеликое множество. Поют на всякие голоса. Мне их слушать некогда, времени нет, домом заниматься надо, внутренними помещениями.

Приехали Сухоруковы, соседи наши. Галя работает на заводе «Коммаш», красит заводские машины – коммуналного машиностроения.

– Галя, зайди к нам, – попросил я. – Глянь, какой потолок, весь чёрный. Покрасила бы, что ли.

– На ту субботу приеду, свинцовые белила привезу, – сказала она с готовностью. – Конечно, с таким потолком жить нельзя.

Залюбовался я, глядя, как работает Галя. Потолок-то красить, а ну, попробуйте-ка, нелегко. Голову вверх задерёшь, шея болит, руки затекают. А у Гали всё идёт чередом, как по маслу. Ни единой капельки с кисти не капнет, на пол не упадет. И всё ровненько, гладенько, белым по чёрному, одна полоса за другой. Потом ещё раз прошлась Галя кистью уже по белёному, и потолок засиял. Комната сразу стала другой, праздник в дом вошёл и без всякого солнца.

– Молодчина какая, а? – разулыбался я Гале. – А ещё говорят по-уличному, что вы Калымовы. Это ваш дед был Калымов, калымил по деревням, делал всё кое-как. А что ты, что брат твой Коля – работники... да какие!.. Что-то нет его.

– В эту субботу приедет, – собирает Галя в железную банку кисти. – Грибы появились, значит, прискочит.

– Я тоже грибник, – обрадовался я. – Себе бы сходить, поглядеть грибы-то.

С утра взял косу и пошёл косить. Коси, коса, пока роса. Кошу, но не по двору, а по улице перед усадьбой, где прошлой осенью вырубил всякую хворостяную мелочь. А косить я люблю. Любо – дорого вести косой по траве и класть её рядочек в рядочек. В жаркий денёк она уж к обеду обсохнет, из травы превратится в сено. А всяких сараев вокруг дома много, и все сеном набиты. И позади хаты сарай, в нём когда-то стояла корова. Снесу сарай этот в первый черёд, землю тут превращу в огородик под лучок, под редиску, под яровую картошечку. Земля-то какая – унавоженная, корова же стояла...

Хожу по улице, окашиваю придорожье. И тут машинёнка откуда ни возьмись – «Запорожец». Оранжевого цвета. Вылезает из него, ни за что б не подумал, Саша Логвинов. С другом приехал – Сашей Фирсовым. Подошли они, обниматься мы стали, чуть ли не целоваться.

– Ну, показывай, – говорит Саша Логвинов, – свои владения. Как они тут у тебя?

– Да пошли, пошли, – говорю. – Идём покажу.

Поднимаемся вверх, проходим мимо кустов чёрной смородины. Ступаем на крыльцо. Входим в сени.

– А это что? – спрашивает Логвинов Саша. – Что за портрет?

– А это, – говорю, – хозяйка тут. Самая первая. Студенты московские рисовали. Из художественного института. Практику тут проходили. Тут же места замечательные, красивые, есть где проводить пленэр...

– Вот написано внизу на портрете, – пальцем указывает Саша Фирсов. – Что это?

– А-а,- смеюсь я, – да это уже я маленько подрисовал, приписочку сделал. – И запел на известный мотив:

– Уголок России – отчий дом,

И туманы синие за окном.

Где глаза и тропки узкие,

И душа, и песни русские...

Уголок России – отчий дом...

Колхоз наш тоже название носит «Россия», а мы тут его уголок.

Идём по саду. А я на днях его уже прокосил. Лежит сенцо рядочек в рядочек. И кустарник вырублен, и сушняк с яблонь опилен и убран. Как-то просторно в саду, хорошо. Подошли к ёлочке, и ёлочка молодая, зелёная. Птичка спорхнула с неё и взлетела на липу.

– Слушай сюда, – говорит друг мой Саша Логвинов. – Да ты прямо подвиг тут совершил.

– Какой подвиг? – глажу я ёлочку одной рукой, а другой приставляю к ней косу.

– Как какой? Трудовой, – покачнул головой своей Саша. – Уж я-то знаю, что это такое. У нас в Шамардино дед мой умер, так я усадьбу его уже второй год никак не приведу в порядок.

– Вот тут, – говорю, – поставлю стол железный. Пригладел в одном месте, на брошенной усадьбе. – И будем тут чай пить из самовара. Собираться с соседями на застолье... Вообще-то, – рассказывают, – тут в нашем доме когда-то, после войны, собирались на вечеринки...

– В таком маленьком? – подаёт голос Саша Фирсов.

– Самый большой был дом тогда на посёлке. Большие немцы пожгли. Тоже были тут, была оккупация... А за речкой Зушей, за Колымой, уже наши стояли...

– А что такое Колыма? – интересуются сразу оба Саши – Логвинов и Фирсов.

– Колыма-то? Далеко отсюда, за речкой, пойменные луга. Вот и «Колыма»... Заливает луга, и вода долго держится, рыбёшка, лягушки в ней водятся, можно руками ловить... Цапли туда летают. Да вон уже полетела. Как раз из Алёшни мимо нас пролетают...

– Недавно живёшь, – говорит Саша Фирсов, – а всё знаешь, молодец!

– Голопузый твой отец, – смеюсь я на свою же сказку, – Как не знать? Красота, высота... А просторы? А птицы? А люди? Демьяныч один чего стоит. А Нюра с Иваном? А баба Даша?

– И друзей уж завёл?

– И друзей... Уголок России – отчий дом.

И туманы синие за окном,

Где глаза и тропки узкие,

И душа, и песни русские...

Укатали оба Саши – Логвинов и Фирсов – на своём «кабриолете» – апельсиновом «Запорожце», и как-то стало без них грустновато. Заскучалось по городу, по семье своей – по жене Людмиле и сыну Игорю. «Кинь грусть». – вспомнилась мне книжка с таким названием. А чем прогоняют и грусть, и даже тоску, как не «химической» или физической работой. Коси, коса, пока роса. И слышу я голос где-то вверху огородов, от соседей, от Сухоруковых.

– Михалыч, а Михалыч! Грибы появились!

Это Коля Сухоруков. Добрая душа. Не успели грибы появиться, как он уже ставит меня в известность. Молодец! Хороший сосед, замечательный! Говорят, не усадьбу выбирай, а соседа. Не будешь биться, сражаться всю жизнь за какую-нибудь межу.

– Видишь? – поднимает Коля сумочку над своей головой, как повыше. – Видишь? Это лисички. Вон из того леса, из Осинника...

– Молодец, Коля! – кричу я в ответ ему, а сам думаю: «Даже место мне указал, где лисички. Даже Нюра и та не всегда скажет, когда и где грибы появились, в каком месте. Тем более лисички, редкие грибы в наших местах»...

– Приходи вечером, – машу я ему рукой. – Чайку попьём из самоварчика. К вечеру стол в саду поставлю, за столом и посидим...

А сам думаю, куда мне бежать за грибами и за какими? За белыми боровиками или за лисичками? Просто белые тут у нас за лугом, почти под носом. И ещё под развесистыми берёзами, по дороге, что за домиком бабы Кати, на Жановой горке. Там обычно водятся боровики, перед орешником. А лисички ещё есть только в двух местах: за речкой Алёшной на том берегу, по самой кромке дубового леса, и тут, в березняке, по краю овражка, среди маличника, в обильной листве.

«Так куда бежать за лисичками? – думаю. – Конечно, надо в Осинки». Что интересно, сначала в Осинках растут белые. Боровики. А потом они перекидываются по ту сторону суходола в лес – крупняк. Под дубами там водятся. Какие хитрые эти грибы, как человек. Уводят в сторону, чтобы вглубь Осинок ты не проникал, а ведь именно там, в Осинках, лисички. Я, конечно, бегу в Осинки, к лисичкам. Лисички у нас назахват. Не успеешь – подбелевские набегут, и всё сметут, все лисички пособирают.

Есть ещё одно местечко, но оно только для них, подбелевских, это слева, на бутре, где барсучьи норы. Туда мы, синяевские, не ходим, это не наши владения. Помню, зашёл я к Косаревым Клавдии Петровне и Михаилу Егоровичу. Она – директор средней школы, а Михаил Егорович – учитель по военному делу и физкультуре, он фронтовик, ранен был в ногу. А Клавдия Петровна – учительница по биологии. Огород у них замечательный, особенно хороши помидоры: чёрные- «наполеон», бор-

довые, синие, всякие... И чеснок крупный, с кулак, тоже дали мне на развод, на посадку...

Сидим с ними, чай пьём. Михаил Егорович с соседом в шахматишки играет. Двое с улицы кричат сюда:

– Михаил Егорович, грибы вам нужны?

– Какие? – идёт туда к ним Клавдия Петровна.

– Да лисички, лисички, – отвечают те двое.

– А-а, лисички? Нужны, – подаёт голос отсюда Михаил Егорович. – Клава, купи.

«Вот они лисички-то в Осинках этих и пособирали, – думаю я. – Два ведра приташили... А где же тогда Коля Сухоруков свой сумарик набрал?»

– Клавдия Петровна, – спрашиваю я, – где это они лисички-то собирают? Тут, в Осинках?

– Да нет, не в Осинках, – отвечает она, – а где подальше. Совсем в другую сторону, под Лыково. И там лисички водятся, по перелескам. Когда-то мы ходили туда с Михаилом Егоровичем, а теперь вот не ходим. У Михаила Егоровича нога раненая распухла, ходить не даёт...

Всё такое и мелькнуло у меня в голове. Это после того, как мне Коля Сухоруков сказал про Осинки. Про лисички в этих Осинках.

Полетел я в Осинки. В самом деле уже с краю наткнулся на белые, на боровики. Тугие такие, шляпки коричневые. Щёлкнешь по ножке, аж гудит. Всем грибам полковник. Идут они цепочкой один за другим. Уводят на тот бок суходола, в лес – крупняк, под дубы. Но я туда не иду, нас не обманешь, не проведёшь.

Я иду прямо в Осинки. Прошёл поглубже туда, к небольшому овражку с волчьей норой. И тут же впереди, ещё издали, среди тёмного леса, как фонарики, вижу, светят лисички. Один фонарик, другой... За осинкой, подле осинки... На дне овражка, на самом его верху... Бросился их собирать. И всё лес благодарил за подарок, спасибо говорил дрожащим каждому листочку осинка, «ведьмино» дерево, а лисички-то привечает... И, конечно, спасибо сказал не раз я Коле Сухорукову...

Вот такой я охотник! Грибник! Мне ловить рыбу не надо, я чуть что сразу в лес...

Уж картошка пошла – молодая, да ранняя. Вызрела за домом, на огороδικе, где корова когда-то стояла. Копнул раз лопатой – вот такая картофелина, с детскую голову! Копнул в другой раз – ещё одна, чуть поменьше. Стою, держу их в руках, прямо не знаю, что делать, оторопел. И тут из-за куста бузины, разделяющей наши усадьбы, вижу чьё-то лицо. Это Коля Сухоруков.

– Что это у тебя? – аж зазвенел голос у Коли. – Неужто такая картошка?

– Да, – говорю, – такая! У меня вся она тут такая.

Коля нырь обратно за бузину, вскоре его голос, слышу, раскатился по двору среди своих, сухоруковских:

– А у Михалыча чудо – вот такая картошка! С детскую голову...

А я стою посреди огородика и улыбаюсь. Такие фантазии меня тут окружают! Такие живут на посёлке Синяевском люди, фантазёры. А вверху над нами летят цапли на Колыму и гогочут, словно смеются до упаду над тем, что творится у нас тут внизу.

ПИШУ РОМАН В СТИХАХ «АРСЕНИЙ ЧИГРИНЁВ». БАБКА АРИША И ВИКТОР СЕМЁНЫЧ. ПОЯВЛЕНИЕ АРТИСТА ЛАНОВОГО. ЛАНОВОЙ У НАС НА КРЫЛЬЦЕ И ДАРЬЯ МИХАЙЛОВА. УБОРКА КАРТОШКИ КАК ПРАЗДНИК. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

– Михалыч, а Михалыч! Ты живой? – слышится с утра голос соседки бабки Ариши, снизу от калитки.

– Да живой, живой! – откликаюсь я ей в распахнутое окошко. – Уже чай пью. Скоро буду писать, приниматься за «химическую» работу.

– Курица моя куда-то ходит, яйца несёт, не видал?

– Не видал.

Бабка Ариша будет стоять на одном месте, как истукан, целый день с утра до вечера. И на другой день. И на третий. Пока, наконец, не раздаётся с утра от калитки всё тот же её голос:

- Михалыч, а Михалыч? Ты живой?
- Да живой, живой! – откликнусь я ей в распахнутое окошко. – Уже чай пью. Скоро буду писать.
- А я курицу-то выследила. В крапиве у вас несётся.
- Значит, яичницу будешь жарить.
- Я яичницу не люблю, я яйца варю вкрутую.
- Ну, вари, вари, – говорю я ей и сажусь писать стихи про русских женщин, синяевских бабок.

«Милые, милые»...

*Наши мамы когда-то копали поля,
Поднимали лопатой Россию дернистую.
Было им, нашим мама, не до соловья,
Что сейчас имена их старался, высвистывал.*

*Дарья из-под Прилеп, Катя – хата с конца,
Ольга, какой уже нет, и Ариша Калымова...
Я колена считал у него, стервеца,
Как он бил, разорялся в заросце малиновой!*

*Отцветали сады. И, горланя за двух,
Дожигая сады эти, белые, стылые,
Соловей вдруг сказал:
«Милый друг, милый друг».
Повторил ещё явственней: «Милые, милые»...*

Всё это было ещё в прошлом году. А в нынешнем уже её нет, похоронили, где и всех, в Подбелевце. И сразу у Сухоруковых стало пусто. Коля попал во Мценске в аварию, под машину, жена его Валентина к другому ушла куда-то в Горбатовку, и Галя перестала ездить. Ну, и ребяташки, которых был всегда у них полон двор, тоже исчез-

ли, не стало на этом краю посёлка никого, кроме меня да Виктора Семёновича Носова – соседа Калымовых с той, другой стороны.

– Михалыч, а Михалыч! – слышится теперь мужской голос от калитки с утра. – Ты живой?

– Да живой, живой?

– И я живой. Творожку тебе вот принёс.

– Ну, спасибо, Виктор Семёныч. В марле? Повесь-ка на сливу... Сколько стоит?

– Да я тебе так, не за деньги.

У него две коровы, молока пропасть сколько. Не знает, куда девать. В другой раз я ему говорю:

– Принеси творожку.

А он, наоборот, мне такие слова:

– Что я тебе раб, что ли? За так на тебя буду работать.

Ничего себе. А баню натопил, помылся сам и меня кличет:

– Иди, Михалыч, помойся. Паром кости пропарь.

На этот раз он пришёл посреди дня да и говорит:

– Видал, на том конце посёлка, повыше бабы Катинной хаты, два КАМАЗа пришли, дубы привезли. Говорят, какой-то артист Лановой будет строиться.

Удивился я: какой Лановой? Это же народный артист, а тут глушь несусветная. Чего ему тут у нас делать? Говорят, сам работает. Брёвна топором тешит. Жена его, тоже артистка, Ирина Петровна Купченко, вживается в образ тургеневских женщин. Оба ходят к Тихоновым Ивану и Нюре. Я, конечно, ревную, никуда не хожу. И вдруг Лановой сам появляется, до того только его в телевизоре видел.

Встречаю я его на крыльце. Руку он мне подаёт, говорит:

– Лановой я, фамилия редкая, нигде, кроме как у нас под Одессой...

А я говорю:

– Леонард Золотарёв. Как Маяковский. Нигде, кроме как в Моссельпроме. Давно здесь живу.

– Вася благородие, – говорит он с улыбкой. – Василий Семёныч.

И проходит далее в хату мою, через кухню, в ту комнату, где я пишу. К письменному столу.

– А это что? – кивает он на стенку. – Тоже, вижу, артистка – Дарья Михайлова.

– Это сыну Игорю моему ребята плакат подарили, – отвечаю я Лановому, – когда он учился в Москве на Высших литературных курсах. Сначала там висел, в общежитии литинститута, а теперь тут.

– Ну, приходите ко мне, когда что, – говорит Лановой и уходит своим всем известным, вкрадчивым таким, гусиным шагом.

А я сажусь за свой письменный стол (стол-книжка у меня) и начинаю думать: «Надо писать что покрупнее, вон люди в народных артистах, а ты всё с бабками тут путаешься, живёшь в народной среде»...

И решил написать я роман, но в стихах. И назвал его «Арсений Чигринёв». Вроде как по-пушкински «Евгений Онегин» и не по-пушкински. И Василий Лановой вроде (сидит на бревне, топором щепу гонит), и не Василий Лановой, а это его псевдоним: «Арсений Чигринёв». Кошу, кошу траву за огородом, и строчки полетели из меня. Вот так я начал.

*Арсений Чигринёв-крестьянин родом –
В столице жил, кружил среди кружал,
А тут, отдавшись чувству, новым модам,
На корень прибыл, век не приезжал.
В свою деревню, в милые пенаты,
Где строили ему, светилу, дом,
За что прапрадед в веке по за том
И загремел, как миленький, в солдаты.
Так вот сидел Арсений на бревне
И стружку гнал на диво всей родне.
То стружку там, то стружку тут –
Пусть знают, помнят, сознают,
Что мы там, выходцы в столице,
Не просто спицы в колеснице...*

«На первый день хватит, – подумал я. – Завтра с утра возьмусь за косу теперь уж за садом, и всё так и польётся во мне, в романсе моём. А потом приду домой и запишу».

Пошёл я за молоком, как всегда, к Тихоновым Нюре и Ивану. Гляжу, баба Даша сидит на скамейке, спиной с краю и смотрит куда-то в поле, прямо перед собой.

– Куда это вы смотрите так пристально, баба Даша? – говорю я ей. – Прямо-таки глаз не сводите.

– Да вот на ракиту гляжу, – говорит баба Даша. – Какая красавица! Круглая такая, веточка к веточке. Как шар какой-нибудь.

И тут Лановой появляется. Подходит к нам своим вкрадчивым, длинным, гусиным шагом. Подаёт руку:

– Здравствуйте, Дарья Ивановна. Что это вы сидите, на солнышке греетесь?

– На ракиту гляжу, – говорит баба Даша. – Какая красавица, круглая вся, как шар. На закате-то как выделяется.

– Да? – бросил взгляд мимолётный Василий Семёнович. – Анна Афанасьевна дома?

– Нюра-то? – ответила баба Даша. – А где ж быть ей, дома, конечно. Или, может, корову доит.

Увидев Ланового, кобель загремел цепью и без привычки забрехал на него. А Нюра уже выносила мне полную трёхлитровую банку.

Лановой не пил ни молока, ни водочки, ни, тем более, самогонки. Однажды, возвращаясь из Одессы, поставил на общий стол у Тихоновых перед Иваном бутылку «горилки».

– От Кучмы – президента Украины, – вежливо этак сказал Василий Семёнович. – Был у него, я тоже Президент в Москве... общества российско – украинской дружбы...

Лановой любил только творог, за ним и ходил к Тихоновым. Творог держит фигуру и сохраняет свежесть лица. Артист ведь, так надо, что с него взять.

Дело к осени. Особо хочется мне рассказать, как в посёлке убирают картошку. Это праздник для всех. Начинают с Тихоновых. Собираются все, кто может. И родня, и

соседи, знакомые. Иван впрягает в соху свою лошадь Вербу – Слугу Народа. Так называют её на посёлке, и не только тут, но по всей округе, за её безотказность. Верба пашет, а Иван ходит за плугом, распахивает грядки и собирает бутылки. Или даже сам не распахивает, за плугом ходит хозяин огорода, а Иван всё равно собирает бутылки.

Пришёл, конечно, и я к Тихоновым убирать их огород. Человек десять набралось: Иван с Нюрой, сестра Нюрина Нинка с сыном Серёжей, жена его с двумя девочками, внучка Нюрина Лена, Вовка Тихонов – сын Нюры с Иваном, с Прилеп люди пришли, за лошадью после идти к Ивану – тоже распахивать огород...

Распахнет грядку Иван, встанем все мы на грядку – во всю длину её, раз, и всё враз подобрали, все картошечки в вёдрах, а вёдра носили в кучу на край огорода. Только Нюра и бегает с огорода домой, на кухню – там она готовит застолье. Как закончим тут, так и за стол, за другую работу. Распахал Иван грядок пять и в Подбелевец, на коне в магазин за бутылками. Чтобы не только хватило, но ещё и осталось.

Сидели за столом и поднимали тосты.

За картошечку, чтобы всегда был урожай.

За хозяев дома, чтобы на столе была картошечка.

Варёная, жареная, в обварочку, печёная.

За Вербу – Слугу Народа, которая всем тут распахивает огороды, служит верой и правдой трудовому народу.

– Кто-то спросил:

– А где ж Лановой? Что-то нет его за столом?

– Тут только те, кто работал на огороде. А Василий Семёнович на огороды не ходит.

– Завтра, Нина, к тебе нагрянем на огород, – сказал Иван. – Так что готовься... А к тебе, Михалыч, послезавтра...

А послезавтра прибегает ко мне Лановой. Страшно обеспокоенный, на глазах чуть ли не слёзы.

– Что происходит? На телевизоре крутят только «Лебединое озеро».

Опять прибегает:

– В Москве что-то не всё в порядке. Квартира у нас в самом центре... Машину кабы не сожгли... Уезжаю в Москву...

БАБА ДАША: «РАИ У НАС ТУТ ЛЕТАЮТ». «ИВАНА ГРОХНУЛО ГРОЗОЙ!». НА ТЕЛЕГЕ ЗА ХЛЕБОМ НА СОЙМИНОВСКИЙ МОСТ. КУКУШКА ЛЕТАЕТ НАД РЕЧКОЙ. КЛЮЧ ПОД ДУБОМ

Баба Даша почему-то всегда меня защищает. Даже перед Нюрой, тем более перед Иваном. А Лену, внучку их, я сам перед всеми всегда и во всём защищаю. А вернее как не понять, почему Дарья Ивановна меня защищает. Не только за то, что говорю частенько образами, как и она, но ещё и за то, что называю её уважительно Дарья Ивановна. Я так её называю да ещё Лановой, а по посёлку иные, особенно Сухоруковы, непрочь окликнуть её просто Дашкой. Дашка Васина, а не Дарья Ивановна Тихонова. Хотя в самом деле какая она Тихонова? Тихонов – это Иван со своей фамилией, занесённой сюда из деревни напротив, из – за речки Алёшни, с Проказинки.

Так вот Дарья Ивановна всегда и везде непрочь сказать про меня что-то хорошее. Например, что это я помог поставить на посёлке водонапорную башню. Это правда, святой истинный крест. Когда воду везде по колхозу проводили и ставили башни, это я подсказал председателю колхоза Артюхову, чтобы и на посёлке Синяевском поставили башню. А то, мол, если не поставите, так лишитесь сразу таких рабочих рук, как Нюра и Иван, она – доярка, он – пастух на Прилепах, сразу всей фермы Прилепской лишитесь. А что ещё и колонки по посёлку я тоже поставил, так это неправда. Колонки нет и перед моей хатой на улице, воду я провёл от соседей, от Сухоруковых, а уж они от уличной колонки.

Так вот, Дарья Ивановна встретит меня где-нибудь на посёлке, или домой ко мне придёт, или я к ним приду,

так, бывает, прилипнет, что никак от меня не оторвётся. Всё спрашивает:

– Михалыч, и как тебе у нас тут, на посёлке, живётся? Хорошо тут у нас?

– Хорошо, – говорю, – даже замечательно.

– Да у нас тут раи летают, – скажет баба Даша, словотворица, не хуже меня.

Всё раи ей, как и мне, тут мерещатся. Особенно летом в зелени листьев, в разноголосице птиц, в изобилии грибов, всяких ягод, орехов. Я, например, орехов на Жановой горке в прошлом году двести гранёных стаканов набрал. А опять однажды, в начале осени за орешником, с поваленных и перекинутых через небольшой овражек липок, набрал и притащил домой в мешке на своей мокрой спине целых пять ведёрок таких опять. Небольшие или вовсе маленькие, с пуговку. Вот хороши! Зимой в городе мировой закусон.

– Раи у нас тут летают, Дарья Ивановна, – говорю я и сам теперь ей, как только встречу её где-то на улице посёлка нашего, или домой придёт она ко мне, или я к ним приду.

Такие-то пироги. Это присказка такая у меня, а сказка в том, что пироги с грибами у нас почему-то никто не печёт. Пироги дома у нас печёт только мама наша, Людмила Серафимовна, и называет их почему-то «шарлоткой». Но и мама печёт их дома у нас там в Орле, в редкую стёжку. Только в Игорев День рождения, когда он испечь их попросит, на Новый год и ещё на 8 Марта – на праздник не только нашей улицы с таким названием, но и всего прогрессивного человечества.

Вот стоим так однажды возле Тихоновых и разговариваем с бабой Дашей. Иван только что отъехал на тот край посёлка на Вербе, к нашему дому, чтобы наши вещи забрать. Всего к зиме наготовили, да отвезти надо добро к автобусу, на Сойминовский мост, как тучка налетела, и ага. Гром как грохнёт. Где-то там у нас на краю посёлка прямо в дуб. Аж макушка слетела, и дым пошёл.

– Ну, всё! – ахнула баба Даша, Дарья Ивановна. – Отжился Иван, Ивана грозой угрохало.

Но тучка пролетела, мы туда. Глядим ещё издали: стоит Иван, как ни в чём не бывало, перед макушкой этой. Полдуба своротило, ветками перекрыло дорогу.

– А я уж думала, – говорит ему Дарья Ивановна, – каюк тебе, Ваня.

– Вон громоотвод, – смеётся Иван. – Всё взял на себя.

– Значит, долго жить будешь, – сказала Дарья Ивановна, как отрубил. – Долгожителем будешь.

Сказала так и как в воду глядела. Живёт Иван до сих пор, один на посёлке остался.

Вернулся я сюда, где «раи летают», через несколько дней – роман в стихах дописывать и отаву докашивать. Вот баба Даша встретила мне и говорит:

– Отчего это, Михалыч, ты пишешь роман в стихах, а не просто?

– Да вот, – замялся я. – Могу показать кусок из романа:

*Роман летит, стихию я пишу!
Что значит даль свободного романа.
Где прозы надо два-три килограмма,
Тут я тремя словами совершу.*

– Молодец, – говорит баба Даша, Дарья Ивановна. – Ну, ещё что-нибудь почитай.

*Бывало где-нибудь на съезде
В президиуме посидит
По – за спиной, где дремлет Брежнев
(Ну, этот самый... Леонид),
И вот уже не подкатись,
В театре он – герой, ходок.
Играет, ух! такую жизнь,
За что повесят орден.
Глядишь, поменьше давят сок,
Когда на шее орден.*

– Про кого это? Про него? – кивает Дарья Ивановна на большой дом, что на самом краю посёлка. – Интересно.

– Вот, выходит, не только раи летают у нас на посёлке, – улыбаюсь я, почти что смеюсь. – Но также летают тут у нас и слова.

*Вот я роман стихами захотел,
А мне жена: «Стихами не пиши –
К чему? Зачем? А вдруг кого задел?»*

– Пиши, Михалыч, – утверждает меня Дарья Ивановна в своей правоте. – Если Бог дал, если так у тебя получается.

Полез утром я в хлебницу, а хлеба нет. Не заметил, как съел вечером последний кусочек. Иван ездит на Соёминово за хлебом, может, его попросить, чтобы привёз? Или самому сходить? Ноги не обломятся пройти по луку мимо Прилеп каких-нибудь два километра. Пошёл я за водой во двор, чайник ставить, пить чай, а из крана вода что-то жёлтая потекла. Соседей же нет, долго кран не включали, вот вода стоячая и пожелтела. От ржавой трубы. Как говорится, воду теперь «обезжелезивать» надо. А пока за водичкой сбегать, что ли, в конец берёзовой рощи – белостолицы. К дубу. Там внизу, под дубом, у самой речки Алёшни ключ бьёт. Кто-то уже обделал его, как колодец. Наверно, прилепские с этого, ближнего края. Старый колодец с журавлём пересох, так они сюда теперь ходят.

(Утром, как обычно, померил сахар: как подпрыгнуло! Это я ночью писал. Эти три страницы. Так нельзя. Диабет заработал тогда ещё, когда мать моя болела и я ездил к ней. И ещё писал остальные три романа в стихах).

Кукушка закуковала, летит над речкой Алёшной по – над ракетами: «Ку-ку, ку-ку!» Присел я над ключом, что внизу под бутром. Между дубом внизу меня и аллеей кленовой над головой. А кукушка: «Ку- ку, ку-ку, ку-ку...»

– Сколько лет жить мне осталось? – загадываю я кукушке.

А она мне бесконечно:

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку...

Не поперхнётся, кричит чистым, свежим, молодым своим кукушечьим голосом. Как в «Слове о полку Игореве», которое я перевёл когда-то с древнерусского.

*«До Дуная голос долетает,
Что кукушка, бедная, кукует:
Полечу зигзицей по Дунаю,
Шёлковые руки омочу я
В той реке неласковой Каяле.
Я утру ему кровавы раны
На его, на Игоревом теле».*

«Что за Слово пришло мне в голову здесь, почему? – подумалось мне, сидя тут, на левобережье Алёшни. – Не потому ли, что когда-то прошла тут сквозь немцев наша разведка, а там, пониже, в Косарёвке, наши укрыли их, а немцы, узнав про это, расстреляли половину деревни? А Демьяныча с двоюродным братом тогда, четырнадцатилетних ребят, угнали в Германию»...

Сижу на Алёшне – речке, задумался, и всё во мне переплелось: и нынешнее, и вчерашнее, и всё вековое, эпическое, народное. А клёны шумят и сыплют лист за листом мне на голову, и кукушка – зигзица кукует:

– Сколько лет мне жить, о кукушка?

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку... ку-ку...

Бесконечно? Ещё от князя Игоря, что ли? До иных перед нами, неведомых нам веков?

И совсем ведь позабыл, что к ключу за водой ключевой устремился я, чтобы в чайник водицы налить, чтобы чаю испить из Алёшни, как из Дону великого. И совсем позабыл, что идти мне надо за хлебом на Соёмкино, к мосту, куда к обеду подъезжает машина с продовольственными товарами. Вот как бывает, когда думаешь не только о себе, но и о других, кто рядом, о Родине нашей великой и своей малой родине – Серединой Руси...

Клён, листья с клёнов напомнили мне о семье. О жене Людмиле Серафимовне. Клён – это её дерево по гороскопу. Игоревое дерево – Вяз, что в Коренной пустыни, по

реке Тускари, а моё? А моё дерево – тут везде и всюду, от которого всё светло вокруг – это Берёза.

«По всей Алёшне от берёз светло».

Скоро у меня Юбилей. Первый мой Юбилей. Первая круглая дата. И родня моя, и друзья мои, и все, кому хочется, придут сюда, на посёлок Синяевский, где сейчас я живу, где «раи летают». А что? «Раи», наверное, в виде кукушки.

– Ку-ку, ку-ку. Ку-ку...ку-ку...

Раз сто прокукует, а может, и двести, а может, и тысячу. Далёко тут, как до «Слова о полку Игореве», но не назад к нему, а вперёд, в бесконечность истории...

Принёс хлеба из Сойминово, воды принёс из-под Дуба, сижу и пью чай с душицей. Её пропасть сколько тут под Жановой горкой, как идти к устью Алёшни, впадающей в Зушу у самого Лыково. Хорош чаёк – свойский, больше душица нигде не растёт. Например, в Малоархангельске, где живёт сейчас моя мать. Она, конечно, будет первая, кто приедет сюда ко мне, на мой праздник. Посажу её рядом с собой. Но где? Где поставить, составить из нескольких большой стол в саду, чтобы все уселись.

Хожу по саду, приглядываюсь, морокую. Кто где сядет, кому быть тамадой? Пока безликие передо мной портреты родни и друзей. Кто откуда они, разбросаны по Великой Руси. А что есть? Мяса в городе нет, колбасы никакой. И где её брать, в Москву ехать? Загадывают в анекдоте: «Длинная, зелёная, едет в сторону Тулы или Орла». И отвечают: «Электричка»... А что пить? С этим полегче. И с питейным, и чем запивать. Одна Нюра чего стоит. Наделает квасу свойского – из муки ржаной, да хреночку туда, да свеколки. Пьёшь, глаза к небу закатываешь от удовольствия, это тебе не «кока-кола» и не «пепси», а наше, своё, деревенское.

Ну так где же стол-то поставить? Сюда, под липы? Или, может, под грушу? Под грушу-дикарку посреди сада, под какой люблю собирать я груши и есть их; хотя они и кисловатые, твёрдые, но ем я их с удовольствием.

Вот тут поставлю я табуретку, сам сяду. Для устойчивости спиной упрусь в ствол этой груши. А тут, справа, сядет рядом со мной моя мать Мария Герасимовна. Жаль, что дедушка до этого не дожил. Наш Герасим Макарович.

Ну, так что, вписать, что ли, всё это в мой стихотворный роман или, может быть, обойдётся? Ни разу ещё не проводил никаких юбилеев, потому как их не было. Или прозой напишем об этом потом?

А в голове всё ритмы, рифмы. Роман в стихах и Лановой в Москве.

*То эти очереди кляли
За то, что ехали сюда.
А те в ответ: своё мы брали,
Везли отсюда и туда.
И вот...а вдруг... и эту нитку
Возьмут да ножницами щёлк? -
Так Груша, вышивая свитку,
Слезинкой капала на шёлк.*

* * *

*Какие к чёрту мы артисты!
А может то и хорошо,
Что сел эпоху перелистывать
Да так по кочкам и пошёл.
В свободе выбора и шанса.*

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ. СОБИРАЮТСЯ ГОСТИ

Вот приехала мама сначала, мать моя, Мария Герасимовна. Привезла помидоров с нашего огорода в Малоархангельске, яблок ранних.

– Да у меня всего хватает, – говорю я ей. – Глянь, сколько у меня тут всего.

– Денечка два у тебя, сынок, тут побуду, – сказала она. – Посмотрю, что у тебя за такие места, что ты так к ним прилип, в Малоархангельск почти не приезжаешь.

– Побудь-побудь, погости, – говорю я ей, а сам уж встречаю Нюру Тихонову. Несёт Нюра два ведра квасу своего деревенского, аж пенится квас этот из ржаной муки с хреном натёртым. При одном виде такого кваса даже слюнки текут. Мать моя попробовала кружечку да и не удержалась, сказала Нюре:

– Квасок что надо, хорош! Будут все пить с удовольствием.

И пошла на огород подвязывать помидоры. Приезжала в мае, штук двести саженцев насажала, и вот уже урожай.

– И зачем везла, – говорю, – помидоры, аж из Мало-архангельска?

– Да думала, – отвечает, – может, урожай не получится.

– У нас всё получается, – говорю. – Видишь, яблоки, груши, малина...

На своей белой «Волге» приехал давнишний друг мой, скульптор из Москвы Валя Чухаркин. С ним знакомы мы со студенческих лет, когда учились в Курске: я – в пединституте, а он – ещё в железнодорожном техникуме и жил на площади Перекальского. Проводилась перепись населения, и я оказался в их комнате, где Валька жил с Клыковым Славой – земляком своим из Мармыжей, оба затем стали московскими скульпторами. Ему, когда он приезжал в Орёл, я давал ключи от своей квартиры, а когда я бывал в Москве, он давал ключи мне от своей мастерской.

Прямо за мастерской, на набережной Максима Горького, у него был Московский завод шампанских вин. Валентин шутил, что ли, говорил, что шампанского у него море. Знакомый директор винзавода в мастерскую ему по шлангу хоть сколько перекачает.

Валентин Александрович привёз в багажнике бутылок семь шампанского «Абрау – Дюрсо» московского разливу. И особо бутылочку грузинского коньячку. Редко пьющийся; долгоиграющий, пятизвёздочный. И ещё несёт колбасу «салями». И ещё...

– Где ты хоть достал «салями» – то? – принимаю я дружеский дар. – И в Москве-то не увидишь, а не то, что в Орле. В Орле я две недели гонялся за колбасой. Никакой, даже элементарной. Позавчера на Центральном рынке купил... с Украины колбаса, из Новочеркаска...

– Пи-пи, – раздаётся звук автомобильного сигнала откуда-то сверху, с дороги, что за двумя берёзами.

Бегу туда. Это Виктор – сын Демьяныча. Едет с речки. Открывает багажник: полон рыбы живой, только что пойманной, животрепещущей. Сверху щука, огромная, вялая, вроде уснула. Сунул я палец, провёл пальцем ей по губам. А она хватъ за палец меня, так и впилась, как акула.

– Ой-ой! – завопил я. – Витя! Отцепи ты её, бесноватую.

Отцепил он мой палец, и тут же укатил. А я стою с поднятым пальцем, кровь течёт, и акула валяется, рядом на травке и жаждет, хищница ухватить ещё кого-то, что ли, за палец.

И принёс я домой её и сдал, как говорится, на «кухню»...

Опять сигнал автомобиля. Снизу, по нижней дороге приехал сам Демьяныч с Женей, женой. Боже! Чего только не привёз. Никогда б не подумал, что в каком-нибудь Мценске может быть всё, что и в столице-то днём с огнём не сыщешь. Колбаса всякая, даже конская – это мяскокомбинат, консервы – это пищекомбинат, да ещё всё своё, деревенское. Демьяныч же теперь заготовитель, закупает по сёлам и деревням мясо, шкуры, картофель. Возят от него в город сельхозпродукцию грузовыми машинами.

– Демьяныч, – встречаю я его, обнимаю, – ты меня угощаешь, как какого-то наследного принца персидского.

– Заготпункт мой переводят в Высокое, – говорит Демьяныч. – Там большой холодильник, холодильная камера. Приезжай, когда будет нужно. Отрублю тебе лучшего мяса... окорочок...

– Вот спасибо-то! Вот спасибо!

– Ты – мой друг, – обнимает меня Демьяныч, – и вообще замечательный как человек. И, конечно, талант как писатель. В книге «Мёд из подснежников» про меня написал. Это тебе спасибо, мой дорогой. Разве труд такой чем оценишь?..

И тут опять же там, наверху, где берёзы, загудела машина. Из Орла приехали гости – друзья мои, целый автобус: Гриша Каталников с Зоей, Лёшка Родин с Ниной, Алексей Калекин с женой, Лаушкин Толик с Ниной и другие. Идут по огороду сюда широкой шеренгой, а мы тут встречаем их тоже с объятьями. Друзья и родня. Мама моя и Коля Смагин – муж маминой сестры из тульской Узловой.

Но где музыка? Где баян?

Какая песня без баяна?

Какая зорька без росы?

Какая Марья без Ивана?

Какая песня без любви?

А вот и баян. Это Кузьминов Виктор Викторович – агроном из Подбелевца. А это Люда – жена его, зав. Подбелевским медпунктом. И это их хоровая капелла: Таня – завмаг, Надя – зав. библиотекой, сельсоветские. Развернулся баян, загремела музыка. Значит, скоро садиться за стол. Значит, скоро застолье. А стол уж готов. Всё стоит на столе.

– Садитесь, – говорю, – дорогие мои, хорошие! А где же Клавдия Петровна с Михаилом Егорычем?

– Да вот же мы, вот, – слышатся голоса снизу от калитки.

Приехали они туда, к Тихоновым, и идут сюда к нам от Тихоновых. Сразу вчетвером: Клавдия Петровна с Михаилом Егоровичем и Нюра с Иваном. И ещё пятая с ними: Сухорукова Рая из хаты бабы Катинной, что с самого края.

– От края и до края, – гремит, встречая гостей, баян.
По горным вершинам...

Вьётся в тесной печурке огонь...

Это музыка для затравки. Это всё для начала. Главное будет потом. Начинается праздник. Да не только мой личный. Праздник от Москвы до самых до окраин. От Орла до Подбелевца. От Подбелевца до посёлка Синяевский. От того края Синяевского до этого, нашего края.

– Садитесь все, кто пришёл, – говорю я, заметно волнуясь. – Садитесь, где кому нравится. Всем хватит места.

Только стали рассаживаться за столом, кто где и с кем, кому напротив кого садиться, да принялись тамаду выбирать, как глядим, а сверху сюда к нам, от двух берёз, кто-то идёт. Почти бегом бежит, торопится, чтобы успеть. Пригляделся я, а это Зотиков Алексей Алексеевич. Тоже мы знакомы давно, ещё с «Орловского комсомольца». Был он секретарём комсомольской организации в ПТУ – 1 (производственно техническом училище № 1), что на улице Покровской. А потом стал командиром ССО (студенческого строительного отряда), а комиссаром – Лабейкин. Помню, написал я об Алексее Алексеевиче очерк, а он мне и говорит: « Вот пишет человек, как по кроме идёт: и вроде правда, и вроде фантазия. Читаешь, себя узнаёшь, но как будто про тебя что-то придумано. Лучше, чем есть ты на самом деле. Ну, и тебе лучше хочется быть, подтягивает это тебя... Вот как писал, было».

Подошёл Алексей Алексеевич к столу, поднял руку, приветствуя всех, бросился обнимать меня, поздравлять с Днём рождения. Многие узнали Зотикова, многие никогда и не знали.

– Это тоже мой друг, – говорю я всем. – Комсомольский вожак, очерк когда-то о нём написал. Проходите, садитесь, Алексей Алексеевич.

Сел он рядом с Алексеем Калекиным – профессором Торгового института. Подсел Алексей к Алексею. Тут же кто-то предложил тамадой выбрать Алексея Калекина. Всегда в таких случаях, то есть в застольях, бывал тамадой. Анекдотов уйму знает, прибауток всяких, только

один, как говорится, изъян: не знает никого из местных, из деревенских. Пришлось мне подниматься и, вопреки процедуре самому всех представлять: кто за кем сидит, как фамилия, имя и отчество, кем является мне, как получилось, что мы стали друзьями.

Тамада Алексей Алексеевич Калекин, мой земляк по Малоархангельску, из Первой Подгородней, поднялся и провозгласил тост прежде всего за мою мать. Все встали, подняли рюмки.

– Не было бы вас, Мария Герасимовна, – сказал он крепчающим голосом, – не было и его, вашего сына. А значит, не было бы тут и нас, всех собравшихся по случаю юбилейного торжества.

А потом всё пошло по порядку. За виновника торжества, то есть за меня. И опять за виновника торжества. И опять. Надоело мне всё это, я и говорю:

– Давайте-ка процедуру эту изменим. Говорить одно и то же по сути неинтересно. Давайте так: каждый пусть вспомнит какой-нибудь яркий, как ему кажется, случай встречи его, допустим, со мной или с другом моим. Или ещё чего-нибудь, что ему кажется интересным.

Поднялась Люда Кузьминова – зав. Подбелевским медпунктом.

– Пусть о Леонарде Михайловиче скажет слово Григорий Степанович Кательников, он учил меня в Орле в медучилище.

Застеснялся Гриша спервоначалу, а потом окреп духом и говорит:

– Ну, и скажу. Леонард жил в общежитии на «Химдыме», а я – на Сталепрокатном, в квартире, ванная была. И ездили они к нам всей семьёй через весь город, а это двадцать пять километров, чтобы помыться.

– Это зимой, – говорю, – или осенью. А вот летом у нас был поблизости лес и Цон, речка такая. Там, бывало, мы и купались. Помню, друг мой Тихомиров Володя принёс журнал «Новый мир», а там был рассказ напечатан «Артист миманса». Так мы с Володиёй на бе-

режке рассказ тот читали. Рассказ потом пресса раздраконила...

Встаёт Нина Родина и говорит:

– Далеко было, конечно, через весь город ездить. По-знакомились они с нами, Леонард с Люсей, стали к нам купаться ходить. Наш дом рядом, в квартирах ванны. Перестали ездить на Сталепрокатный за двадцать пять километров...

Вот такой сразу же непринуждённый пошёл разговор. Не то, что какие-то тосты напыщенные, как где-нибудь на официозе, а тут всё в домашней, простой, естественной обстановке. Сразу ближе друг друга узнали, тем более когда по рюмашке одной, другой врезали и хорошо закусили.

Нюра ходила с ведром от каждого к каждому за столом и разливала свой квас деревенский, из ржаной муки да с хреном, да со свёколкой. Мировой квасок под это самое дело. А бабе Даше, Дарье Ивановне всё не терпелось что-то сказать, но пока что сдерживалась, не говорила. Наконец, нашлась минутка, когда только что подняли рюмку и никто не успел ещё что-то сказать.

– Дорогие гостёчки, – вставила своё слово словотворица Дарья Ивановна, – хорошо у нас? Видите, раи тут летают. И пришёл сюда Михалыч и глаз не оторвал от такой красоты. И поселился он тут у нас и стал нашим. Мы на огородах вместе работаем, вместе песни поём... Вы всего ещё не видели. Пройдитесь к Жановой горке, туда – к Колыме. Так увидите. И какая же тут у нас красота!

– За красоту! За красоту этих мест! – поднял бокал тамада Алексей Калекин. – Я когда-то бывал тут и видел всё – туда, ближе к устью Алёшни и Зуши... Виктор Викторыч, что-то ты задремал, на тебя не похоже. А ну, давай. Разверни баян во всю ширь...

Виктор Викторович Кузьминов словно того и ждал. Для разгону пальцами пробежался по пуговкам. А Люда Кузьминова со своими девчатами Таней и Надей повели издалека нашу, русскую песню.

– Уголок России – отчий дом,
И туманы синие за окном,
Где твои немного грустные
И глаза, и песни русские.
Уголок России – отчий дом,
И туманы синие за окном.

А потом вдруг как топнут, как притопнут каблуком,
как пойдут по траве-мураве:

– Эх, барыня, барыня,
Сударыня – барыня!...

Ну, и все за ними пошли с «ихахошками» – их! ох!
ох! Закружились в кругу с частушками да прибаутками.
Их-то уж никто не знает больше Жени Козыревой, жены
Демьяныча.

**Леди сизокрылые
(деревенские припевки)**

*Как насли да на лугу бабы деревенские.
Стерегу! Да стерегу в очередь с амченскими.*

*Дай припевки заведу и людей порадую.
Только бровью поведу, мужички попадут.*

*Эх, подруги в синеве! Леди сизокрылые!
Для себя по-деревенски голосите, милые. 2 р.*

*А коровы с рубежа с клеверов да с воплями.
Что ж вы, бабы сторожа! Стадо-то прожопили.*

*И в ответ святая Русь спрохвала, играючи:
Всё вам не настерегу, растащили давеча.*

*Эх, подруги в синеве! Леди сизокрылые!
Для себя по-деревенски голосите, милые. 2р.*

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ. РУССКОЕ ПОЛЕ

После всяких плясок и встрясок, трембующих землю возле праздничного стола, начинаются песни. Глядя на поле, Виктор Викторович Кузьминов начинает с «Русского поля», с песни, которую знают все. Все её и поют.

Поле, Русское поле...

Светит луна или падает снег.

Счастьем и болью вместе с тобою,

Нет, не забыть тебя сердцу вовек!

Русское поле, Русское поле...

Сколько дорог прошагать мне пришлось!

Ты моя юность, ты моя воля,

То, что сбылось, то, что в жизни сбылось.

Припев.

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря,

Ты со мной, моё поле, студит ветер висок.

Здесь Отчизна моя и скажу, не тая:

«Здравствуй, Русское поле,

Я твой тонкий колосок!»

Поле, Русское поле...

Пусть я давно человек городской,

Запах полыни, вешние ливни

Вдруг обожгут меня прежней тоской.

Русское поле, Русское поле!

Я, как и ты, ожиданьем живу.

Верю молчанью, как обещаю,

Пасмурным днём вижу я синеву.

Припев.

Лида Кузьминова, Женя Демьянычева встают, приподнимают с ног Виктора Викторовича вместе с баяном и, пристроясь к нему, с обеих сторон, запевают другую песню:

– Сладку ягоду рвали вместе,

Горьку ягоду я одна.

И встали все за столом и двинулись вслед за баяном, и завелись, запели, вкладывая в песню всю свою русскую душу.

Сладка ягода в лес поманит,
Щедрой спелостью удивит.
Сладка ягода одурманит,
Горька ягода отрезвит.
Ой, крута судьба, словно горка,
Доняла меня, извела.
Сладкой ягоды, только горстка,
Горькой ягоды – два ведра.
Я не ведаю, что со мною,
Для чего она так растёт.
Сладка ягода – лишь весной,
Горька ягода круглый год.
Над бедой моей ты не смейся,
Погляди мне вслед из окна.
Сладку ягоду рвали вместе,
Горьку ягоду – я одна.
Эх, сладку ягоду рвали вместе,
Горьку ягоду – я одна!

Пристроился и я к ним, полуобнял Люду, прижался к плечу её, пою вместе с ними, а сам думаю: «Господи! Какие слова! Ну почему хоть не я это написал, почему?» И идём мы по посёлку туда, на тот конец. Проходим мимо дома Виктора Семёновича, мимо Дашиного дома, мимо Васьки Ушакова, мимо бабы Катинной хаты. Спускаемся с горки в долину, идём с песнями по лугу вдоль речки Алёшни, через мост переходим на ту сторону, к Колыме.

А на Колыме-то уже поле, русское поле, хлеба поспевают, всё уже жёлтое и такое с самого края густое, так и тянет войти туда, в эти хлеба, присесть в них, ухватить в руки колосья и запеть во весь голос под баян Кузьминова:

– Стеной стоит пшеница золотая
По сторонам дорожки полевой.
Мне хорошо, колосья раздвигая,
Ходить сюда вечернею порой.
Стеной стоит пшеница золотая
По сторонам дорожки полевой.

Это Люда Кузьминова запекает, обхватив руками густые колосья, а Женя Демьянычева вторит ей, подпекает:

*– Всю ночь поют в пшенице перепёлки
О том, что будет урожайный год.
Ещё о том, что за рекой в посёлке
Моя судьба, моя любовь живёт.*

А мы стоим перед ними по грудь-то в пшенице и любимся ими, и поём с ними вместе, захвачены песней.

*И в час, когда над нашей стороною,
Над ней заря вечерняя стоит.
Родное поле говорит со мною
О самом лучшем в жизни говорит.*

Мы просто восхищены Колымой, самим видом этого поля, пшеницей золотой и в ней Людой Кузьминовой и Женей Демьянычевой в хлебах по грудь, обнимающих налитые, поспевающие колосья.

*И хорошо мне здесь остановиться.
И, глядя вдаль, подумать, помолчать.
Стеной стоит высокая пшеница,
И ей конца и края не видать.*

– Хлеба! Достояние, чудо Серединной Руси, – подходит ко мне друг мой Валентин Александрович Чухаркин. – Лёня! До сих пор в Суриковском художественном институте цела скульптура, которую я лепил с тебя на Сталепрокатном. По ней и приняли меня на отделение скульптуры.

– Неужели я такой... фотогеничный? – удивляюсь я.

– Выходит, – говорит Валентин. – Приедешь в Москву, покажу фотографию.

На Колыму приехал за нами автобус.

– Грузись, народ! – дал команду водитель. – Едем в Синяевский, пока вино на столе не прокисло.

– До свиданья, Русское поле, – махали хлебом мы и Зуше, огибающей Колыму с трёх сторон. – Мы вернёмся к тебе, золотая пшеница, замечательная наша русская песня!

Снова сели за стол, мы снова налили по маленькой. И опять полетели песни под баян кузьминовский, созрели яблоки и груши и падали к нам прямо на стол.

– Ну, что, дорогие мои, хорошие, – разошёлся Валя Чухаркин. – Разогрелись-то как, пора бы и охладиться. Пойдёмка вниз под нами, к речке Алёшне, искупнёмся, поплаваем.

Идём дружно мы вниз по лесной тропинке, к речке Алёшне, а Алёшня, изгибаясь по луговине, несёт свои воды вниз туда, к Зуше. А тут ракиты огромные, бобры водятся, подгрызли острыми своими зубами эти ракиты, сделали плотину, и теперь тут Алёшня глубокая, дна не видать. Тут же, поблизости, деревянная лодка – плоскодонка. Лодка ещё Коли Сухорукова, он её сделал, а теперь она стоит просто так под огромной ветлой.

Загляделся я в глубину вод: водоросли длинные и зелёные, тянет их по течению вниз, стрельнёт иной раз, сверкнёт серебряным боком рыбёшка. И вдруг вижу с того берега движется сюда поверх воды живая верёвка – голова какая-то серая, уши жёлтые-это, конечно, уж водяной.

– А может, гадюка? – всматривается в это явление природы Валька Чухаркин.

– Гадюка? – говорю я. – Нет. Гадюка чёрная, в тёмных глубоких оврагах водится.

– Ну, тогда я пошёл, – сбрасывает с себя одежды Валька и бултых в воду.

Поплыл на тот берег сажонками. Встал посередке на дно и ушёл с головой в глубину. Всплыл тут же, как пробка. Машет рукой мне:

– Уфф! А вода ледяная!

– Ещё бы, – говорю я ему отсюда, от лодки. – Весь берег в ключах. Мы тут не купаемся. Ходим на Зушу. Коля Сухоруков, сосед наш, специально сделал эту вот плоскодонку, чтобы рыбу с неё ловить.

– А как же бобры? – дрожа всем телом, вылетает на берег Валька.

– Что бобры – то? – говорю я ему. – Им, бобрам, ледяные ключи ни по чём. Шуба какая у них – бобровая.

Прыгает Валька на одной ноге, склонив голову, воду выливает из уха. Он такой, этот Валька! Море ему по колено. Всё ему перепробовать надо, во всём идти в первых рядах. В

армии боксом занялся, чемпионом стал Туркестана. Скульптором стал – в Звенигороде поставил памятник Сергию Радонежскому, патриарх Алексей Второй за это его лобзал.

– Пошли, – говорю, – домой поскорее. Коньячком грузинским погреемся.

Усадьба большая, мест много хоть в саду, хоть на огороде. Все разбрелись кто куда, по группам, по своим интересам. Кто по-прежнему сидит за столом, пьёт водку, чай или квас. Летний день длинный, до вечера ещё далеко. Кто-то стал фотографировать кого-то. И тут родилось предложение сняться всем на добрую память. Пошли созывать всех к крыльцу моей хаты, расставлять кого куда – кто с кем и куда встанет, чтобы каждого не упустить, чтобы каждый был виден на фото. И по сей день хранится у меня это фото, и я иногда смотрю на него и вспоминаю: «Иных уж нет, иные уж далече».

И тут все как-то сразу собрались, сели в автобус и укатили в Орёл. За одними подбелевскими тоже кто-то приехал, другие пешком пошли на тот край посёлка. Уходили, обсуждая события текущего дня. Да так громко, что от звуков голосов, белка вскидывала свой пышный хвост на орешнике, а сорока – белобока и вовсе с груши улетела в конец усадьбы Сухоруковых, в густые вишни, села на ракиту, где у неё было гнездо.

Тут остались только мы с Колей Смагиным. Коля был маленько подвыпивши, и вообще, как человек темпераментный, он отходил от всего постепенно.

– Здорово это всё у тебя произошло, – улыбался он мне, как только мог. – Юбилей – удача, да? А почему?..

– Да, почему?

– По-моему, люди собрались, каким делить нечего, – сказал Коля. – Живут в разных местах, у всех разные интересы.

– Не совсем так, по-моему, Коля, – рассуждал и я, не совсем остыв от прошедшего дня. – Не удача, а что? Радость какая-то переполнила вдруг людей, а отчего? В самом деле, люди как люди. Кого не пронзит песня в самое

сердце? «Какая песня без баяна»? Тронул Виктор Викторович баяном русскую душу...

– И любовь, – положил руку мне на плечо Коля Смагин.

– И любовь, конечно, – с лаской глядел я в глаза ему. – Видел, как устремилась в небо душа. Особо когда ожили русские песни, полетели одна за другой?

«Очи чёрные, очи страстные!

Очи жгучие и прекрасные!

Как люблю я вас! Как боюсь я вас!

Знать, увидел вас я в недобрый час.»

«Ах, эти чёрные глаза

Меня пленили!

Их позабыть никак нельзя-

Они горят передо мной.

Ах, эти чёрные глаза,

Кто вас полюбит.

Тот потеряет навсегда

И счастье, и покой».

– Попурри? – улыбнулся Коля.

– Второй романс – Оскара Строка, – говорю я Коле.

– А первый?

– А первый – пишут Евгения Гребёнки, – отвечаю я Коле Смагину. – Но на самом деле это гимн Наполеона. С этой мелодией, оказывается, на нас в 1812 году шли французы. До сих пор «Очи чёрные» во Франции только запой, каждый почти подпоёт...

И тут зазвонил телефон. Не мне, конечно, откуда тут у меня телефон? Откуда он у нас на посёлке да ещё в те времена? Звонил мой друг Валька Чухаркин, но не мне, а Кузьминову Виктору Викторовичу домой в Подбелевец. Кузьминов приехал на машине и сказал, что тот просил передать мне, что забыл ключ у меня от своей мастерской. Переночует в Орле, а утром заедет ко мне сюда, в посёлок Синяевский. И в конце Валентин Чухаркин просил передать такие слова:

– Лёня! Всё было у тебя хорошо! Просто замечательно! Так бывает у нас на Руси!.. Я люблю тебя, Лёня, от всего сердца! От всей русской души!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ

*Ты хранись в нас, о русская речь!
Острый меч и испытанный щит.
Нам бы землю родную сберечь,
Русь святая себя сохранит...*

Леонард Золотарёв.

**БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ. ЧУХАРКИН И КЛЫКОВ,
И ЕЩЁ СЕРЁЖА ПИСКУНОВ. НАС БЫЛО ТРОЕ.
ТАГИНО. КУРСКИЕ СОЛОВЬИ. ТАМ, ГДЕ Я БЫЛ
УЧИТЕЛЕМ. О ПЕТРЕ МАКСИМЫЧЕ (с. Губкино)**

Дали мне в Курском пединституте свободный диплом. Это значит я еду устраиваться куда-нибудь не по распределению, а куда захочу, вернее, куда ведёт меня мой жалкий жребий. Мне хотелось к себе, в свою область, в свой Малоархангельск, в дипломе было написано: «Учитель русского языка, литературы и истории». Но я учителем быть не собирался, с редактором районной газеты (тогда она называлась «Победа коммунизма», как и подгородненский колхоз) вроде была договорённость, что он берёт меня в литсотрудники, в корреспонденты. Заодно, думаю, работать буду в вечерней школе на несколько ча-

сов, а получилось, что эти несколько часов у меня и остались. Редактор, видно, от меня на что-то рассчитывал, а я не умел да и просто не мог этого делать. Про деньги или ещё про что-то там говорю, не знаю, но на первых порах я оказался за бортом журналистики. Зато был взят в редакцию на работу Федоренко Володя – выпускник Парашинской «сельхозакадемии» (так звали Глазуновский сельхозтехникум в Парашино, что под Глазуновкой). Всё в Малоархангельске от нашего дома близко: и редакция, и вечерняя школа (в бывшей базовой), как говорят ныне, в шаговой доступности.

Прохожу мимо редакции, направляюсь в вечернюю школу и всё думаю, чем я хуже Володея, пером журналистиком я тогда уже маленько владел. Будучи студентом, пописывал кое-что и посылал в курскую молодёжную газету «Молодая гвардия». Ну, да ладно. Подождём, не под дождём. Хожу в школу, к своим великовозрастным ученикам, которые почтительно называют меня учителем, и жду удобного момента. И он настал. После Нового года вызывают меня в роно (районный отдел народного образования) и предлагают заменить в Губкино учительницу русского языка и литературы, которая уходит в декрет. Помню Губкино ещё по военному времени. Это село в каких-нибудь двенадцати километрах от Малоархангельска, и школа там семилетняя.

Пошёл я туда, как и в сорок третьем году, пешком. Вроде как в ссылку, слышалось среди соседей в Малоархангельске всё шушуканье за спиной. И вот знакомому учителю в Малоархангельске, маленько постарше меня, Вадиму Ефремову захотелось меня проводить. Так за разговорами мы с ним и дошли до Губкино, до самой школы. Помню, всё меня он уговаривал поработать в деревне, для укрепления профессионального уровня связей с сельским учительством и народной массой.

– Инородной массой? – говорю. – Для меня она не такая уж инородная. Мы семья трудовая, крестьянская, наш корень где-то в Воронежской области, в хуторе Хо-

рольском, в колхозе имени Пятницкого, вблизи института имени Докучаева.

В школе нас встретил директор Пётр Первый, как я про себя назвал Петра Максимыча Васина. Петром Вторым потом назову директора Луковской средней школы Петра Николаевича Сырцева (правда, через год я уже поменял их местами), а Петром Третьим, то есть «самозванцем», объявил (опять же про себя) директора семилетки в Ивани. Все три директора, все три Петра. Как говорится, Петровско – Разумовская директория.

Так вот, Пётр Максимыч встретил нас радушно, даже очень радушно. Посливал со всех мензурок свой НЗ – «неприкосновенный запас», спирт, предназначенный для проведения всяких химических опытов, и накатиł всем троим по «грамульке». Предложил тост за меня как за молодого учителя. С этим я согласился, а вот выпить наотрез отказался. Не пью, и всё.

– Ну, что ж, – сказал Пётр Максимыч. – Нам больше достанется.

И разлил остальное себе и Вадиму. Потом Пётр Максимыч повёл меня через луг к одной бабушке по имени Антоновна на квартиру. Познакомил с ней, она работала в школе уборщицей, и я, вроде бы «прописавшись» тут в Губкино, пошёл провожать теперь уж Вадима Ефремова за околицу. А потом и до самой вышки, то есть почти до середины обратного пути до Малоархангельска.

Когда прощались, защемило у меня где-то в груди. Как никак там в городе дом наш, бабушка мой Герасим Макарович, мать моя Мария Герасимовна. И уже с одной молодой учительницей французского познакомился, только что присланной в Малоархангельскую среднюю школу, с Людмилой Серафимовной. Так положено в школе: звать по имени-отчеству. А проще Люся, женой моей потом стала.

Меня тоже звали по имени, отчеству, но как попроще, по-сельски, по-деревенски: не Леонард, а Леонид Михайлович, дома Антоновна называла меня «Михалыч». Вот мне понравилась бабушка, вот хороша! Щупленькая

такая, лицо в кулачок. А словотворица, а поговорить-то любит. Да всё по душам, по душам. А уж о том, что добрая, и говорить не приходится. После студенческих-то харчей такая тут еда у неё, невозможно представить и описать. Как поставит на завтрак сковородку огромную с картошкой жареной, а картошка румяная, нарезана скибками, а они аж плавают в сале. И огурцы бочковые, помидоры в листве да в укропных семечках. Яйца вкрутую. Топлёное молоко под коричневой плёнкой. Капуста целиковая, разрезана по полкочана. И квас деревенский, из ржаной муки для цвета маленько прижареной... Не уборщицей ей работать, а шеф-поваром в ресторане какой-нибудь русской кухни...

– Да что ж мне тут объесться, что ли, – говорю я Антоновне. – На целый батальон наготовила.

– Ешь, ешь, Михалыч, – подопрёт она пальчик под щёку. – Я тебя-то как сына принимаю. Сын мой где-то, где казаки, в Новочеркасске. Женился там да всё никак не приедет. Всё собирается, собирается. А жане, я так думаю, неохота. Ну, а я жду, жду-пожду. Посижу – посижу и опять жду...

Весна пришла. Стадо мимо окон гонят пастись.

– Ой, а я уже не одолеваю, – жалкует Антоновна.

– Чего, Антоновна, не одолеваешь-то? – говорю я ей.

– Да вон овечки бегут, – глядит она в окно. – А у меня их уже нет.

Или приходит пастух, сидит в передней, в углу под окном. По очереди кормят его по дворам. Но вот он и уходит.

– Пригляделся к нему? – спрашивает Антоновна.

– Ну, и что? Пригляделся, – говорю я Антоновне.

– А то, что не так давно ён вылез из погребя. Десять лет в погребе просидел... Дезертиром был, в войну на фронт не пошёл... Оказалось, уж давно амнистия была таким, а он всё сидел...

После я написал рассказ, назвал его «Кротовья жисть». Послал в московский журнал. У Распутина «По-

следний срок» напечатали, а мой, сказали, надо бы погодить. Ну, я тоже где-то во мценской газете, в двух номерах, напечатал. Затерялось где-то...

Придёт с почты Антоновна или из магазина.

– Глянь, Михалыч, – говорит. – Какую на сдачу мне срамоту дали. Тётки голые.

И показывает открытки из Музея изобразительных искусств.

– Ну, как я их сыну посылать буду? Что жена-то подумает?

Ну, да ладно. Что я всё про Антоновну да про Антоновну. Принесу воды ей да дров порублю, так она не знает, куда меня усадить, какими словами усладить.

Да, ну ладно. Так о директоре школы Петре Максимыче. У меня его дочка Саша училась в седьмом классе по русскому языку и литературе. И ещё в том же классе учился Женя Вершинин – сын председателя колхоза, отец его был Герой соц. труда. Так Саша и Женя звали меня просто Учитель, и всё.

Задал я, помнится, всему классу сочинение, написать надо на тему о том, какая бывает речка осенью, зимой и весной. А тут, в Губкино, Сосна течёт, в Верхососенье начинается. А в Сосну впадает речка Сучья, где-то из – под Малоархангельска начало берёт. И у нас тут запруда.

Женя Вершинин и написал: «Весной ледок берётся от берега, а осенью замерзать принимается посередине». Я сказал об этом ему уже в Орле, когда он работал редактором Орловской районной газеты, так он мне: «Учитель, неужели помнишь?»

А Саша, дочка Петра Максимыча, стала тут после директором.

Ну, и как не помнить? На этой Сучьей, за запрудой, посёлок есть Доброе Начало. И было в нём тогда всего два подворья. «Эскимосы» там жили. Так называли их тут, в Первом Губкино. Почему «эскимосы»? Потому что были ещё тупее плещеевских. В Плещеево был испокон спиртзавод, так там пили вольно, сколько хотели. И полы

были у них земляные, под ногами путались поросята, и ребятишки учились заметно хуже других.

Вызываю к доске я «эскимосов» (их двое, два брата) и говорю:

– Гляньте, в тетради у вас ошибка на ошибке. Пишите, как не русские.

– Да они же «эскимосы», – смеются в классе. – Они всегда так пишут.

– Ничего-ничего, будем учить, – говорю. – Оставляю после обеда на дополнительные занятия.

После уроков всем уходить, и эти подхватываются, уже возле двери. Нет уж, никуда не уйдёте. Будем с вами заниматься. А они бегают вокруг стола, я за ними. Загнал всё же в угол. Посадил за стол:

– Пишите. Запоминайте. Слушайте, что скажет вам учитель.

И хоть велосипед стоит у меня наготове, надо ехать в Малоархангельск, а я всё учу их, всё долблю, вдалбливаю им в голову. Пётр Максимыч после как-то мне и говорит:

– Что-то «эскимосов» я не узнаю. Вроде лучше стали учиться.

– Ну, а как же, – отвечаю я ему. – В школу же ходят, это даёт результаты.

Но особенно помнятся мне уроки литературы. Как читал я ребятам стихи. Весна уж вовсю, сады зацвели. Запахи всевозможные носятся в воздухе. А у нас школа маленькая, в классной комнате руку некуда протянуть, а ребят в классе много. И воздух порченный. Распахнул я окно, а в саду всё белым – бело, вот красота! Пчёлы летают, пчелиные волки за ними гоняются.

Вижу, собака у двери растянулась.

– Чья, ребята, собака? – спрашиваю.

– Эскимосова, с ними пришла, – отвечают мне весело. – Давайте мы их отвадим.

– Не надо, – говорю. – Пусть бегают с ними в школу. Может, станут ребята лучше учиться? Соображать лучше в мире природы?

И так хорошо тут всем нам с распахнутым-то окном. Так хорошо нам всем в этом мире природы. Жаль, откровенно сказать, мне бывает их, деревенских. Не то, что в городе, у городских всё есть: и театры, и картинные галереи, и концерты, всякие футбольные матчи. Зато тут у нас сад какой, прямо под окном. И пчёлы летают, и собаки бегают, и дети ждут от меня, учителя, чего-то. А чего? А вот чего! Сейчас я им это всё и покажу. И не обязательно по программе, а по душе.

Открываю свой шкафчик. Тут у меня школьная библиотека. Вчера принёс и поставил вот этот томик. «Константин Симонов. Стихи и поэмы военных лет». Открываю страницу и читаю:

*– Был у майора Деева
Товарищ майор Петров.
Вместе они служили
Ещё с двадцатых годов.
Бывало...*

А оттуда, с той стороны, ребята из другого класса смотрят сюда, прислонились к стене и слушают, никак не оторвутся, впились взглядом в меня в этом классе, никак оторваться не могут. И голос мой то затухает, то крепчает, наливается силой, дрожит.

– Был у майора Деева...

Был и у майора Лисунова Александра Емельяновича

И у капитана Евдокимова

И у многих, многих других, ребята,

Лежащих на подступах к Малоархангельску...

Суббота. Собрался я на велосипеде своём в город, домой к себе. Подходит директор Пётр Максимыч да и говорит:

– Михалыч, может, найдёшь там кого-нибудь из печников? Школу к новому учебному году надо готовить, ремонтировать, перекладывать печки.

– Постараюсь, – говорю, – поищу.

С первого раза никого не нашёл. Со второго тоже. Сижу под топодем, на краю города, жду попутную на Губ-

кино. И тут же сидят со мной наши, малоархангельские мужики: Березин – сосед мой, живёт на нашей улице, и Витяха Диомидов – брат Женьки Диомидова, с которым мы в футбол на стадионе мяч, бывало, гоняли... Вот, как раз то, что надо. Оба печники, по печному делу работают, на еду себе зарабатывают. Достают бутылку, разливают по хрущёвским своим.

– Хочешь? – обращаются ко мне.

– Не пью, – отворачиваюсь я от бутылки.

– Ну, как знаешь, – говорят они и сходу наливают себе по второй.

– Накулюкаетесь, – говорю. – Зачем тогда и едете, всё равно работать не будете.

– Не твоё дело, – кладёт Диомидов Витяха пустую бутылку в сумку.

– Ну, и где вы работаете? – осеняет меня. – Что делаете?

– Да в Губкино, у одного там, за речкой, – отвечает сосед мой Березин.

– А в школе можете печки переложить, ремонт сделать? – спрашиваю я их, пока они ещё в своём уме, не набрались.

– Сможем? – переглядываются они друг с другом.

– Как приедем в Губкино, – говорю, – так давайте в школу пойдём. Я с директором вас познакомлю.

Познакомил. Осмотрели всё, определили, как говорится, фронт печных и всяких ремонтных работ. О цене договорились. Ушли мои дружки к тому мужику, что за речкой. Обещали завтра прийти. Пётр Максимыч и говорит мне:

– Вот о чём я подумал. Дай хоть раз за много лет в отпуск пойду. Ты, Михалыч, заменишь меня. Договорились, заплатит тебе роно за директорство. А ты тут займись ремонтом, присмотри за ними, чтобы сделали всё, как следует. Печки, главное, перекласть, да чтоб не дымили...

Вот так я и оказался в то лето без отпуска.

Пётр Максимыч куда-то уехал, кажется, к брату или куда-то на юг, а я занялся этим делом – ремонтом. Приезжают дружки мои в Губкино с утра вместе со мной, приходят в школу, достанут бутылку из сумаря и сразу же пить. Если мало, ещё в магазин сбегают. А дело стоит...

Я уж их молю, умоляю:

– Хоть что-нибудь сделайте, печки переложите. Что ж вы договорились, аванс взяли и пьёте каждый божий день, как сапожники.

– Не твоё дело, – говорят. – Сделаем, когда надо, к учебному году.

Вот так дело у нас и идёт. Вернее, никуда не идёт, только на нервах у меня и отражается. Прибегает в школу из колхоза какой-то нарочный, объявляет:

– Вершинин вызывает в правление на заседание.

А где директор?

– В отпуске.

– А кто за него?

– Да я, меня оставил... ремонтировать школу...

– Ну, так ждуть, приходи.

Пришёл в правление. Вершинин усадил меня рядом с собой.

– Слушай, Михалыч, и ума набирайся.

А мне зачем это? Про ремонт сельхозтехники да хлеба, да про зерноток. Что я в председатели колхоза собираюсь, что ли? Мне и в школе забот хватает. Принялись Березин с Витяхой, наконец, за ремонт, так то глины, песку им завози, то цемента привези из города, обоев купи... Такая-то процедура, картина маслом...

И когда же мне теперь отдыхать? А никогда. Скоро уже новый учебный год начнётся, осталось всего ничего. Но с ремонтом мы с мужиками всё же управились. Наконец-то приехал директор Пётр Максимыч. Осмотрел всё внимательно и говорит мне:

– Молодец! Ну, не на «пять» сделано, а на «четыре» это точно. Вот кого буду теперь привлекать к ремонту – тебя.

– Спасибо, – отвечаю я сдержанно на его комплименты. – Им спасибо, постарались ребята.

До учебного года осталось каких-то пять дней. Как раз в Малоархангельске начинается районная педагогическая конференция. Со всего района в кинотеатр «Колос» сошлись и съехались учителя. Пришёл и я. Подошёл ко мне Пётр Николаевич Сырцев – директор Луковской средней школы, – давно знаком со мной, бывал у Ефремовых, когда мы с Володией учились, наверно, в девятом классе.

– Леонард Михалыч! Помнишь, ты был представителем от нашей школы в Легостаево на экзаменах,...это наш микрорайон... так директору Легостаевской школы ты понравился, привет тебе передавал. А я вот о чём: у нас одна учительница из Губкино, домой к себе хочет, переводом оформим: тебя к нам вместо неё, а её в Губкино вместо тебя... Часов у нас много. Всю историю в школе будешь вести с пятого по десятый. И ещё в пятом – шестом русский язык и литературу... Согласен? Подумай, а мы подождём.

– А чего думать? – подошёл ко мне зав. роно Коклевский Дмитрий Васильевич.

В войну он был офицером и, что интересно, кроме других орденов, у него был орден Кутузова, которым награждают в основном военачальников за успехи в стратегических операциях. И какая же была у него тогда, во время войны операция? Надо человека спросить, да неудобно как-то. Генриха Рыбникова бы спросить, вот кого, этот всё знает. Вся комната доверху у него завалена книгами про Великую Отечественную войну, ну, и ещё про всякие военные операции всех времён и народов.

В общем, что бы там ни было и кто бы что бы ни говорил, а через несколько дней, как раз к первому сентября, я оказался в Луковской средней школе учителем истории, русского языка и литературы, где самого меня когда-то, ещё во время войны, в сорок третьем году, читать учили наши солдаты. Вот и танкоремонтное поле

на берегу Сосны-реки, где вечерами у костра бойцы читали «Василия Тёркина».

«Пушки к бою едут задом –
Это сказано не зря».

О ПЕТРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ СЫРЦЕВЕ (с. Луковец)

Начал я работать в Луковской средней школе учителем, стал жить за Сосной-рекой, в том же месте, где и когда-то жил в сорок третьем, во время войны, когда мы были тут в эвакуации. И, естественно, ближе познакомился с директором школы Петром Николаевичем Сырцевым. Из должностных лиц, встреченных мне на жизненном пути, он мне очень понравился.

Так же, как и в Губкино, Пётр Николаевич привёл меня к бабушке, простой сельской бабушке Тане, чтобы поставить меня у неё на постой.

– Такса известная, – сказал он ей. – Будем платить по пять рублей в месяц, привозить на зиму по тонне угля и оплачивать электрический свет. Согласна?

– Согласна, конечно, – ответила ему бабушка Таня. – Я знаю, у меня уж стоял тут учитель. Женился на врачихе, уехали в Курск. Теперь будет стоять этот, новый учитель... как зовут его?

– Леонард Михайлович, – ответил директор.

– Не выговариваю я это, – обратилась бабушка Таня ко мне. – Можно буду звать просто Михалыч?

– Ну, конечно, – улынулся я ей, поневоле сравнивая бабушку Таню с Антоновной, какая была моей квартирной хозяйкой в Губкино.

Такая же старенькая и такая же добрая. И так старалась меня хорошо напоить, накормить. Одна только разница: я жил у неё за русской печкой, где стояла кровать, и было там душновато. Да ещё дед был гораздо старше её, которого звала она Гусаком, скорее всего, за то, что тот любил, как говорится, пожрать и ел еду как-то хопом, за-

пихивал в рот себе всё, что ел, огромными дозами, за что бабушка и прозвала его Гусаком.

– Нашему ландышу всё на душу, – говаривала она, и мне казалось, что говорит она истину.

Внедряться по-настоящему в Луковскую среднюю школу я начал с того, что решил посмотреть, как живут молодые учителя вместе со мной влившиеся в трудовой коллектив. Сначала они поселились у одной квартирной хозяйки, в большом деревянном доме, где была прежде библиотека. Одна из них Коляструк Евгения Николаевна, как и я, была выпускницей Орловского истфила, тоже учительница истории, русского языка и литературы, другая Эмма Николаевна – учительница биологии. Пожив вместе каких-нибудь пару месяцев, они, как говорится, разбежались. Вернее, с квартиры съехала Эмма Николаевна и поселилась у пожилой крестьянки, в простенькой хатёнке, на белёной стенке которой, скорее всего, кто-то из учеников начертал острым гвоздём «хата-дворец».

А вот со всем коллективом школы я сошёлся под Новый год, когда собрал всех умеющих или желающих петь в один хор и стал на новогоднем концерте его дирижёром. Чтобы вместить всех желающих (а ещё сюда пришли не только учителя и школьники, но и родители), тут разбирали стенку из досок, и тогда два класса превращались в актёрский зал. Тут мы делали сцену, где и пели песни, и читали стихи. И учитель по физкультуре Валентин Башкатов играл на баяне.

Я тоже мечтал о баяне, но пока что денег на него не заработал, тем более на аккордеон, который один тут прапорщик привёз из Германии и предлагал всем в Луковце купить его за бешеные деньги. Но вместо этого я купил большую пачку замечательных научных, академических книг, присланных в школу из Москвы и Ленинграда, они у меня в Орле стоят в специальном шкафу до сих пор.

Но самое главное даже не книги, которые я любил всю свою жизнь и люблю по сей день, а люди. И вот та-

ким человеком для меня, просто необыкновенном, оказался директор школы Пётр Николаевич Сырцев. Посудите хотя бы о том, что Пётр Первый, так я стал называть его с некоторых пор, ходил за зарплатой учителям в Малоархангельск пешком. Не было тогда никаких автобусов. Это туда и обратно, двадцать плюс двадцать, сорок километров. Представляете, сколько он отмотал в месяц за одной только зарплатой, а за год? А за два? Но ведь у директора есть ещё и всякие вызовы в роно, на всякие мероприятия. И всё пешком. Да и мне к субботе, бывало, хотелось домой в Малоархангельск. Помню, прохожу мимо сельсовета, а возле него лошадка с санями. Думаю, сейчас возьму в руки возжи, плюхнусь в сани да и махну в город, чем пешком-то идти. Вот такие дела.

Про один случай, что ли, взять да и рассказать? Собрались мы с Петром Николаевичем в Малоархангельск. Он, как всегда, за зарплатой, а я дома побывать, с друзьями и девушками повидаться. Володей Федоренко за братом своим, за Сашкой, в Легостаево ездил, тот работал в Легостаевской школе учителем биологии и географии. Ездили они на тарантайке двухместной, а я обычно ходил пешком. Да, ну ладно... Вот мы с Петром Николаевичем дошли бодрым шагом до Губкино, прошли мимо школы, где я недавно работал, и идём, поднимаемся к вышке. Я иду уже шагом менее бодрым, а Петру Николаевичу что? Он человек тренированный. И вот перед самой вышкой снег пошёл. Потом снег перешёл в дождь. Начался снег с дождём, гололёд. В лицо, навстречу сечёт, прямо в тебя.

Пётр Николаевич идёт себе да идёт. Слегка только вниз лицом, только морщится. У него сверху на бушлат надет плащ пониже колен, а на ногах высокие сапоги. Снег с дождём в ноги не попадает. А мне, в коротком моём пальтишке, по голым-то лыткам снег с дождём так и бьёт, так и содит. Чувствую, ноги уже не сгибаются, замерзают колени. Совсем не идут ноги. Но я-то бывший спортсмен, у меня сила воли. Вида не подаю, продолжаю идти. Уже к Костюринскому бугру подошли, город отсю-

да виден, а идти не мог, ноги не сгибаются. Теперь уж и Пётр Николаевич это заметил. Стал подбадривать меня, рассказывать всякие сказки. Я понимаю всё это, а идти возможности нет. Двигаю ногами, словно чужими. Молю бога, чтобы, если не снег, так хотя бы дождь ледяной перестал. Видно, боги вняли моим мольбам, дождь и перестал. Уже за Костюринским бугром, к пенькозаводу идти стало как-то легче. «Дай, – думаю, – дойду до Репьёвки, а там уж и город. По главной улице, налево и – дома».

– Ладно, – говорит мне директор. – В понедельник в школу не приходи.

И пошёл в роно за зарплатой.

Расхлопотались дома. Затопила мать печку, воды нагрела и стала меня отогревать. Уже ничего стало, можно жить. Лежу возле печки. Пётр Николаевич входит. Приносит зарплату.

– Ну, что, герой! Отдыхаешь? – улыбается он и обращается к моей матери. – А что, Мария Герасимовна, плаща длинного колени прикрыть, у вас не найдётся?.. Дело к вечеру, ну, я пошёл. А вы, Леонард Михалыч, в понедельник не приходите. Отдыхайте, отогревайтесь...

Вот такой был у нас с ним эпизод, такой примечательный случай. Однако обыкновенный в его педагогической практике. А то было ещё что-то не совсем уже обыкновенное. Дело к весне. Луковец-то стоит на реке Сосне. И школа за речкой. Половина учеников там вместе со школой, а больше половины тут, где и я живу у бабушки Тани. В войну, помню, был тут мост, по которому ходили и ездили, а ныне вброд ездят. А ходят по доскам, по дощатому переходу сбоку брода. Но это в обычное время года, а весной никакого тебе перехода. Всё водой заливают. Если надо на тот бок, идти во-он куда – аж в Плеещево – надо, там переход, на Плеешевский спиртзавод.

Ну, а в школу ходить же и из школы ходить. Март месяц, иду к реке полноводной, разбушевавшейся и что вижу? А вижу Петра Николаевича в лодке – одного, не считая собаки. Гребёт он с того берега с силой сюда к нам,

а тут, кроме меня, ещё и ученики. Подгребают, сажает их в лодку и туда, на тот берег, где школа.

Это с утра так доставляет он детей на занятия. А после обеда оттуда везёт всех на лодке. Оттуда легче, помогает течение. Выходит он на берег, весь мокрый по пояс от брызг, от речки разбушевавшейся. Так и служил он тут перевозчиком, пока из района не пришла команда отпустить школьников на каникулы.

Такие вот сухари. Пётр Первый он, ничего не попишешь. Не то, что в Губкино или в Ивани, где тоже директорами Пётры. В одном месте Пётр Второй, а в другом – Пётр Третий. Все три Петра – исторические личности...

Хожу в школу. Работаю в три смены. С утра чуть свет – к восьми часам. Во вторую смену после обеда до шести, семи. И ещё вечерняя школа. В неё ходят всякие переростки. Ездят сюда к нам управляющий Легостаевским отделением Данила Фёдорович Русанов и директор Плещеевского спиртзавода Никитин. Надо учиться, без образования никуда. Я у них веду и историю, и литературу. За это Коляструг Евгения Николаевна иронично называет меня «ведущим историком».

Помню, это был 1961-й год, а какой же ещё? Иду из школы, подхожу к берегу, а навстречу мне Башкатов с баяном. Солнце светит, травка уж зазеленела. А Башкатов-то рад всему до невозможности.

– Наши в космосе, человек в космосе! – кричит он мне ещё издалёка. – По радио сообщили, это Юрий Гагарин!

И как врежет на баяне «Русского», а потом «Вот кто-то с горочки спустился».

Вечером мы сидим с ним тут на бутре, над речкой, и под баян поём новую песню про «восемнадцать лет», недавно её передавали по радио:

*За рекой, за речкой
Солнышко садится.
Что-то мне сегодня
Дома не сидится.
Сладкая истома,*

*Черёмухи цвет.
Усидишь ли дома
В восемнадцать лет?*

Да и нам самим в то время после института было не очень-то больше. Как душа разливалась по лугу вслед за баяном, долетала до Гремячего ключа на излучине Сосны.

*Паренёк кудрявый
Прошептал три слова
И увёл девчонку
От крыльца родного.
Мята луговая, серебристый цвет.
Радость молодая –
Восемнадцать лет...
В жизни раз бывает
Восемнадцать лет.*

На другое утро встречает в школе меня Пётр Николаевич, кладёт руку на плечо:

– Хорошо вы вчера с Башкатовым пели, так душа и замирала.

А ещё позже весной, когда совсем уж зазеленела трава и сады покрылись белым цветом, как покрывалом, подходит ко мне Пётр Николаевич и говорит:

– Учебный год к концу идёт, что бы это тебе сказать? Хором школьным ты уже руководил, уроки истории зав. роно Коклевский Дмитрий Васильевич оценил у тебя высоко. А вот что бы я посоветовал тебе сделать для своего восьмого «а» класса? Сходите куда-нибудь. Например, в Орлянский лес.

– Далековато, – отвечаю я.

– Подальше положишь, поближе возьмёшь. С утра пойдёте, к вечеру вернётесь. Так сплотитесь! Сколько всего в дороге переговорите, сколько чего услышите и увидите. Просто замечательно это будет для вас, Леонард Михалыч, советую как классному руководителю.

– Конечно, замечательно, – говорю. – Лес с детства я очень люблю. Да и наших деревенских детей. Вот где бы палатки взять, котёл, чтобы суп варить...

– С этим помогу, – сказал Пётр Николаевич, и через день на виду всей школы наш класс отправился в культпоход до Орлянского леса.

Сначала строем шли, с песнями, потом разбрелись и стали идти, кому и с кем вздумается. Ко мне прямо-таки приклеилась Любочка Маслова, лучшая ученица. Учится лучше всех – это хорошо, это ладно, а вот, что поёт она замечательно, сколько песен знает, сколько всяких историй, случаев, сколько частушек, какие поются на «матанях» по деревьям под гармонь, этого я не знал, не ожидал от неё.

– Где ты, Любочка, всего этого набралась? – говорю. – Сколько же в памяти у тебя всего.

А она усмехнётся, идёт и сыплет, сыплет мне всё новые и новые частушки и прибаутки. Не только я, все заслушались, весь наш класс. Так и дошли до Орлянского леса, где и сделали привал, поставили палатку, развели костёр, сварили супу в котле, напекли картошечки. Просто замечательно есть всё это на свежем воздухе, среди примул, кукушек, черёмухи и акаций и всяких других лесных душистых цветений.

Такой был у нас культпоход. Каждому, наверно, запомнится до конца своей жизни.

И в вечерней школе состоялся выпускной вечер. Пришли все, кто учился: Данила Фёдорович Русанов – управляющий Легостаевским отделением, его двоюродный брат, Евгений Александрович Никитин – директор Плещеевского спиртзавода и другие. А через день приехал к нам в Луковец, в среднюю школу Данила Фёдорович, специально к нам с Петром Николаевичем. Набрал всякой еды, питья, пошли мы в сад, куда подальше, постелили на траву «достархан» – скатерть-самобранку, и праздник у нас начался..

Трахнули по маленькой, закусили луком с зелёными перьями, с белыми головками. Данила Фёдорович и говорит мне:

– Вот, вы, Леонард Михалыч, молодой учитель, а мне, откровенно сказать, нравиться, такой энергичный, инициативный и знающий.

– И безотказный, – поддерживает его Пётр Николаевич. – В три смены в школе работает, а что там – копейки получает.

– Надо на его долю картошки посадить, – говорит Данила Фёдорович. – Вырастет, отвезём в город, пусть мать поросёнка выводит. Какая – никакая прибавка к зарплате.

– Конечно, – говорит Пётр Николаевич, – это так. А ещё хочу сказать про его безотказность. В три смены работает, а время, чтобы быть агитатором на Масловской ферме, бывало, находит. По-моему, в декабре дело было или уже в январе? Отправился он с газетами к дояркам на ферму...

– Наверное, в январе, – говорю я. – Что-то вы меня захвалили. Про другое надо бы что-то сказать.

– Так вот, пошёл он под вечер на лыжах, – продолжал про меня Пётр Николаевич. – А Масловская ферма от дороги в сторонке, он и промазал. Пошёл на огни, а это оказался уже другой, Колпнянский район. До утра проплутал, несколько километров, едва не замёрз. Добирался в Луковец уже через Белгород, так назывался посёлок за центральной усадьбой совхоза...

– Преданный делу, – сказал Данила Фёдорович. – Надо в партию таких принимать. Ну, и что же, что молодой. Из таких, как они, вырастают хорошие руководители. Да, Пётр Николаевич?..

Кто же знал, что через месяц – другой Данила Фёдорович станет председателем райисполкома со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кандидатом в партию меня приняли, картошки в Малоархангельск мне привезли, так сказать, для поддержки штанов. Ну, и всё такое прочее. А оно заключалось в том, что из роно пришёл приказ оформить меня, опять-таки переводом, учителем русского языка, литературы и истории Малоархангельской средней школы. А сюда, в Луковец, на моё место направляли учительницу из роно, у которой тут, в совхозе был женихом агроном. Чтобы они завели тут семью. Дело естественное и, как говорится,

важное. Почти по Энгельсу «Семья, частная собственность и государство».

Так что к осени, началу нового учебного года, я неожиданно оказался в Малоархангельске, в средней школе. Опять же учителем истории с пятого по десятый и в пятом, седьмом классе – учителем русского языка и литературы. Кстати, в десятом учил сына директора школы Озерянского, а в седьмом – дочь завуча Надежды Фёдоровны. Не буду рассказывать все подробности, как я использовал учительский опыт, полученный в Губкино и Луковце, и всё то, что ещё не использовал ранее. Но опять же скажу, что в дело вмешался Его Величество Случай. У меня заболело горло. Как уже бывало не раз, фолликулярная ангина. Сделали мне в Орле операцию. Вырезали, можно сказать, с левой стороны половину горла. Говорить не могу. Тем более, что веду литературу и историю в десятом классе, говорить приходится много.

Надо найти работу где-нибудь в тихом месте. Например, в редакции какой-нибудь районной газеты. Обратился я в сектор печати обкома к Виктору Германовичу Високосову. Он подписал мне направление в Должанскую газету «За урожай». Возвращаюсь из Орла в Малоархангельск забрать вещички, а мне зам. предрика Чернышёв и говорит:

– А мы уже вас тут в Малоархангельскую школу наметили. Вместо Озерянского.

– Как же я тут останусь, когда мне говорить тяжело после перенесённой операции?

После узнал, Сырцев Пётр Николаевич переехал в Орёл, а вместо него стал директором Горохов Иван Сергеевич, а в Малоархангельске вместо Озерянского сын Горохова – Игорь Иванович. А я попал в Должанский район, в редакцию, где была редактором Афоничева Полина Ивановна, тоже замечательный человек. Но об этом потом.

ГЕНА ХАРИТОНОВ. «ОРЛОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ».

Из всех редакторов, которых я когда-либо знал, Геннадий Иванович Харитонов – редактор «Орловского комсомольца» – был, на мой взгляд, замечательным как человек, самым интересным редактором, как я думал и говорил иногда про него. Гена Харитонов был «движителем прогресса». Всё было в нём просто, естественно и хорошо. Так и вижу его в кабинете рядом с артистом Харитоновым, снимавшемся в кинофильме «Бровкин на целине». Два артиста, оба Харитоновы, один и другой. Такая картина и стоит передо мной, когда я вспоминаю Гену Харитонova – красивого, умного, тактичного, любящего своё дело. Ни одного взгляда косога, ни единого плохого словечка в свой адрес я не слыхивал от него, хотя иногда, может быть, и заслуживал.

Это сказка, а присказка будет потом. Пришёл я в «Орловский комсомолец» из Должанской районной газеты, которую, как и всё тогда, расформировали в связи с реорганизацией районов Орловщины, впрочем, как и всей страны в хрущёвские времена. И было мне с кем сравнить Харитонova Гену: с Полиной Ивановной Афоничевой. Но она была просто замечательной женщиной, человеком хорошим, а Гена ведь был ещё и настоящим редактором, «движителем прогресса». Такие хлынули в меня потоки сознания, знания всяких идей. И где он только набирался всего – в Воронежском университете, на факультет журналистики? Да просто, по-моему, он таким уродился, с талантом в самом себе.

Пришёл я в «Орловский комсомолец», какие тут, конечно, квартиры? Выбил Гена семье моей комнату в общежитии где-то за городом на «Химдыме», зато на окраине леса, около речки Цон. Однако знакомство моё с ним как с будущим редактором состоялось ещё до того. После идеологического отдела редакции, где я прошёл проверку на журналиста, я оказался в боевом отделе – в «Комсомольской жизни», у заведующего Ивана Закаблука. Тот

закончил в Харькове Педагогический институт имени Сковороды, после на всю жизнь «сковородой» и остался.

Так вот, сижу я, делаю статью в номер, входит редактор (тогда им был Фёдор Васильевич Конышев (прислали из Москвы переводом сюда из Перми, из профсоюзной газеты «Труд»). Приходит он в отдел к нам и прямо ко мне.

– И где письма трудящихся? – спрашивает. – Куда ты их дел?

А «письма трудящихся», если пропадут, труба тебе, выгонят вмиг. Сунулся в ящик я – нет. Сунулся в другой – нет. Стою пред ним, не знаю, что говорить. Уходит он, хлопнув дверью. Не знаю, что со мной было бы дальше, если бы тут же его не убрали, перевели в Кишинёв. Редактором назначили Геннадия Харитоновна.

Заходит теперь уже новый редактор Геннадий Иванович Харитонов и прямо ко мне:

– Пойдём-ка со мной.

Идём в редакторский кабинет. Открывает он сейф. Достает какие-то бумаги.

– Смотри, что лежало тут у него, у Фёдора.

Смотрю, а это мои «письма трудящихся». Те самые, что пропали у меня из стола.

– Ну, понял? – сказал, пристально глядя в меня, Геннадий Иванович.

– Понял, – говорю. – Только ящики в моём столе не запираются.

– Фролычу, завхозу скажи, – улыбается Гена. – Пусть сделает, чтоб запирались.

С этого всё у нас с Харитоновым и началось.

А потом всё в редакции как завелось у нас с ним, так и не прекращалось, пока Харитонova через несколько лет не забрали в Москву, в журнал «Комсомольская жизнь». Не прекращались взаимно хорошие отношения.

Так вот, на летучке, бывало, как заведётся Геннадий Иванович, как станет сыпать идею за идеей, одну за другой, а я как начну по его идеям ездить в районы, по сёлам, по

деревням, двигать всюду прогресс. «Идеологинь» наших: Свету Мезенцеву, Аню Безденежных, Аллу Карасик в командировку, – особо не пошлешь, женщины, что с них взять, а я из командировок не вылезал. Идеи Гены Харитонов я воплощал в жизнь конкретно под рубрикой «Свежий ветер в комсомольские паруса», без которой не выходил ни один номер газеты.

И вот такое письмо. Вопль души от доярок одной из ферм Хотынецкого района. Все такие письма отдавали, конечно, мне. А кому же ещё?

Приезжаю в колхоз, кажется, «Путь Ильича» или «Ленинский путь», или «Путь Ленина», названия тогда были на одну колодку. Село то напротив Ильинского через болота, на каких охотился когда-то Тургенев. И был там председателем, чётко помню, Брешков. Уже с орденом Ленина, ещё один шаг, и Герой соц. труда. Но мне надо было от центра хозяйства подальше, в бригаду, на ферму, откуда пришло нам письмо. В Орловское Полесье. Прихожу, разбираюсь во всём. Ни полотенца, ни мыла, ни подойников тебе, ни даже бидонов. Как хочешь, так и крутись.

Спрашиваю бригадира: так это? Соответствует это письму в редакцию?

– Так, – отвечает он. – Соответствует. И похлеще бывает. А председателю ничего не скажи...

«Вот, – думаю, – смелый какой бригадир».

Строевым Егором назвался, заочно учится в Мичуринском плодоовощном институте. Вернулся я в редакцию, говорю Харитонову, всё письму соответствует, бригадир подтверждает, смелый, принципиальный попался. А статью опасно писать. По соседству в орденоносном колхозе председатель Макар Савичев уже Герой соц. труда, про него один журналист из «Орловской правды» попробовал заикнуться, так ему живо рот заткнули.

– Ну, что ж, – говорит наш редактор, – придётся ехать в Полесье к дояркам мне самому.

Поехал. Письмо доярок опубликовали. А вскоре мы всей редакцией отправились на своих двух машинах

туда, в Полесье, к какому-то Строеву. С этого всё и началось. Путь вверх для него, так называемая карьера. Молодыми кадрами комсомол занимался и орган обкома комсомола – наша газета. Но уже без меня. Егора Строева я встретил уже в Хотынце, зав. идеологическим отделом райкома партии. Зазвал он меня домой, пообедали вместе, что было у него под рукой, чем придётся. А потом я встретил его секретарём райкома в Нарышкино, а первым секретарём райкома – в Покровском. И вот он уже в Орле, секретарём обкома по сельскому хозяйству. И всюду за его спиной чувствовалась тень Харитонов – редактора «Орловского комсомольца».

В «Комсомолец» к нам тогда всех притягивало, как магнитом. Дмитрий Блынский, поэт, в «Орловской правде» работал, а к нам тянуло его, особенно к Харитонову. Харитонов Гена возил нас потом на родину Блынского в Покровский район, в колхоз «Заветная мечта». Это когда уж поэта не стало. Собирали мы его земляков и читали известные всем стихи:

*«Пойдём в мой край,
В поля, в луга Орловины,
Нигде я лучше края не встречал.
Я тут на «ты»
С любим ручьём и рощею,
Тут для меня начало всех начал.*

*Пойдём в мой край,
Где первоцветы веешние
Весною по-особому цветут.
Тут сказки ты узнаешь
Только здешние,
«Матаню» нашу встретишь
Только тут.*

*Тропинками извилистыми, узкими,
Пойдём в мой край, где земляки мои,
Где по соседству*

*С соловьями курскими
Поют не хуже
Наши соловьи.*

*Пойдём в мой край,
В поля, в луга Орловщины,
Нигде я лучше края не встречал.
Я тут на «ты»
С любимым ручьём и рощею,
Тут для меня начало всех начал».*

Поехали мы с сыном однажды в Покровское и встретились с двоюродной сестрой Харитоновы Гены.

– Только что был тут, – сказала она. – Читал стихи Дмитрия Блынского, побывал в «Заветной мечте». Музей создают там, на родине Блынского, отвёз туда первые экспонаты. Сказал председателю Петухову, что скоро приедет к ним в «Заветную» с Егором Семёновичем Строевым. Отдать дань уважения Блынскому как поэту, патриоту земли орловской, мастеру русского слова.

Уехал Харитонов Геннадий Иванович в Москву, взяли его в издательство «Молодая гвардия», в журнал «Комсомольская жизнь», и всё без него в «Орловском комсомольце» стало совсем по-другому. Редактором поставили его заместителя – Ивана Рыжова. Тот же вроде бы кабинет, те же вроде идеи, та же газета, а вот не хватает чего-то, какой-то «изюминки», не хватает образования, заочником был, не хватает самого Харитонова. Напишу очерк, бывало, на Доску лучших повесят, флажок поставят на стол, в пять рублей премию дадут, а тут хоть что напиши, даже спасибо не скажут. Только о себе редактор и думает, как бы проскочить ему через заочную сессию в литинституте, как через замочную скважину.

Отключился я от всего. «Ладно, – думаю, – не до жиру, быть бы живу». И стал потихонечку заниматься литературой. Напишу рассказ, до редактора дело дойдёт, а он его в корзину. Напишу стих, а дядя Витя Дроздилов, дружок его и поэт, раздолбает их устно, а редактор опять

же в корзину. Просто жить стало творчески невозможно. Напишу строк пять для самых маленьких, это ещё пройдёт, а «дядя Витя» возьмёт и вставит мою строчку в свои стихи. Например, у меня про мальчика, у какого сбиты коленки, потому что сухарь в руках его перевесил. Поэт Дроздилов тут же создаст пламенные строки о том, что

«Вдруг на землю он упадёт,
Просто сердце его перевесит».

Поехал я как-то в Москву, решил заглянуть в издательство «Молодая гвардия», в журнал от него «Комсомольская жизнь». «Дай, – думаю, – Харитонову Гену проведу. Как он там, как семья его: жена Зоя, двое детей – мальчик и девочки, оба на Гену похожи». Прихожу в журнал, встречает меня Слава Дерюгин, вместе работали в «Орловском комсомольце», Гена взял его к себе туда. Слава работать умеет, как говорится, на славу.

– А Геннадия нет, уехал в Сибирь, в город Шелехов, – сказал мне Слава Дерюгин. – Там орловцы работают, строят какую-то ГЭС... Две генеральские дочки в нашем отделе сидят. Как пробки. Ленивы, ни черта писать не хотят или не умеют. Скоро и я отсюда смотаюсь. На Шпицберген уеду, где наши уголь добывают, там наша концессия...

Пошли, выпили пивка с ним в последний разок, вспомнили добрым словом Харитонову Геннадия Ивановича. С тем и расстались. Больше друг с другом мы не видались. Вернулся я в Орёл, в свой «Орловский комсомолец», а тут всё также, напряжение всё нарастает, нарастает. Дело тогда шло к тому, о чём я уже рассказал. Как я написал очерк «Берестяные песни» про пастуха, который пел на берестинке всякие птичьи песни. В секретариате очерк хотели разрубить пополам, но я не отдал его, отнёс в «Орловскую правду».

Спасибо, в зам. редакторах в «Орловском комсомольце» оказался Муссалитин Володя. Откуда он взялся, не знаю. Мать его в Нарышкино была когда-то учительницей. Сошлись мы с Володей, очевидно, характерами, и потаёнными мыслями, вспомнили Харитонову Гену. Мне

понравился рассказ Муссалитина «Мальчик с парусом за спиной», а ему – стихи, которые я ему прочитал когда-то, стихи Дмитрия Блынского.

Яблоня

*Пусть немножко ёжится от холода
И грустит, что целый век одна.
Всё равно сегодня очень молодо,
Очень бодро выглядит она.*

*День морозный, небо тёмно – синее.
Я стою, влюблённый, перед ней.
На ветвях такие шапки инея,
Что не видно и самих ветвей.*

*Радуюсь такому дню погожему,
Я хотел бы забежать вперед,
Повторяя каждому прохожему:
– Посмотрите, яблоня цветёт!*

– Обалдеть можно от таких стихов! – сказал я Муссалитину, прочитав стихи Дмитрия Блынского. – Я об этом Блынскому сам говорил, когда мы дежурили в типографии, он – от «Орловской правды», а я – от «Орловского комсомольца». Я об этом и свои стихи написал. Про его эту яблоню, так она меня тронула.

Я всему учился быстро. Поработал в должанской газете, и уже через две недели написал три очерка, один всю заполнил газету. В «Орловском комсомольце» через те же три недели я по сути очерк освоил как жанр. Написал один за одним про друзей своих: «Ave Maria» про Юрия Позднякова – музыканта, «Фауст» про Генриха Рыбникова – педагога – философа, «Сольвейг» – про Ивана Алексеевича Семеновского, учителя- скульптора. И всё же не столько это определило меня как журналиста, а то, что своего рода

учителем стал для меня Харитонов Геннадий, редактор наш, «движитель прогресса», созидатель всяких идей и путей к их осуществлению. Именно «Орловский комсомолец» становился для многих из нас, молодых журналистов, тем ключом к миру свободных, раскрепощённых идей, которые властвовали тогда, в 60-е годы, и в журналистике, и в литературе, в которой вызрела тогда литература, так называемая «деревенская проза». Лично для меня она, несмотря ни на что, заключалась в нашей молодёжной газете, в редакторе её Геннадии Харитонове, в её вожаке. До сих пор храню память о нём и как о человеке, и как о «генераторе» всяких идей для людей.

Незаметно как-то ушёл он от нас, от корпуса журналистов и братьев – писателей. Посчитайте, сколько вышло из «Орловского комсомольца» тогда «борзописцев пера», членов Союза писателей: Владимир Муссалитин, Виктор Дронников, Василий Катанов, ваш покорный слуга, Иван Рыжов, Анатолий Шиляев, а ещё и тех вокруг молодёжной газеты, которые выступали в журналах и газетах, выпустили немало прозаических, и поэтических, публицистических книг. Геннадий Иванович мог бы быть среди нас до сих пор, да сгубила проклятая, перед какой он не мог устоять.

*Посвящается Геннадию Харитонову
Сады моей памяти
(с Аполлинером)*

- 1. У меня была смелость назад оглянуться,*
- 2. Где усопшие к нам сюда, в дни мои, рвутся;*
- 3. Отмечая свой «М», я оплакивал их,*
- 4. Гнивших при православных церквах*
- 5. Или цветущих в садах и лесах,*
- 6. Полных сладких плодов золотых.*
- 7. В то же время, к осеннему ближе сезону,*
- 8. Мы рыдали о серости – прожитых днях,*
- 9. Серебрились ветрами букеты в глазах.*
- 10. О мулатка! Он тобою рождён, этот стих.*

11. Розы нежно искрятся, когда с электричеством славите.

12. Помню полузакрытыми сады моей памяти.

ВЕЧЕР

(без Аполлинера)

Орёл, свалился с неба, где архангелы

Одни, великолепные, живут.

Вы поддержите, поддержите равенство,

Там помолитесь, подломитесь тут.

Гора металла город. И звезда –

Единственна, в сверкании глазниц.

Свой мир вливает в города –

А трамвайный клип, в сияние жар – птиц.

Я под огни в глаза твои бегу,

Снегами искр не утоляя жажды.

Из газовой трубы я пью пургу.

О мухомор, тебя травили дважды!

Твоя рука – спираль вокруг огня,

А скоморох что вытянул язык?

Висит фантом, в смоковницу звеня,

Сноп искр слепых к смоковнице приник.

Моя любовь, играй, не суесловь!

Гудят, гремят колокола судьбе.

Вот видишь, руки вытянулись вновь

И все по направлению к тебе.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ГУБЕРНАТОР ПРОВИНЦИИ

Как скоро он стал Первым Губернатором Провинции.
Учился, наверно, быстрее меня. В Орле трио баянистов,
втроем создали симфонический оркестр и назвали его

губернаторским. Мне кажется, по очереди они были его дирижёрами. Но настоящим дирижёром всего большого симфонического оркестра области – всей Орловщины – стал он, этот Первый Губернатор Провинции.

Случай сводил меня с ним несколько раз. Первый из них – это когда он был бригадиром. Следующих была целая цепь, череда. Но самым первым случаем, когда он уже был Губернатором, я считаю встречу с ним у него дома, в День его 50-летия. Дело в том, что он знал меня, нашу семью ещё и по другому, как говорится, каналу: Марина – дочь его – учила со школы французский язык и поступила на иняз Орловского пединститута, на отделение французского языка, где работала моя жена Людмила Серафимовна. Она учила Марину. Вот мы и оказались дома у Губернатора на первом его Юбилее, когда Орловский архиепископ Паисий прислал ему 50 алых роз, по числу прожитых Губернатором лет.

Потом мы были однажды в Москве, в ресторане Академии общественных наук, где он учился на кого выше, чем Губернатор Провинции. Нас было четверо: он и мы втроём – всей семьёй, да ещё один человек – ректор одного из орловских вузов, который потом работал ректором долгое время.

И когда у Губернатора не так давно отошла в мир иной жена его Нина Семёновна, мы также втроём – всей семьёй – переживали это.

Иногда Губернатор Провинции, встречаясь со мной, откровенно высказывал желание, чтобы я как писатель и журналист стал его «летописцем». Однако этого не получилось. И, когда, помнится, на одном из юбилеев Орловской писательской организации его назвали почётным писателем, членом этой организации, он, как мне кажется, как-то победно глянул на меня и сказал в зале всем остальным иронично:

– Ну, хорошо, хорошо. По чётным, а по нечётным?

– А что? – смотрел из зала я на него, помня его ещё бригадиром. – Можно и по нечётным.

И когда у него оказался перерыв в его генерал – губернаторстве, когда Губернатором Провинции год всего был Юдин Николай Павлович, родом из Малоархангельска, я и написал драматическую трилогию про Главного Губернатора Провинции, которую так и назвал «Губернатор Провинции». Вот отрывок из этой трилогии, из её третьей части – героической драмы «Последний зубр» (из книги «Кремль. Соловки», Орёл, 2006).

«Действие первое»

Контора заповедника на прикордонной поляне, кабинетик Крупина. Рядом избушка деда Николы. Вдоль опушки свежееотёсанные столбы, по которым протянута железная сетка.

Сцена первая

«Третий глаз» – красноватый взгляд исходит от мерцанья Венеры. Старый могучий Зубр стоит на опушке, у высокой железной стенки.

КРУПИН (обращаясь к нему). Ну что, Беловежская пуща, развалил Советский Союз?

ЗУБР (во всю глубину леса). Не-а, не-а, не-а-а-а... Это вы, люди, развалили, а я всё живу-у-у...

КРУПИН (отходя в сторону). В Беловежской пуще застрелили последнего, а у меня тут живёт. Как сохранить, продлить его род? Вот в чём вопрос. Не дать исчезнуть виду, как и народу нашему, с лика Земли.

(В сторону, в воображении), Зубр! Ты на каком языке говорить?

ЗУБР. На своём, на языке зубра. Но кругом уже говорят на другом. Смотри, говорят на языке Запада и Востока.

КРУПИН (с болью). Да знаю, знаю!

ЗУБР. Это Наполеон сказал: не хотите кормить свою армию – будете кормить чужую. Не хотите кормить зубра – будете кормить волка, чёрную пантеру.

КРУПИН. Думаю, как научить тебя свободно владеть языком человеческим.

ЗУБР. Русским, да? Языком Пушкина и Толстого, Есенина?

КРУПИН.. Ты мудрый, Зубр. Мы с тобой одиночки. Как найти нам общий язык, войти в сферу друг друга? Проникнуться, перейти границу между зверем и человеком.

ЗУБР. Человеку надо перестать быть зверем.

КРУПИН.. А зверю стать человеком.

ЗУБР (на весь лес). Да-а, да-а-а...

КРУПИН (тряхнув головой в сторону). Что это – наваждение? Это мне показалось? Ни зубра, ни железной сетки передо мной. Лес, только лес шумит, русский лес. Ещё одно испытание. Давно ли, кажется, я был губернатором всей этой провинции, стоял у кормила власти? Теперь директор заповедника – этой родной краюшки земли, между лесом и степью. В штате всего двое – я да егерь дед Никола. Вон его кордон, изба углом сюда. Уже затопили печку, валит дым из трубы. Так и живём вдвоём, за делами да разговорами. Да ещё, так сказать, нештатный состав – всякая звериная и птичья братия. Главный из них – этот старый, но могучий Зубр – реликт, последний из исчезнувшего рода.

И как он тут оказался? Когда собрались в Беловежской пуще, чтобы решить судьбу великой страны, думали, что застрелили на охоте последнего. Сняли шкуру, растянули между деревьев, били в шкуру, как в барабан. А этот ушёл из-под выстрела, сбежал с Беловежской пущи. Прошёл трудный путь – белорусскими, брянскими лесами, тропами, сюда, до Полесья, надеясь укрыться, тут найти для себя защиту. А дальше – степь, идти дальше некуда. Пригрел старого зверя егерь наш, дед Никола. Теперь с дедом Николой и морокуем, как нам дальше с ним быть? Как сохранить вид, сохранить Последнего Зубра на бессмертном лице Земли? Сколько уж видов попали в Красную книгу? На памяти человечества где-то у Алеутских островов исчезла селенгерова корова – типа тюленя. Смирный, легко приручаемый морской зверь, мясо с отличными вкусовыми качествами. Одним словом «морская корова», можно было бы заводить подводные фермы, исчезла такая возможность...

КРУПИН (крича в сторону кордона). Эй, дед Никола! Как называют быков–то, что были в Северной Америке? Недавно, в девятнадцатом веке...

ДЕД НИКОЛА (появляясь на пороге с охапкой дров). Степаныч! Меня кличешь?

КРУПИН. А кого же? Тебя. Как быков называют, что исчезли в Америке? Что ковбои перестреляли. Миллионные стада бродили по саванам. Ну, как называются? Стопор в голове какой-то, короткое замыкание...

ДЕД НИКОЛА (издали). Бизоны! Погляди в книгу природы, там они – на 525 странице.

Старый егерь уходит со своими дровами в избу.

Сейчас дед Никола перешвыряет в русскую печку дрова. Поставит самовар и позовёт пить чай. Чай пьётся вместе – на кордоне у старого егеря. Едят при этом, что бог, как говорится, послал. Что вырастет на огороде и что дадут дары леса, что привезут ему, Крупину, из города. Готовит жена дедова – бабка Варвара. Да вот третий день без бабки они с дедом сидят на чаю... Спишь же ты, Крупин, отдельно – в конторе заповедника. В небольшой комнатушке при кабинете, тут у тебя «логово зверя».

А жена твоя, Анфиса Сергеевна, за тобой сюда из города не поехала. В эту глушь, в сибирскую ссылку. Привыкла к сладкой жизни. Сыновья уже встали на ноги, живут со своими семьями – один в Москве, другой – на Дальнем Востоке. И Анфиса в городе одна, дорабатывает до пенсии, неофициально просто не хочет ехать сюда... «В деревню, к дяде, в глушь, в Саратов»...

Последнюю фразу Крупин произносит вслух. На звук его голоса, между деревьев показывается крупная, сумрачная фигура Последнего Зубра.

КРУПИН (замечая его, вслух). Ну что, мой дорогой человек? На фразу насчёт Советского Союза мы обиделись, ушли куда подальше, в глубь леса? А вот на эту фразу вернулись обратно, явились «в деревню, к дяде, в глушь, в Саратов». Жалеешь меня, одинокого? Ругаешь Анфису Сергеевну, что носу сюда не кажет? Бросили

бабы нас с тобой, никому мы с тобой не нужны. Зернее, бросили меня, у тебя ситуация круче. Твои подруги пали где-то в Беловежской пуще. Твоими подругами могут стать коровы, что тут по дворам и по фермам. Не отрицай, хорошенько подумай, что ты скажешь мне насчёт этого? А я с учёными посоветуюсь...

Зубр кивает головой, фыркает, скалит зубы.

КРУПИН (доставая сахар из кармана, сует ему в губы). Веришь-не веришь? Ну, и не верь. А мы что-нибудь придумаем, как род твой продолжить. Поддержать дух тебе...

Лес шумит всё сильнее, листва сыплется на голову Крупина, на тело Зубра.

КРУПИН. Октябрь-золотая пора. Красота-то какая! И ты, Зубр, сам-то Красота в Красоте! Седоватый, с белым ремнём по спине. Хватит сил одолеть предстоящую зиму?

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯНОВСКИЙ
(«Орловская правда»)
«ГОЛУБАЯ ДИВИЗИЯ»

И вот я в «Орловской правде». И самый яркий из людей, что там были, это, оказывается Анатолий Николаевич Яновский. Не подумал бы сначала о том, что будет в конце. Я уже говорил о нём в эпизодах, которые всплыли в моей памяти, но цельного портрета как-то не получалось. Скорее всего оттого, что стержня не было, не назывались эпизоды на стержень общей картины жизни этого человека.

Сначала я даже как-то плохо думал о нём. Вот сижу в комнате, в своём отделе культуры, письма трудящихся правлю, статьи «заавторские» пишу, и всё мне думается, что он ни хрена не делает, знай себе бегаёт по этажам, по начальству и указания мне даёт то по одному, то по другому вопросу. Эпизод с одним вроде автором вос-

принимался мной даже не без ехидства. Пришёл к Яновскому друг его молодости (ещё в школе, что ли, вместе учились), верзла такой, после нескольких слов хватъ чернильницу со стола и что есть силы запустил её в Анатолия Николаевича. Тот едва увернулся. Чернильница о стенку вдребезги так и разлетелась. Чернильное пятно долго напоминало о случае, пока стенку не забелили, уничтожив следы авторского вмешательства в нашу жизнь, в нервную нашу журналистскую практику.



И всё-таки, в любом подобного рода случае, я не становился на сторону тех, кто это себе позволял. Обходил стороной всё, что бы ни произошло. Однажды во время моей работы ещё в «Орловском комсомольце», коллега с острым пером писателя и журналиста прокатил Яновского «верхом на канистре», и это вызвало всеобщий восторг. «Канистра» помнилась долго, но больше нигде не применялась как жанр профессиональных усобиц и тип личных взаимоотношений. Не любил я такие вещи, и Анатолий Николаевич, видимо, ценил это качество и относил мою натуру к порядочности, которая вообще-то была характерна для моей профессиональной деятельности, но не характерна для многих других. Всё это было для него конкуренцией, конкурентной средой, конкурентов, которых я лично воспринимал и на самом себе. Анатолий Николаевич не казался мне крупным масте-

ром, художником слова ни вообще в журналистике, ни в литературе, где он был членом Союза писателей. Однако был точен и объективен в газетных материалах, многосторонний, знающий как литератор. Перед войной он закончил МИФЛИ (Московский институт философии, литературы, истории). Таких в Орле было трое. Это сам он, Афонин Леонид Николаевич (сначала директор музея Тургенева, затем преподаватель литературы в Орловском пединституте) и Песиков Матвей Ильич – преподаватель истории в том же пединституте. Они дружили потом всю жизнь. И вот примеры.

Когда прямо на писательском собрании Леонида Николаевича хватил удар, от которого он и умер, Анатолий Николаевич ходил сам не свой, говорил и писал об этом как о трагическом событии в нашей культуре. Когда у Яновского был юбилей, он пригласил домой, конечно, Песикова и ещё, чего я не ожидал, и меня. И ещё Яновский как-то позвал меня к своему другу – фронтовику, который жил на Посадской напротив дома Леонида Николаевича Афонина. Из разговора я заключил, что они втроём дружили как фронтовики. Конечно, мы говорили о Леониде Николаевиче Афонине, ещё бы, окна его дома были напротив. Конечно, Яновский и друг его Песиков вспоминали войну. Анатолий Николаевич был на войне рупористом.

– Это как минёр, – говорил он. – Опасная профессия. По разложению войск противника. Сидишь с рупором на передовой и вещаешь им на немецком языке: «Ахтунг, ахтунг! Сдавайтесь ... вы окружены... Гитлер войну проиграл»... И так далее. И по тебе, конечно, начинают стрелять из всех видов оружия. Как снайпер ты вызываешь огонь на себя. Один, как снайпер, а вредишь многим...

– Вот кого я не видел в войну, – говорю я, – так это ни снайперов, ни рупористов. Зато видел самого Рокоссовского, в 43-м, в Малоархангельске, во дворе старой школы.

– Сколько ж тебе было? – спрашивают меня фронтовики.

– Около восьми. Но помню всё до сих пор.

Яновский был из фронтовиков, который говорил правду, правду, и ничего больше. И я потом это узнал, когда работал с ним в «Орловской правде». Лично я, например, не знал, что такое взятка, мзда, подаяние чего-то, даже бутылки, я же не пил. А один чужак был в культуре руководителем ансамбля. Увидит меня на улице, кричит издали, машет рукой: «Лучшим людям Орла!» Пройдёт в газете о нём какая-нибудь «информушка», а он уж бежит ко мне в редакцию со своей бутылкой. А на что она мне?

– Ну ладно, – говорю, – если тебе так хочется, – и показываю на шкаф, – швырни – ка туда.

Придёт Яновский:

– Ну, как ты тут?

– Да вон, – киваю я на шкаф. – Бутылку принесли.

После работы возьмёт он её, зайдёт к дружку своему Алексею Хорошилову, и пойдут они с ней, как с чадом своим, куда им заблагорассудится. Этот Хорошилов был из тех, что на летучке, когда тебя кроют, сидит и молчит, а как всё это закончится, идёт молча по длинному коридору. Но как только зайдёт за угол, где наши две комнаты, так бросается к тебе и давай обнимать, прямо-таки ласкать, говорить восхваляющие слова и о тебе самом, и о твоём очерке, который только что долбали на этой самой летучке.

Называлось всё это «двойной стандарт», лицемерие было характерно для нашей газеты. Только именовалась «Орловская правда», а где была она, правда? Бывало, зайдёт ко мне Саша Макушев после обеда, когда спадает всякая горячка по подготовке материалов в номер, приляжет этак на стол боком да и начнёт на своего зав. отделом Виктора Васильевича Шуматова бочки катить, а я молчу. Не было у меня такого в привычке говорить что-нибудь нехорошее о человеке у него за спиной. Подходит как-то ко мне Михаил Орлов – зав. отделом партийной жизни, заочно его называли у нас «вторым» замом редактора, да и говорит:

– Переходи ко мне в отдел, будем вместе работать. Я у тебя буду надёжная крыша. Никому в обиду не дам.

– У меня, – говорю, – на это Яновский есть. Тоже надёжная крыша. – И шучу: – Рупорист! Работает хорошо по разложению войск противника.

– Ну, как знаешь, – улыбнётся Миша Орлов и пойдёт по длинному коридору своей дорогой.

Так и живём в «Орловской правде» до поры до времени, пока противник, то есть конкуренты, не перейдут в наступление.

А наше дело такое, тоже фронт. Особенно против того, кто пишет лучше, а то и значительно лучше. Вскоре это всё и обнаружилось. Первый зам. редактора Логутков, эти «вылупные глаза», родной дядя Игоря Лободина, у которого тоже глаза синие-синие. А сестра его так и вовсе красавица. Так этот, «вылупные глаза», когда ещё работал в «Орловском комсомольце», завёл там свою «клиентуру». К примеру, Рыжов был его человеком, когда служил ещё литсотрудником. А теперь, когда Харитонову Гену в Москву взяли, так уже и редактор.

Так вот, Логутков этот, «вылупные глаза», вылупил на меня свои синие, но некрасивые очи, молчал, когда меня как рассказчика отметили тут, в Орле. На областном семинаре. Это было примерно в феврале, марте, а к октябрю подходит время другого, более солидного семинара, определяющего творческую судьбу – семинара прозаиков и поэтов двенадцати областей в Туле. Я уже говорид, как меня в Орле не пускали в Тулу, как там высоко оценили мою прозу, как после долбать стали в «Орловской правде». Скажу только то, что касается личности Анатолия Николаевича Яновского, его «стержня», на который всё у человека нанизывается, особенно если ты не просто человек, а ещё и писатель.

Так вот, возвратился я после Тулы в «Орловскую правду», а куда ещё было мне возвращаться? Не то, что очерк, а любую «информушку» в корзину, любое слово твоё превращали чуть ли не в антисоветчину. Что де-

лать? Спасибо квартиру двухкомнатную уже получил, перестал ездить на работу из-за города, из комнаты общежития на «Химдыме», стал жить в Советском районе, на улице Интернатной. После одного такого разноса, когда некому было заступиться, даже заведующему отделом культуры Яновскому, я глубоко задумался: «как быть и что делать»? В многотиражку какую-нибудь, что ли, уйти и там коротать времечко, как, например, Леонид Лаврентьевич Сапронов, который написал и издал недавно кирпич прозы «Марс – звезда вечерняя»?

Прихожу к Мильчакову Владимиру Андреевичу. Он недавно переехал сюда в Орёл из Ташкента, где издавал журнал «Заря Востока» и основал тут у нас областную писательскую организацию. Рассказал всё ему, что со мной стали делать в «Орловской правде». Чем лучше, оказывается, пишу, тем для меня хуже.

– Ничего-ничего, успокойся, – поддержал меня многоопытный Мильчаков. – Что-нибудь придумаем. Мы тебя в Союз примем...

Он сам был тогда в Туле, своими глазами всё видел, присутствуя на Творческом семинаре двенадцати областей, где из прозаиков меня поставили на первое место, затем Игоря Лободина из Курска, затем после него Васю Белокрылова из Воронежа...

К сентябрю 1973 года моя рукопись, отмеченная на семинаре в Туле, вышла в Москве книгой «Берестяные песни». А в ноябре того же года на писательском собрании меня приняли единогласно в Союз писателей. Одним из тех, кто участвовал в этом весьма активно, был Анатолий Николаевич Яновский, остававшийся в «Орловской правде» зав. отделом культуры. В декабре того же года меня приняли на Приёмной комиссии в Москве и тут же утвердили на Секретариате правления СП. И всё это единогласно. Случай крайне редкий и тут, в писательской организации, и в Москве.

Это, конечно, хорошо. А что нехорошо? А то, что я нигде не работаю, денег шиш с маслом, в газетах меня не

публикуют. Как хочешь, так и живи. А у меня семья: жена учится в аспирантуре, сын – в третьем классе...

Но Орловской писательской организацией кто руководил? Многоопытный Мильчаков Владимир Андреевич. Через какое-то время в Орле появился филиал Воронежского бюро пропаганды художественной литературы, от которого можно было выступать в трудовых коллективах и получать кое-какие деньжонки. Копейки, но всё-таки что-то. А потом филиал превратился в самостоятельное Бюро пропаганды художественной литературы при местной писательской организации. Это было то, за счёт чего уже можно было как-то жить.

Мой пример вдохновлял писателей. Вася Катанов долго ещё говорил о том, как меня в Союз приняли единогласно, а Виктор Рассохин о том, что я первым показал себя как настоящий писатель: нигде не работал, кроме как в литературе, активно писал книги и не вымирал. Рисковал, конечно, уходя с работы, а кто из настоящих писателей не рискует? В «Орловской правде», когда их упрекали, говорили: «Он сам написал заявление, мы его не выгоняли». Особенно, когда пошли издаваться мои книги и читатели увидели, кто чего стоит.

Постепенно у меня рождалось собственное мнение, близкое к мнению художника Ильи Глазунова, услышанное мной по телевизору о Музее сословий, созданном этим крупным русским мастером:

«Наполеон разбит,
Москва очищена.
Европа спасена,
Франция восстановлена».

Недаром, когда впоследствии я стал ответственным секретарём Орловской организации, ко мне в кабинет явился этот с «вылупно-синими» глазами. Ему надо было получить соответствующую бумагу с соответствующей подписью на издание его дурацкого «Пантелеймона Корягина» – газетного цикла, который он строгал и издавал

в «Орловской правде», как в симфоническом оркестре, где сам же и был в дирижёрах.

Однако, когда я ушёл из «Орловской правды» и стал членом Союза, даже её ответственным секретарём, я глубоко заблуждался, что получил, как говорится, свободу рук. «Свободу, равенство и братство» – так это только в правах человека начертано, в декларациях. А что же на самом деле? На самом деле всё зависит от таланта художника, от его возвышения над «толпой», как о ней отзывался народ в российской словесности сам Александр Сергеевич Пушкин. Хотите приведу его, чтобы удостовериться в этом?

«Поэту» (1830)

*Поэт! Не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдёт ненужный шум.
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.*

*Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд...*

ПОСЛЕ ТОГО

Что значит «после того»? После чего? А это после того «стержня», на который нанизался весь портрет Яновского, вся его жизненная ситуация, тот его «стержень», штрих, который был связан непосредственно и со мной. И что именно? Я уже говорил, как меня в Союзе писателей исключали из партии как раз накануне того, как Ельцин положил в Кремле свой партбилет перед генсеком Горбачёвым, после чего и развалился Советский

Союз. У нас это выразилось в том, что против меня на партсобрании проголосовали трое из пяти, то есть перевес оказался в один голос, всего один человек решал мою судьбу. И я знаю, кто это был: Иван Чужов, который вёл меня «по конопям» в последние годы. Кто-то примыкал к нему, как Шипилов, кто-то «отмыкался» от него, но сам он был, как замок. Держал меня в шорах и не должен был выпускать меня на простор как писателя и журналиста. Так-то бывает, когда художественный талант, твоя этика и эстетика превышают среднедопустимую норму.

Это всё теория, а на практике? А на практике так. Едем мы в Должанский или Кромской район выступать по линии Бюро пропаганды художественной литературы. В бригаде трое: ваш покорный слуга, Яновский Анатолий Николаевич и Виктор Рассохин. А туда впереди нас уже из обкома полетела депеша. Это звонит из сектора печати или сам И. Р., или кто-то из его приближённых и сообщает всякие обстоятельства, порочащие меня как писателя и журналиста, да и просто как человека. Ну, конечно, пятно ложится на всю нашу бригаду.

Утром поднимаемся в гостинице рано, прибываем в намеченное время в намеченную точку – в РТС (ремонтно – техническую станцию, где ремонтируют сельхозтехнику). А там уже бригада – из идеологического отдела райкома партии. Постепенно просторный цех заполняется трудовым народом. Людей всё больше и больше, приходят даже из соседних предприятий. Выступаем мы, как всегда, и ёмко по времени, и насыщено по программе. Конечно, выступление посвящено предстоящему 9 Мая – Дню нашей победы. Ну, и как это может быть плохо, когда Яновский Анатолий Николаевич был фронтовиком, рупористом, в составе Первого Белорусского фронта штурмовал Берлин, а мы с Рассохиним – дети войны, я даже видел в 43-м году на Орловско – Курской дуге Рокоссовского. Перед нами в зале пожилые и молодёжь, сами фронтовики и те, которые пока не нюхали порошу и, слава богу, не надо нюхать. Конечно, вопросы, апло-

дисменты, даже овации трудового народа – ремонтников тракторов и комбайнов, сеяльщиков и даже работников ферм. Аплодируют нам даже те, какие пришли сюда от райкома, среди них и те, что специально приехали из сектора печати, из Орла.

Подходят к нам и руку пожимают, благодарят. И это как допуск к работе не только в этом районе, ни и вообще к 9 Мая – Дню победы, отмечаемому всей областью, как и всей нашей страной.

– Анатолий Николаевич, – говорю я Яновскому, – это вам аплодируют. Вы у нас командир, вы бригаду ведёте.

– Нет, ребята, – говорит Яновский, рупорист, разлагавший в войну противника, – и вы молодцы.

Такие-то вот дела, жена негра родила, как говаривал, бывало, мой друг скульптор Валентин Александрович Чухаркин. И вот мы в другом районе – в Кромском. Выступали за речкой, в Кромском железнодорожном узле – на новой железной дороге из Орла на Железнодорожск. Выступили, как обычно, успешно, возвращаемся, как обычно, на базу. Ещё одно выступление в самом посёлке, и трудовая неделя закончена. Рассохин летит стрелой впереди, любит деньги: как это опоздать и пропустить выступление? А Яновский – пожилой уже человек да ещё с больной ногой, идёт позади всех, едва тащится.

– Виктор! – кричит Анатолий Николаевич. – Не спеши, подожди...

А тот ещё быстрее, прямо пулей летит, как будто за это ему по путёвке больше заплатят.

– Витя, – говорю я ему. – Ты что, сдурел? Не видишь, человек не может идти.

– Ну, и что? – отвечает Виктор Рассохин. – Попозже придёт.

– Так у нас же бригада, – приостанавливаю я Рассохина. – Вместе должны приходиться, ждут всех троих... вместе, а не врозь...

– Это как фронт, – приближается к нам, прихрамывая, Яновский. – Раненых не бросают на фронте.

– Всё война вам мерещится, – в сердцах говорит Рассохин. – А война давно уж закончилась.

– Это у тебя, Витя, – говорю я Рассохину, – а у нас ещё нет.

Через час, снявшись с якоря, то есть выписавшись из гостиницы, мы сидели уже в ресторане, куда пригласил нас Яновский.

– Деньжонки у меня пока водятся, – сказал он, заказывая графинчик. – Зарплата, военная пенсия, ну, и в будущем за выступления заплатят... Хотел бы поблагодарить вас, ребята, за то, как вы говорите народу, за ваши слова и стихи о прошедшей войне, перешедшей в мирную жизнь.

– Слышал? – толкаю я Виктора. – Не стыдно тебе?

– За что?

– Как ты пёр от вокзала. Как танк, – говорю. – А ведь надо было для спокойствия всего-то его подождать... Анатолий Николаевич, откровенно сказать я от вас такого не ожидал, каким вы душевно открываетесь на выступлениях перед народом. Совсем другое дело было там, в «Орловской правде», где мы работали вместе.

– Мы и тут работаем вместе, – сказал Яновский, фронтовик, рупорист по разложению войск противника. – Так, Виктор Васильевич?

На автостанции мы прочитали на стенке, что на днях в Кромы, к своим землякам, приезжает известный композитор Геннадий Гладков.

– Это который – автор «Бременских музыкантов»? – спросил Виктор Рассохин.

– А то кто же, – ответил Яновский, а я запел известную песенку из «Бременских музыкантов»:

– Ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля,

Трам-брам...ля-ля...

И ещё мне вспомнилась встреча с Яновским на как бы нейтральной полосе, в Доме творчества в Галицыно, это от Москвы по Белорусской дороге. В году этак 1985, когда Игорь, мой сын, приезжал туда ко мне во время своей учёбы на ВЛК (Высших литературных

курсах) при литинституте. И был тогда там поэт такой Тряпкин, фамилия не поэтическая, как и у Пысина – белорусского поэта, а стихи оба писали хорошие, особенно Тряпкин. Не хотел ведь фамилию менять на какой-нибудь псевдоним. «Скорее всего, – думаю, – читал поэт Тряпкин стихи кому-то, а тот его хорошенько и угостил. Пошёл Тряпкин со своего второго этажа на первый и не дошёл». Прибежал Игорь ко мне и говорит взволнованно:

– Папа, а Тряпкин-то на полу лежит возле лестницы.

– Как это? – всполошился я. – Такой хороший поэт, такой поэт! И лежит?.. Иди к Алёше – сыну одного московского поэта – вдвоём перенесите Тряпкина в его комнату...

На другой день с утра в столовой вижу Яновского. «Не с Тряпкиным ли они, – думаю, – крепко вчера посидели. Хотя вряд ли, у Анатолия Николаевича есть голова на плечах».

Вечером пошли в кинотеатр, в парке он рядом с писательским Домом творчества. Показывали фильм по Льву Толстому, кажется. «Отец Сергей» или что-то в этом роде. Пришли мы с Игорем в кинотеатр, сели вместе с Яновским.

– Вчера приехали из Орла или сегодня утром? – спрашиваю я его.

– Вчера. А что?

– Да ничего, – говорю. – Ну, и что там, в Орле у нас, новенького?

– К. Р. готовит писательское собрание.

– Это кто же К. Р. – Константин Романов? И. Р., наверно?

– А кто же.

– А по какому вопросу?

– Вот тогда поглядишь...

Думал я – думал, ломал – ломал голову, да так и не додумался, по какому вопросу И. Р. готовит серьёзное писательское собрание. Пусть готовит, а мы тогда поглядим. «А глядеть поздно будет, – шепчут во сне мне мистики –

духи. – Заранее надо всё предусматривать и принимать меры... «Ты умный, – говорил мне А.А. Лабейкин, – а надо быть мудрым. – «А в чём разница?» – говорю. – «А в том, – отвечает, – что умный попадает впросак и выкручивается. А мудрый впросак не попадает. Всё предвидит, наперёд, чувствует, как впросак не попасть».

Поэт (1838)
(М.Ю. Лермонтов)

*Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надёжный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал, –
Наследье бранного востока.*

*Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной спине провёл он страшный след
И не одну порвал кольчугу.*

*Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишён героя спутник бедный;
Игрушкой золотой он блещет на стене-
Увы, бесславный и безвредный!*

*В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Своё утратил назначенье,
На золото променял ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?*

*Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.*

*Твой стих, как божий дух, носился над толпой;
И отзыв мыслей благородных*

*Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.*

*Проснёшься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?*

* * *

И вот, наконец, я появился в зоне действия И.Р. – в Орловской писательской организации. Как я уже рассказывал, всё проходило по тому же стандарту, что и в «Орловском комсомольце», а потом и в «Орловской правде»: сначала тебя ставили на пьедестал, а потом низвергали с Ниагарского водопада в пучину. Так и в писателях: сначала принимали тебя в Союз единоголосно, а потом низвергали на самое дно. Уж и не помнили за что, какова была первопричина свержения, с чего началось партсоборание, но вот второй круг готовился куда более тщательно, чтобы исключить меня из писательской организации, из писателей. Более широкий круг писателей сочинял удавку на моей шее, схему моего низвержения. Но что-то у них не получалось. В таком случае можно назвать не только И.Р., но и ещё ряд других его сателитов, таких, как Л.Ю.М. – условно («люминисцентная лампа», И.В.А.» – условно «ива, ивушка неплакучая», «Г.Е.» -как художник дизайнер XX века, но и других. Все заслуженные деятели, серьёзные люди, бывшее начальство, им бы в литературе такую прыть, какую они демонстрировали в этой «охоте на ведьм», которой они утешали себя в своих отношениях со мной как источником своего раздражения и инакомыслия, а также временами нашего мирного существования.

Не будем повторяться, показывая, как они пытались всё это сделать тогда ещё, на первом этапе. Мой вопрос в повестке дня так замаскировали, что невозможно было представить, даже интуитивно предугадать всё тот же пре-

словутый турецкий вопрос о Босфоре и Дарданеллах. Но Крым как на карте мира существовал, как был для янычар источником постоянного раздражения, так и оставался, от этого невозможно было избавиться, не избавившись от Севастополя. Однако возьмём сразу быка за рога.

Первым на собрании стоял вопрос о выдвижении сборника стихов поэта Виктора Дроздикова на Государственную премию, однако квалифицированное большинство в этом ему отказало, и тогда в Вите Дроздикове выиграло ретивое, и он внёс давно вынашиваемое предложение: а не исключить ли нам Л.З. (Лизу Калитину), то есть меня, из членов собрания, то есть из писательской организации, иными словами из Союза писателей?

Собрание тут же взорвалось, как пять килограммов в тротиловом эквиваленте, и образовались, как давно зрело и предполагалось, две половинки, два лагеря. Шум и гвалт, какой-то бардак, не поймёшь, кто за что и против кого. Я, как потом рассказывали мне, сидел на своём рабочем месте за круглым столом и белый весь, и помертвев. И тогда поднялся писатель Яновский Анатолий Николаевич и как старейший член организации сделал соответствующее заявление:

– Я не согласен с теми, кто стоит за таким предложением. И, поскольку не вижу тут конструктивных сил, противостоящих назревающему событию, покидаю собрание.

И тут же вышел из-за стола. Пауза. Мёртвая тишина. За ним встали и последовали другие.

– Ну вот, – поднялся и я, сказав рыцарям круглого стола: – Нашёлся хоть один честный человек.

И тоже покинул зал. Тут же из Москвы, из Союза писателей, приехала Марианна Васильевна, она была чистильщиком, точнее, гасильщиком всех пожаров в организациях, мастером по улаживанию конфликтов.

– Леонард Михайлович, – явилась Марианна прежде всего ко мне домой. – Я же вам говорила ещё тогда, в первый раз, когда приезжали ответственные секретари из

Твери и Воронежа, уезжайте вы из Орла, делать тут вам больше нечего. Видите, как они настроены...

– Никуда я не поеду! – сказал я решительно. – Ни в Тверь, ни в Воронеж. Хотя Тверь расположена очень удобно по отношению к столицам, а Воронеж – мой родной город.

Это был последний «карбункул» – огромный нарыв на спине, от которого по сути дела умер когда-то мой дедушка Герасим Макарыч. А дальше дело всё приняло затяжной оборот. Как двустороннее воспаление лёгких, вернее, мерцающая аритмия. Тлеет, тлеет болезнь с обеих сторон противостоящих друг другу, а победить ни та, ни эта сторона не могут естественным образом. Без хирургического вмешательства. Все мы стали как бы писателями – фронтовиками, а не только Яновский, который первым высказал прямо своё отношение к тому, что давно назревало в организации, и заслужил не только моё уважение, но и ещё и других, как мы считаем честных людей.

Вот это и стало тем фактом, тем самым моментом истины, который разделил всех на правых и левых, почвенников и авторитетов, очистил зерно от плевела, деревенскую прозу от городской.

В знак благодарности, когда Яновский уехал в Крым, в Дом творчества писателей Коктебель, чтобы набраться новых сил для предстоящей борьбы, и умер там скоропостижно, а я написал либретто к опере «Голубая дивизия», куда в число героев драматического произведения включил лейтенанта нашей армии под Сталинградом рупориста Яновского. Вот небольшой отрывок из пьесы.

«ГОЛУБАЯ ДИВИЗИЯ»

Действие первое.

Картина третья

Действие происходит в январе 43-года на волжской твердыне, во время великой битвы севернее направления главного удара. В глухой, заснеженной степи, куда забро-

шена так называемая «Голубая дивизия» – из итальянцев в голубых летних шинелишках, прохватывающих солдат жёстким степным ветром.

За пять минут до того тётка Матрона расхаживала с винтовкой перед своей хатёнкой. Появляется группа людей.

ТЁТКА МАТРОНА (лязгая затвором). Стой, кто идёт?

РАЗРОЗНЕННЫЕ ГОЛОСА . Да свои, свои.

ТЁТКА МАТРОНА (уже помягче). Кто свои?

СОЛДАТИК (в подстреленной шинели, выбегая вперёд). Да это я, мама!

ТЁТКА МАТРОНА (отшвырнув винтовку). Ой! Алёша! Сыночек ты мой!.. А это кто? (указывая глазами на людей, стоящих позади него.)

АЛЁША. Это со мной. Агитбригада.

АРТИСТЫ. Выехали из штаба фронта и вот до своей воинской части никак не доберёмся... Наткнулись на дозор, Алёша ваш и привёл нас сюда.

МУЖЧИНА (козырнув хозяйке). Лейтенант Яновский, рупорист.

ТЁТКА МАТРОНА (отступив на шаг). Кто? Кто?

АРТИСТКА. Наш человек, к нам штабными при- ставлен... (жеманно кричит, как в рупор немцам, по- немецки?) – «Ахтунг, ахтунг! Переходи к нам, сдавайся! Там – пушки, тут – пампушки».

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (заразительно смеясь и показывая на горизонт). Действительно, наши «пампушки».

Из хатёнки дружно повалили наружу солдаты из «Голубой дивизии», выстраиваются вдоль стенки, дружно делают руки вверх. Общий смех, все хватаются за животики.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Ничего смешного. Немцы, «зондеркоманда» уже где-то близко, чую, идут по пятам.

ТЁТКА МАТРОНА. Что за тобой идут – за одним?

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Рупорист я, работаю по разложению войск противника. Как снайпер, и один представляю ценность.

АРТИСТКА. В самом деле, важная птица.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (артистке). А вы кто такие? В темноте не разглядел.

АРТИСТКА (рассмеявшись). Шульженко.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (опешив). Как Шульженко?

АЛЕКСЕЙ, МОЛОДОЙ СОЛДАТ. Как Шульженко?

ТЁТКА МАТРОНА. Шульженко?

ОФИЦЕР, РУПОРИСТ. Та самая – Клавдия Ивановна?

КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО. А какая ж? Я одна тут на фронте, на всю страну одна – Клавдия Ивановна Шульженко. А это моя группа, со мной. Тоже артисты, мои товарищи. А эти вот кто? (кивнув на солдат из «Голубой дивизии».) А это что у них за маскарад? В каких-то голубых шинелях.

ТЁТКА МАТРОНА. Итальянцы это. Этот вот говорит, что он Энрико Карузо... оперу пишет...

КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО. Что – прямо тут и пишет? В хатёнке, ночью, во широкой степи?

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Теперь это наши военнопленные.

КАПРАЛ МУССО (выдвигаясь вперёд). Да я Энрико, но не Карузо, не Энрико Карузо, а Аланья, вроде Карузо. Пишу свою оперу – «Голубая дивизия» называется.

ШУЛЬЖЕНКО (иронично показывая на всю хатёнку изнутри). Что – твой театр, твой хор?

АЛЕКСЕЙ – СЫН ТЁТКИ МАТРОНЫ. Видите, это, что ль, хор имени Пятницкого?

ТЁТКА МАТРОНА (одёрнув сына). Не порочь наш хор, наши песни!

ЭНРИКО – АЛАНЬЯ. О божественные, божественные русские песни! О божественные, красивые русские женщины!

КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО. Арию какую-нибудь знаешь, показать можешь?

КАПРАЛ МУССО, ОН ЖЕ ЭНРИКО – АЛАНЬЯ. А вот. Ария Каварадосси. (запевая.)

«Таинственна гармония
Красоты необъятной...»
Кхе-кхе, распеваться надо...

КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО (оборачиваясь к своим).
Лена, Леночка! Это по твоей линии. Иди-ка сюда, чего скромничаешь? Ты же у нас оперная дива, певица. Перед войной даже проходила стажировку в театре «Ла Скала». Может, ещё и знаете друг дружку, встречались где-нибудь на подмостках?

На первый план выдвигается Лена Мостовская, Леночка – колоратурное сопрано, молодая певица из Москвы.

МОЛОДАЯ ПЕВИЦА (подавая кокетливо руку).
Лена, Елена Мостовская.

ЭНРИКО (отступив на шаг). Ого, это ты оперная дива? О, да, ты была у нас, помнишь? Пела в опере «Дочь полка» Доницетти.

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Энрико! Аланья! Энрико Карузо! Да, Энрико – Аланья! Представляете, имя какое! Сразу вместе, двойное имя – Энрико, Аланья! Видела, слышала, обожаю... Неужели ты уже капрал?

ЭНРИКО АЛАНЬЯ. Да, я, капрал Муссо. А это, правда, Шульженко?

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Энрико, спой ещё! Покажи себя... свои итальянские страсти.

КАПРАЛ МУССО . Итак, ария Каварадосси.

*«Горели звёзды
Благоухала ночь.
Дверь тихо отворилась,
Услышал я шелест одежды.
И вот вошла она
И на грудь мне упала.
О, сладкие воспоминанья!
О, где вы ласки, объятия
И страстные лобзанья!
Как лёгкий дым,
Всё быстро вдруг исчезло.
Мой час настал...»*

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ, РУПОРИСТ (в сторону).
Тоже мне Интернационал (громко). Товарищи, товарищи!
Да что вы? Слышно же на всю степь. Военная обстановка.
По пятам идёт «зондеркоманда». Может, даже гестапо...
(крайнему итальянцу – этому композитору – капралу
МуССО.) Какую оперу, говоришь, пишешь? Правда, либрет-
то? И даже музыку? Ну, ты даёшь! В Африке, говоришь,
начал писать? Ну, в Африке ладно. А тут в зимней донской
степи, в кромешной ночи... Как, говоришь, опера называ-
ется «Голубая дивизия»?.. Живы останемся, может, в теа-
тре побываем, послушаем твою оперу?...

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ. Товарищи, товарищи! Сей-
час же скорее отсюда, в овраг какой-нибудь! Мать, веди
отсюда нас всех (оборачиваясь к итальянцам.) Всех веди
куда-нибудь с глаз долой.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. А этих куда?

КАПРАЛ МУССО. Солдаты, стройся!

РУССКИЙ ОФИЦЕР – РУПОРИСТ. Скорее отсюда,
скорее!

СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ. Я тут командую, я!

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (показывая на Энрико). Ка-
пралов много, а тенор – один (оборачиваясь к солдатам,
пытающимся ускользнуть.) А вы куда?

СОЛДАТЫ (переминаясь). Мы? Мы – где опера. Где
талант, там и мы, мы всё-таки итальянцы.

ЭНРИКО-АЛАНЬЯ. Из «Голубой дивизии».

АЛЕКСЕЙ – МАТРОНИН СЫНОК (рассмеявшись).
Глядите! Вот он хор имени Каварадосси.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

Лощина где-то в глухой степи. Слева беспрерывно
гремит канонада, всполохи красят небо. Звучит знакомая
мелодия из «Набукко», музыка Верди – Песня пленённых
рабов.

СТАРШИЙ КАПРАЛ ЛИНИ (тётке Матроне). Завела
нас в дебри сюда – в овраги какие-то, как ваш Иван Суса-
нин – поляков.

ТЁТКА МАТРОНА. Сидели бы дома или бродили по Африке.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ, РУПОРИСТ (сыну Старой Женщины). Вот что, Алёша! Давай-ка, браток, мотай к нашим! Чует мой нос, немцы где-то недалеко.

ТЁТКА МАТРОНА. Не слухай его, сыночек! Всюду то немцы, то наши, слоёный пирог! Посиди тут с нами, пока наши с немцами там разберутся.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Как это «не слухай»! Он всё же солдат, рядовой! А я лейтенант, офицер! Посылаю – значит, надо. А то они тут (показывая на капрала Лини) посидят, посидят, надоест – возьмут да и перебьют всех нас к чёртовой матери да к своим подадутся. «Голубая дивизия»... А тут всё же женщины, артисты, агитбригада – важные персоны. Теперь наши там с ног сбились, ищут, небось, нас по всей степи. Командующий фронтом с командира воинской части голову сымет. Скажет, не обеспечил приём, охрану, посылай вам туда артистов – народное достояние...

ТЁТКА МАТРОНА. Вот сам туда и иди! А мы их тут с Алёшей (берёт из рук Энрикову винтовку) и покараулим. Как-нибудь справимся, в случае чего, родные стены помогут.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ, РУПОРИСТ. Как же я могу бросить агитбригаду? Вон (показывая на Елену Мостовскую) уже к итальянцу клеится, к этому Карузо. Так споятся, что клещами не растащишь.

ЕЛЕНА МОСТОВСКАЯ (сдвинув брови). Ну, и что! Мухи отдельно, котлеты отдельно. То музыка, а то Родина – мать, да, Энрико?

ЭНРИКО. Да, Елена. Мы будем петь с тобой разные партии, но из одной оперы – из «Трубадура». Как когда-то дело было давно. Италию тогда оккупировали австрийцы. Герои Италии гибли за родину. Италия знает, что такое «Родина или смерть».

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ (написав записку, передаёт Алёше, твёрдо). Вот! Доставишь нашим, вручишь

лично командиру особого подразделения при штабе армии... Не секрет, могу прочесть хоть сейчас, при всех.

(Поёт.) КУПЛЕТЫ РУПОРИСТА.

«Товарищ командир! С неба, как бы дым.

К нам в плен свалилась группа итальянцев.

Не может солнце быть без протуберанцев,

Как не бывает без театра Рим.

У дуче там, скорее всего, тотальная мобилизация

Вот и в плену тут оказалась опера...

Нас всех луна ущербная достала.

Однако совершена такая акция.

Вот он – тенор, хоть и не Карузо,

Энрико всё-таки, Аланья!

Есть предложенье: театр хоть и без зданья,

А всё ж театр! – поставит «Дочь полка»,

Направить рупор к ним туда,

И вся дивизия на завтра же сюда

К нам перейдёт... без зданья мы пока,

Театр пока без зданья...

Пусть поёт, пусть поёт Аланья!»

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ, РУПОРИСТ, Рядовой
Алексей Донцов!

РЯДОВОЙ ДОНЦОВ. Есть.

ЛЕЙТЕНАНТ ЯНОВСКИЙ. Так вот, дусенька, доставишь донесенье, приведёшь к нам сюда наших, подмогу... Пока всех тут нас не отправили к праотцам немецкие мародёры из «зондеркоманды» или гестапо. Видал, какая тут у нас ценность, мощь какая! Всю их «Голубую дивизию» разоружим, Италию выведем из коалиции...

Старая Женщина утирает лицо ладонью, обнимает сыночка, напевая вполголоса.

«Цыганка гадала, цыганка гадала,

Цыганка гадала, за ручку брала.

Об чём, мать, плачешь?

Об чём, мать, плачешь?

Об чём, мать, плачешь?

Об чём слёзы льёшь?»

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. СЛОВО ОТ БОГА. ВТОРОЙ ЮБИЛЕЙ

МОИ ДРУЗЬЯ

КОЛЯ МОЗЖУХИН – ПОЛКОВНИК, КОТОРЫЙ НЕ БЫВАЕТ В ОТСТАВКЕ

Моя малая родина – Малоархангельск. Это городок, куда я попал с двух лет из большого, можно сказать, столичного города Воронежа, где я родился. В большом городе, например, в том же Орле, где я сейчас живу, трудно уследить, как меняется он в связи с изменением населения с точки зрения поколений, приезда людей со стороны и т. д. А вот в малом городе всё, как на ладони. Учился я в школе в Малоархангельске, и было у меня много друзей среди одноклассников, но были друзья и постарше. Приедешь, бывало, в субботу из Орла, это когда я уже работал в редакции «Орловского комсомольца» или в «Орловской правде», пока пооббегаешь всех друзей, глядишь, уже утро. Это когда застрянешь у Ефремовых за игрой в карточки – в «кинга».

А сейчас приедешь – не город, а какая-то пустыня. Совсем другие люди. Оттого облик у города совсем иной. Только дома и улицы те же. Да и дома, глядишь, и те пе-

рестроены. Другие люди живут, другой народ в городе, другие дворы и подворья. Даже деревья – берёзы, ёлки и липы – поспилены.

Меньше других изменён дом Коли Мозжухина, тоже друга моего со школьных, ученических лет. Сейчас он живёт в Белгороде, полковник в запасе, но, как мне кажется, в запасе он быть не может. Такой весь он кипучий, можно сказать, с молодым, энергичным характером. Что в армии – концерты вёл, был вроде конференсье, что после армии – шуточки, прибаутки, анекдоты так из него и сыплются.

В последние годы, как ушла из жизни моя мать, мы всей семьёй перебрались из Синяевского в Малоархангельск. В дом, который построил Джек. Ну, если не Джек, то я, помню, еще ребенком помогал матери и бабушке строить этот самый дом: брёвна дубовые возили на себе из Мурашихи, дранкой стенки обивал, глину ногами месил и помогал обмазывать стенки. Вот и сейчас, когда переехали мы сюда, надо ведь всё тут приводить в порядок. Нашли мы в городе ремонтных дел мастеров – Таню и Валентину. Вот они в первом дворе уже залили землю цементом, вроде как сделали цементный пол. Поставили лестницы под окнами, начали красить стенку под самой крышей. А я стою внизу под ними и говорю:

– Соседи сказали, друг мой Коля Мозжухин приехал. Школьный товарищ. Сейчас зайвится. Смотрите: откроется калитка, пройдёт он от неё ко мне сюда строевым шагом, сделает руку под козырёк и скажет: «Здрав желаю, товарищ капитан!» А ведь сам он полковник, а я рядовой..

– Ну и почему же тогда полковник отдаёт честь рядовому?

– Это я в армии рядовой, – говорю я, – а с молодости, в волейбольной команде, я был капитаном. Капитаном команды. Чемпионами области были мы по волейболу, среди юношей. Я – то капитан, а Коля Мозжухин в команде был рядовым, запасным игроком... Вот так...

И только закончил я свою речь, как калитка открывается, и в калитке показывается вот такая широленная, улыбающаяся физиономия друга моего Коли Мозжухина. Живо подтягивается, идёт ко мне чётким, строевым шагом, берёт руку под козырёк:

– Здрав желам, товарищ капитан!

Девчата со смехом чуть ли не попадали с лестницы. Расхотались, унять невозможно. А мы обнялись и стоим, смотрим на них, улыбаемся. Давно не видались, с лета прошлого года. Коля Мозжухин всегда приезжает летом домой, сюда – на соседнюю улицу. Утром съездит в соседнюю Александровку, на могилку к родителям, откуда отец его родом, почтит память и к обеду ко мне за-является:

– Здрав желам, товарищ капитан!

Как это у Гоголя сказано, «нет уз святее товарищества». А товарищами мы сначала и не были, пока Коля в команду к нам не попал. Учился он в параллельном «б» классе, в футбол не играл. Маловато было у нас точек соприкосновения. После волейбола всё и началось.

Я закончил в Курске, так сказать, гражданский институт. Стал учителем русского языка, литературы и истории, а Коля Мозжухин – где-то в Прибалтике среднее военное учебное заведение. Стал лейтенантом, но погоны, как у лётчиков, – голубые. Строил в Прибалтике, кажется, в Паневежисе, аэродром.

Высокий, стройный, красивый. Всё на нём как с иголочки. В кармане всегда бархотка. Прежде чем зайти в дом, раз – раз бархоточкой по сапогам, чтобы сияли. Офицер! Как из бывших, ещё дворянских кровей! Я всегда это чувствовал в нём. Если Коля Мозжухин в армии, нечего бояться за наши границы. Они у нас в надёжных руках.

Не сказать, что Коля книжки читал, но вывел его «в люди», я считаю, наш русский язык. С детства у него исключительный почерк каллиграфический. Притом чёткий стиль изложения. И откуда это взялось? Да оттуда

же, что и у меня: откуда взялись из меня стихи, а потом и мелодии, музыка? А ниоткуда, от Бога, от самого себя, таким уродился.

Этот почерк, как мне думается, и повёл его дальше к продолжению образования. Поступил он заочно в Вильнюсский университет, на юридический факультет. Стал приезжать теперь уже осенью, после учебной сессии. У всех отпуск, а у него осенью сессия. И так каждый год. Приедет после сессии в Малоархангельск, и я туда к этому времени подгадаю. А Малоархангельск-то тогдашний с нынешним разве сравнить? Сейчас асфальт везде, хоть яичко кати, а тогда? Грязь по колени. Чернозём же, а на улице Урицкой ещё и глина. В общем мы с ним резиновые сапоги, плащ напаялим, ибо как на грех берутся откуда-то затяжные дожди. Осень же, так, наверно, и надо. Ну, так вот, Коля любил шастать по дворам, за уши от друзей не оттянешь.

У меня – свои друзья, у него – свои. Вот и ходим, шутим, балагурим. Смеёмся, поём песни. Одним словом, любим людей, и люди нас привечают. С детства нас знают и помнят.

А закончил Николай Мозжухин Вильнюсский университет, юридический факультет, так не только цвет погонов у него изменился, но и вся его жизнь. Стали погоны его малиновые, юридические войска. Щит и меч. Направили его за границу защищать Отечество – в ГДР. «Шнапс тринкен» стал Николай привозить из Германии. Однажды побывал в Чехословакии. Это когда произошли там известные всем события. Всё говорил, что мы, конечно, не немцы. Прошли без всякого-якого через границу; идём на танках по Чехословакии, а они по нашим танкам тухлыми яйцами. Если бы танки были немецкие, да разве бы те позволили, мигом бы лупанули из пушек.

А потом Мозжуха оказался в Сибири, даже дальше Сибири, на Дальнем Востоке. На охоту стал ходить в тайгу, на медведя. Сделали его заместителем Председателя Военного трибунала (так суд в армии тогда назывался).

А оттуда перевели уже сюда, в Харьков, Председателем Военного трибунала, документ ему подписывал Брежнев. Вот таков его путь. Офицер же, их туда – сюда перебрасывали.

Перед самым развалом Союза, как почувал что-то, оказался в русском городе Белгороде.

Все эти годы ездил на свою малую родину в Малоархангельск и сейчас приезжает. Когда спросишь, бывало, кто у нас тут был самый первый полковник? Многие скажут: «Конечно, Мозжухин Николай Кузьмич». Пошли ещё земляки – полковники один за другим, один даже до генерала дослужился. Но первым был он, полковник Мозжухин.

Никогда просто так в Малоархангельск не приезжал. Обязательно привезёт что-нибудь интересненькое, удивительное.

К лету однажды, к приезду Коли Мозжухина, я стал готовиться ещё с декабря. Был в командировке в Хомутовском районе. Зашёл в магазин, вижу бутылочка – «Кузьмич» называется. Купил я этого «Кузьмича» с дальним, летним прицелом.

Вот оно, подоспело, и лето. Июнь месяц. Собрались у нас в саду друзья мои: Денисов Шурик – редактор нашей районной газеты «Звезда», Романчиков Виталий – бывший председатель колхоза тут у нас в Дубовике, и вот он, Мозжухин Коля, – приехал домой сюда к нам из Белгорода. Все трое «Кузьмичи» и я, примкнувший к ним «Михалыч». Вот бутылочка моя из Хомутово ещё как, думаю, пригодится.

Достаю её из кармана. А Коля Мозжухин показывает свою. Вдвое больше моей и с анекдотами по этикетке, со смешными историями. Вот она в его руках, на фотографии! Видите?

Его бутылка да ещё моя хомутовская. Сразу настроение приподняло и понесло по широкой степи.

Вот что я им говорю, сочиняю, пою:

*– Зорюшка ты, зоря, незакатная,
Троечка да троечка – обратная!*

*Эх, как встанет тот ящик,
Глянет – степь, до дому, пусто.
Вспомнит бабу, стопку, щи,
Где – капуста.
Головою как крутнёт,
Песню звонку как завьёт!
Как достанет тот ящик
Пряничек печатный.
Вот что значат с мясом щи,
Что – обратный!
Зорюшка ты, троечка обратная!*

Повскакали разом все. Обнялись. Снялись на фото.
А Коля Мозжухин и говорит:

– А теперь меня послушайте!

Граждане, послушайте меня,

Гоп со смыком это буду я!

Вот я в Белгороде у нас во дворе наблюдаю такую картину. Песочница, а в песочнице два малыша. Вроде нас когда-то, «Кузьмичи» в самом раннем детстве. И примкнувший к нам «Михалыч». Вот один в песочнице из песка строит дворец, а другому дай стоптать его. Оба аж плачут: этот – дай стопчу, а тот – защищает, не дам, не подпускает. Вот бабушка первого малыша и говорит ему-внучеку:

– Пошли отседова, сейчас что-нибудь придумаем.

Подвела своего малыша к берёзке, которую только что посадили – к Первому мая. Сломал тот макушку и успокоился. А она ему и говорит:

– А в песочке мы завтра с тобой пописаем.

Засмеялись мы все – Кузьмичи и я – примкнувший к ним Михалыч. А Николай Кузьмич поднимает своего «Кузьмича» и говорит мне:

– Сфотографируй и помести потом в книгу.

Что я и сделал.

Но я хочу сказать: жизнь не из одного лишь смеха состоит, это ведь ещё и чересполосица. Через несколько лет приезжает Коля Мозжухин сюда к себе, на свою малую родину, приходит ко мне опять-таки не с пустыми рука-

ми, а с большой, красивой книгой о моём любимом маршале Рокоссовском, дарит её мне в честь моего второго Юбилея. Пели под баян. Смеялись, радовались жизни. А вернулся он в Белгород, жена умерла. Поля, Полина. Крепись, друг мой Кузьмич, товарищ полковник! Это говорит твой друг тебе, Коля, твой капитан, человек с тобой из одной команды.

ВОЛОДЯ ЕФРЕМОВ – ПЕРВЫЙ МОЙ ДРУГ С САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА

Перед утром мне приснился сон. Будто я как какой-нибудь господин: в цилиндре и с тростью. Проснулся, лежу и думаю: «Сроду не ходил в цилиндре, а тем более с тростью. Что бы это значило?» Пошёл по Малоархангельску. Дай, думаю, на ту улицу загляну, где жил мой первый друг с самого раннего детства Володя Ефремов. Пришёл к этому дому и не узнаю его: и люди уже другие живут, и дом совсем как будто другой. Одна сосна во дворе, за забором, и напоминает, что этот дом, эта усадьба те самые.

И всё-таки как глянул я на него, на этот дом, так и понесли меня в те года воспоминания. От того дня ещё с довоенных времён, когда мы с Володей познакомились у нас на огородах, и до последних, не таких уж давних, на мой взгляд, исключительно ярких лет. Встали они, наши встречи с Володей, в голове моей крутиться – вертеться в разных направлениях и сочетаниях. И что я из всего этого понял? Почему мне цилиндр с тростью приснились. Наконец-то я освободился от давления внешних сил на меня со стороны своего друга-товарища. Дело в том, что Володя был ровно на два года и два дня старше меня. А это в детстве очень и очень многое значит. Это он, Володя Ефремов, всегда стоял передо мной в цилиндре и с тростью.

Встречи, случаи? Да пожалуйста. Понеслись, пронеслись передо мной ранние, школьные годы; о них я уже го-

ворил. Наступили более поздние, студенческие времена. Встретились мы с Володей Ефремовым летом, на летних каникулах, а он мне и говорит:

– А давай-ка мы с тобой сходим в Луковец, к брату моему Гене – Геннадию Ефимовичу. Сто лет уж работает там учителем пения и немецкого.

– Давай, – говорю, – чего не сходить?

И пошли мы по дороге из Малоархангельска в сторону Губкино, а там и на Луковец.

Володя, как всегда, идёт первым, а я уж за ним, хоть места мне знакомые больше, чем ему. Дождь взялся откуда-то. Идёт Володя, плащ на себя накинул, ноги в ботинках перед моими глазами, знай себе, по грязи вычвиркивают. Чвирк, чвирк... Я за ним. Уныло идти, устаём, и Володя запел:

– Из Франции два гренадёра... Что два гренадёра? – спрашивает.

– Шли в Луковец вместе домой, – отвечаю я.

– Ну, так и будем петь, – веселя, сказал Володя. – Так и будем:

– Из Франции два гренадёра

Шли в Луковец вместе домой.

И пошли мы, пошли. Чвирик-чвирик, чвирик-чвирик. И с неба вроде поменьше дождичка стало, и как-то всё вокруг повеселело. Чвирик-чвирик... Дошли до Луковца, незаметно прошли под песенку все эти двадцать километров. Геннадий Ефимович, брательник Володин, встречает нас у себя во дворе, а жил он в доме, где размещался школьный интернат. Выносит Гена патефон, ставит пластинку, и потекли, побежали одна за другой прекрасные русские песни.

За окном черёмуха колышется,

Распуская лепестки свои.

За рекой знакомый голос слышится,

И поют всю ночьку соловьи.

Геня, старший брат Володин, немного заикается, когда просто говорит, а когда поёт, всё получается у него хо-

рошо, даже замечательно. Все слова Геннадий Ефимович знает назубок, потому как он же учитель пения. Сначала он вместе с патефоном поёт для детей, а потом все вместе они поют всякие хорошие, замечательные, в том числе и военные песни.

*– Вьётся в тесной печурке огонь,
На коленях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.*

Вот напелись мы от души все втроём! Да ещё и с патефоном, пели до самого вечера, пока Геня не позвал нас пить чай.

– Ну, как? – после того, как мы вернулись в Малоархангельск, спросил меня Володя Ефремов.

– Да как, просто здорово! – сказал я ему. – Хорошо, что мы сходили с тобой в Луковец.

И это был, образно говоря, Володин «цилиндр» и моя «трость» к этому «цилиндру».

Ещё какой-нибудь случай? Да, пожалуйста, и ещё. Это было позже. Я уже работал в Орле, в «Орловском комсомольце», а Володя – в Курске, следователем в областном управлении внутренних дел. Созвонились, договорились, поехали семьями в Евпаторию. Там самое мелкое, тёплое море, там лучший пляж, мелкий песочек. А у нас дети: у Володи – Вовка, у меня – Игорь. У Володи Ефремова – жена Лида, у меня – Люся. Поехали мы, как тогда говорили, «дикарями».

Сначала поселились вместе, у одной тётки. Потом Володя с Лидой переселились, сказал Володя: поближе к пляжу и комната побольше. Но, как я понял, денег у них было побольше, а при нас неудобно как-то есть больше, чем мы.

Разный у нас, как говорится, статус. Разные деньги. Володя каждый раз бегал с пляжа к киоску, набирал целую кипу газет. И пил частенько сухое вино из автомата. И это всё тот же его «цилиндр» и, может быть, даже и «трость».

Ну, что ещё? Какой случай, какие были ещё какие-либо впечатления от жизни, когда дела были у меня, на мой взгляд, не хуже, чем у Володи Ефремова? Точно помню, дело было в 2001 году. Почему помню? Да потому что известный курский писатель Евгений Иванович Носов покинул жизнь годом ранее, а в следующем году от Орла на поминки его приехал и я. Володя Дедков был тогда в Курске ответственным секретарём. Свозил он нас, гостей, в Коренную пустынь, посмотрели мы достопамятные места и вернулись обратно к вечеру, в точно назначенный срок.

Пришли домой к Носову. Я сидел за столом рядом с сыном Носова. Посидели хорошо. Помянули его, как говорится. «незлым, тихим, русским словом». Каждый вспомнил своё, я, например, как Евгений Иванович приехал к нам в Орёл. На открытие памятника Тургеневу. Просидели мы начало всего торжества в гостинице «Русь». Помнится, Евгений Иванович сказал, что читал мою повесть «Не манна небесная», и она ему показалась оригинальной, ни у кого такой нет.

После своего слова о Носове прочитал я свои стихи о нём и спел какую-то арию, кажется, Ленского из «Евгения Онегина». Ушёл я маленько пораньше, чтобы найти после дом Володи Ефремова, у которого я собирался заночевать.

Прихожу, а Володя уже ждёт меня. Бутылочку поставил, стали вспоминать всё от детства до текущих дней. У меня был с собой магнитофон с аудиокассетой из моей «Звуковой поэзии мира» об Америке (США). И в этой кассете я выделил такую вещицу, которая, как мне показалось, очень подходила к нашей ситуации.

Эдвин Армингтон Робинсон.

Вечеринка мистера Флада

*«Однажды ночью старый Ибен Флад
На полдороге между городком
И той забытой будкой на горе,*

В которой был его последний дом,
Остановился, ибо не спешил
И сам себе ответил на вопрос,
Что любопытных нет ни впереди, ни сзади,
Церемонно произнёс:
«Ах, мистер Флад! Опять на убыль год
Идёт среди желтеющих дубрав.
Пернатые в пути, – сказал поэт.-
Так выпьем за пернатых», – и подняв
Наполненную в лавочке бутылъ,
Он сам себе под круглою луной
С поклоном отвечал: «Ах, мистер Флад!
Ну разве за пернатых по одной»...
А снизу из темнеющих домов
Приветный, еле различимый хор
Былых друзей, ушедших навсегда,
Касался слуха и туманил взор.
Как мать своё уснувшее дитя,
С великим тщаньем, чтоб не разбудить,
Он опустил, держа в уме,
Что в жизни многое легко разбить.
Но, убедившись, что бутылъ стоит
Потвёрже, чем иные на ногах,
Он отошёл на несколько шагов
И гостя встретил, словно был в дверях.
«Ах, мистер Флад! Пожалуйста, ко мне
Прошу, давненько я не видел вас.
Который год уж минул с той поры,
Когда мы выпили в последний раз».
Он указал рукою на бутылъ
И дружески привёл себя назад:
«Ну, как не выпить с вами, мистер Флад.
Благодарю. Ни капли больше, сэр.
Итак, мы выпьем за старые года».
Ни капли больше пить ему...его...
Уговорить не стоило труда,
Поскольку, обнаружив над собой,

*Две полные луны, он вдруг запел.
И весь ночной серебряный пейзаж
Ему в ответ созвучно зазвенел:
«За старые года!» Но, захрипев,
Он оборвал торжественный зачин.
И, сокрушённо осмотрев бутылку,
Вздыхнул и оказался вновь один.
Не много проку двигаться вперёд,
И повернуть назад уже нельзя.
Чужие люди жили в тех домах.
Где отжили старинные друзья».*

На том и расстались мы с Володей Ефремовым на несколько лет. А точнее, до 2009 года. Почему точно? 29 октября 2009 года Малоархангельск посетил бывший тогда Президентом России Дмитрий Анатольевич Медведев. А мой самый первый друг Володя Ефремов ушёл из жизни за два дня до того. Приехал я на его поминки несколькими днями позже. На кладбище к северу Курска, за Триумфальной аркой, в сторону Орла. Собрались: жена Володина Лида, дочь брата Гени Люся, другие родственники, пришли офицеры с Володиной работы. Перед Володиным камнем, на котором Лида написала и своё имя, я прочитал такие стихи.

Посвящается Володе Ефремову

*Мы вымираем, Русь, мы вымираем.
Звезда – полынь, тебя за то виню.
Я каждый год имею дело с раем,
Я, что ни год, то друга хороню.*

*Они уж там, они – мои святые,
А тут по ним чернеет скорбь травы.
Всё больше тех, с которыми на «ты» я,
Всё меньше тех, с которыми на «вы».*

*Куда идём? За что мы натерпелись –
Потерянные дети той войны?
И снова бродят пастыри и ересь
Среди несуществующей страны.*

*Ударит ком о крышку гроба глухо.
Он был мой друг. Прости, святая Русь!
Себя хороним, а земля ей пухом.
Я тихо, тихо в голос ей молюсь.*

*Россия, Русь, спаси себя, спаси!
Не дай иссякнуть людям на Руси,
Не дай погибнуть слову в наши дни.
Россия, Русь, храни себя, храни
Во имя отца и сына
И святого духа.
Аминь.*

Через какое-то время под этим же камнем похоронили и жену Володину – Лиду Ефремову.

САША ФЕДОРЕНКО – ЦЫГАНСКАЯ КРОВЬ, ВЕЩАТЕЛЬНИЦА СУДЬБЫ

Учился я не в Орле, как все малоархангельские, а почему-то в Курске, на историко-филологическом факультете, не отделении литературы. И уже был, наверно, на третьем курсе, как одна девица по фамилии Федоренко сказала мне вдруг:

– Ты из Малоархангельска?

– Ну да, а что?

– А то, что у меня в Малоархангельске живёт двоюродный брат.

– И как зовут его?

– Саша Федоренко. Я, как говорится, цыганских кровей, значит, и он тоже цыган. Мой отец и его мать – Нина Васильевна – брат с сестрой. А отец мой – цыган.

– Да ты что? – изумился я. – Неужели Саша – цыган?

Приехал я в Малоархангельск и спрашиваю:

– Саша, ты разве цыган?

– С чего ты взял?

– Сестра твоя двоюродная сказала, она учится в Курске со мной на одном факультете.

– Ну, цыган! Цыганских кровей. Мать наша – цыганка, а отец – русский. Значит, мы с братьями наполовину цыгане.

Братьев у Саши Федоренко было двое: старший – Жека, Евгений, а младший – Володей, Владимир. Все мы звали их по уличной кличке, просто Жека и Володей, а Сашу, как и обычно, – Сашей, Саша Федоренко, и всё. Попробуй догадаться, что он цыганских кровей. Да и Жека с Володеем не похожи на цыган. Жека похож, скорее, на немецкого офицера. Однажды, когда их 10 «б» класс, параллельный нашему классу «а», построили на улице и военрук Иван Михайлович Борзёнков проводил с ними урок военного дела, Жека так лихо шёл впереди всех, кося на нас взглядом и улыбаясь, что вполне можно было сойти за то, что он не Жека, а какой-нибудь Отто, Фриц или Ганс. Копия немецкого офицера.

Забегая вперёд, хочу сказать, что Жека поступит потом на юридический факультет Харьковского университета и по направлению поедет в Одесскую область, в город Измаил, а из Измаила его переведут в саму Одессу, и станет он в Одессе главным следователем. Надо же, Одесса – мама и Жека в ней главный следователь. Это меня до сих пор изумляет.

А Володей женился на Вале – москвичке. Привычка тут у нас такая в Малоархангельске: на москвичках жениться, а у москвичек – замуж выходить за наших ребят. После Володей уедет в Москву, Валя к себе его туда перетянет. И он сменит своё среднее агрономическое образование, Володей закончил Парашинскую «академию», то есть Глазуновский сельхозтехникум. Так вот, поступит он там в Москве в технический институт и станет

начальником цеха автозавода, производящего легковые автомобили «Москвич».

Но оба эти ребята – братья Федоренко, старший и младший, стали что-то редко приезжать в Малоархангельск, а после смерти родителей и вовсе нос сюда перестали, как говорится, казать. Один Саша в доме остался. Так и жил он один, долго так жил, пока не женился на Вале Клёнышевой со Второй Подгородней, и у них появился сын.

Нужно сказать у Саши Федоренко было особое человеческое качество: он ужасно любил детей. Сначала сыночка младшего брата своего Володея таскал у себя на шее, и тот в нём души не чаял. Так и со своим сыном. Когда тот подрос, всё ходил за ним, как за маленьким. Хотя тот особых чувств к нему не питал. Не было к отцу у него сердечной привязанности, даже когда мать его умерла.

Да, но всё это сказки да присказки. Главное, я считаю, были наши с ним отношения. Сначала все эти Федоренки жили в конце улицы Урицкой, где-то у Второй Подгородней. И мы, естественно, с ними редко виделись. Отец их был заместителем председателя райисполкома и был, скорее всего, неплохим, справедливым, если мать моя уважала его. Ходила жаловаться к нему, если её притесняли, что она, дескать, шьёт на дому, и государству от этого ни холодно, ни жарко. Потом его перевели в Ивань, сделали парторгом колхоза, а заодно и директором Ивановской восьмилетки. Вот тут-то мы с его ребятами, со всеми троими, поближе и познакомились.

Юра Забин однажды мне и говорит:

– Давай-ка в Ивань съездим на велосипедах.

– А зачем?

– Да к Федоренкам. Вчера видел одного в городе, к себе звал.

Встретили нас очень гостеприимно. Праздник какой-то был, Троица, что ли. Весь колхоз на лугу гуляет. Шумно, песни поют. А мы тут, в школе, в которой никого нет. Особенно запомнился пирог со сметаной, пирожки с творогом, борщ с курицей и т. д. Еда добрая, деревенская.

Вот Володей и говорит:

– А пойдёмте-ка на речку.

Рядом Сосна – река протекала. Володей разделся, нырнул в воду с головой, знал места, прямо руками стал вытаскивать то карасей, то окуней, прямо из-под коряг. Вот было интересно. Жека ходором ходил по берегу, любил воду и рыбу. А Сашка молча стоял, неподвижно, жалко, что ли, было ему эту речную живность. И только тогда оживился, когда Володей стал выбирать из-под коряг ещё и раков с огромными шевелящимися клешнями.

В общем, погуляли мы в Ивани знатно. Домой с Юрой Забиным приехали с сильными впечатлениями. Свой первый рассказ понёс я к Саше Федоренко почитать. Они уже переехали обратно в город, дали квартиру им на краю Поздняковского сада, рядом с домом Колединцевой тётки Моти. Отчего к Саше пошёл? Наслушался от своей матери, что в гражданскую войну там у них, на корню, в Воронежской области, бродили «сербиянки», то есть цыгане, и гадали людям. Как в воду глядели: всё угадывали. Вот и Саша Федоренко, думаю, тоже цыган, тоже мне что-нибудь скажет.

Дал я Саше рассказ почитать, а он говорит:

– Почитай-ка стихи. Мне кажется, они больше у тебя получаются.

А я уж стихи всюду писал после четвёртого класса, когда мне попалась книжка Сергея Есенина, и он так врезался в меня, что дыхнуть невозможно: и стал писать я стихи.

– Ну, слушай. Хотя бы такие.

Цыганское золото

По рябине, по рябине – к клёну

Чуткий подбирается огонь.

– Дай-ка предскажу судьбу, милёнок.

Дорогой, позолоти ладонь.

– Лучше погадай своей подруге.

Чародей я, хоть и не цыган.

*Ходим, глянть, по золоту в округе,
Набивай деньжищами карман.*

*У окна под тихий шелест грустно.
Ветки то в валюте, то в рубле.
Листья – эти вянущие чувства –
Медленно стекаются к земле.*

– Это про кого? – спросил меня Саша. – Не про меня ли?

– Про себя, – ответил я Саше.

– Ещё что-нибудь прочитай, – сказал мне Саша. Не чистый цыган. Но всё же жарких, цыганских кровей. – Ещё почитай.

– Вот такие хотя бы.

На Троицу

*Пруд в лесу. Лесникова избушка.
И какие же юные сны!
За поляной турлычет лягушка
Под ольховую проседь весны.*

*От зелёных кларнетов отвыкли
Даже – стыдно сказать – в деревнях.
Стали даже лягушки реликтами,
Право, водятся лишь копанях.*

*Замани же, лесная опушка,
И в кларнеты возьми, заманя!
Нежно в копани стонет лягушка
И до слёз зашибает меня.*

И потом уже после института, после работы в Легостаевской школе, Саша Федоренко оказался сначала преподавателем в ПТУ, потом слесарем по соседству на механическом заводе, а мать его работала в районной библиотеке. Встретились мы как-то в читальном зале библиотеки. Проходила презентация одной из моих книг,

и пришли на неё мои друзья – товарищи, завсегдатаи читального зала. И стали внимательно, даже очень внимательно слушать меня, что я скажу читателям. И я стал говорить о том, что проза у меня музыкальная, ритмически организованная, одним словом, поэтизированная. И тогда кто-то из библиотекарей попросил меня спеть песню про наш город «Белой акации гроздь душистые».

Я запел, и запели мы все вместе. Все знали эту песню на слова Матусовского, музыку Баснера.

*Целую ночь соловей нам насвистывал,
Город молчал, и молчали дома.
Белой акации гроздь душистые (2 раза)
Ночь напролёт нас сводили с ума.*

*Сад весь умыт был весенними ливнями,
В тёмных оврагах стояла вода.
Боже! Какими мы были наивными, (2 раза)
Как же мы молоды были тогда.*

*Годы промчались, седыми нас делая.
Где чистота этих веток живых?
Только зима да метель эта белая (2 раза)
Напоминают сегодня о них.*

*В час, когда ветер бушует неистово,
С новою силою чувствую я,
Белой акации гроздь душистые
Невозвратимы, как юность моя. (2 раза)*

И вот Саша Федоренко заболел. И серьёзно. Он лежал всё время в постели. Я приходил к нему в дом под серебрястым тополем. Калитка была всё время открыта – с утра до вечера, когда приходил с работы его сын Юра. Он учился в Орле на втором курсе Политехнического института, но оставил учёбу, чтобы быть тут с отцом. И теперь он работал на районном узле связи, тянул по городу новые линия, ремонтировал старые.

Саша лежал, обложенный книгами. Его хобби была теперь история. Причём всех времён и народов. Мы говорили с ним на различные темы, и я удивлялся, как он был сведущ в истории во всех отношениях. Я-то был историком по образованию, а он же закончил факультет биологии и географии. В последнее время его тянуло на литературу. А я как раз взялся за романы в стихах. Кроме кота Васьки, не было у меня никого из слушателей, и я решил хоть что-нибудь почитать Саше Федоренко: интересно всё-таки, что он скажет?

В первый раз Саша ничего не сказал.

Во второй раз тоже.

И только в третий раз сказал строго, глядя мне прямо в глаза:

– Я же говорил тебе когда-то, что ты поэт! Настоящий, уродённый. Под Богом ходишь. И это я говорю тебе как цыган. Как та самая «сербиянка», о которой помнишь, тебе рассказывала твоя мать?

Ты – поэт! И можешь в этом не сомневаться.

А если поэт, то всё должно быть подвластно тебе: и музыка, и проза, и драматургия. За что бы ты ни взялся. «Благословляю вас, леса... и голубые небеса»...

ШУРИК ГОРОХОВ – НА СТРАЖЕ ДРУЖБЫ И ПОРЯДКА

Шурик Горохов учился со мной с первого класса, хотя, как и Володя Ефремов, был на два года старше. И жил он в городе на Мотах, то есть по дороге на Вавилоновку и далее до станции. В 5 «а» классе у нас Гороховых было трое, учитель по ботанике Залипай всех их называл «семейством бобовых». Вот Залипай задаёт для затравки один и тот же вопрос:

– А ну, кто мне расскажет строение цветка примулы? Кто? – ведёт он пальцем по классу. – Ну ты, ты из «семейства бобовых». Ты из Вавилоновки?

– Нет, я из города, с Мотов.

– Тогда пусть расскажет Горохов из Вавилоновки... Семён или Иван... Уроки не учат, вчера опять полдня провалялись в скирде соломы...

– Я за них расскажу, я – Шурик Горохов, я с Мотов.

– Ну, давай.

В классе шепот:

– Уже пятый раз рассказывает одно и то же.

– Стroeение цветка примулы, – отвечает с места Шурик Горохов. – Пять чашелистиков, пять писюльков, шесть тычинок и один пестик.

– Молодец, пять тебе ставлю в журнал.

Утром я прихожу к Шурику Горохову на Моты, а они завтракают: отец, мать и Шурик. Сестра Катя, красивая такая, уже замужем за соседом Смазным. Отец у Шурика Иван Иванович работал до войны в типографии, вернулся с войны без ноги, сидит, отставив протезную ногу, у самой двери.

– Садись-ка с нами, – говорит Иван Иванович и отрезает мне кусочек хлеба от своей пайки.

И Шурик отрезает, и мать – старенькая уже такая, почти старушка – тоже отрезает кусочек. Мода у них такая: хлеб с утра делят на пайки, и ешь, когда хочешь. Хоть тут же сразу, хоть вечером.

Позавтракали мы, и Шурик ведёт меня к себе в комнату. Достает из стола пачку бумаг. На некоторых листах через копирку напечатано свинцовыми буквами, наверно, ещё до войны отец принёс свинцовые буквы из типографии: «ТСД» (« тайный совет детей»). Это Шурик Горохов придумал такую организацию, вроде как по известной тогда книжке Гайдара «Тимур и его команда».

– Вот, подписывайся, – говорит Шурик. – Портышов Володька с Первой Подгородней уже подписался.

– А Володя Ефремов? – спрашиваю я.

– Пока нет, – закрывает Шурик Горохов папку и прячет в стол, запикивает куда поглубже. – У Володи Ефремова отец – прокурор...

И тут слышится стук в дверь, а это не подумал бы кто – Мария Ивановна Струнникова, наша учительница по русскому языку и литературе. У неё нет пальцев на обеих руках, но пишет она мелом на доске классно, каллиграфическим почерком. И начала она выгребать проворно этими самыми руками к себе в сумку всё, что было в Шуриковом столе.

Выгребла и пошла. От двери нам ещё и пригрозила.

– Кто-то продал, – шепчет мне Шурик на ухо. – Наверно, Портыш...

А попугай из себя выходит, кричит на весь дом:

– Дурраки! Дурраки! Ослы-ы-ы!!

– Не ругайся, – говорит ему Шурик. – Без тебя знаю, кто умный, а кто осёл.

Шурик Горохов любит животных. У него во дворе есть собака, а в доме два трёхшерстных кота. Через три года, после семи классов, он пойдёт учиться тут поблизости в Парашинскую «академию» (Глазуновский сельхозтехникум). Но не, как все, на агронома, а на ветеринара. Первый диплом у него ветеринарный. А потом он пойдёт по милицейской линии. Но это уже случайно и совсем другая история.

Взяли Александра Горохова в армию, послали служить в Туркмению, в пустыню, где одни пески да пески. Пишет он мне в письмах оттуда: «Жить тут невозможно. Жара градусов до пятидесяти, пески раскалённые. И басмачи набегают из Афганистана. На днях вырезали соседнюю заставу почти в полном составе».

Одним словом, как закончился у него срок службы в пустыне, так больше служить он там не стал. Послали его учиться Сталинабад (ныне Душанбе), на командира пограничников. А когда выучился, Шурик вернулся сюда, в Малоархангельск, в свой дом, на свои Моты. И стал работать в пожарной команде. А потом его перевели в соседнюю Глазуновку сначала заместителем начальника, а потом и начальником райотдела милиции.

Я пришёл к нему, когда он был уж лет пять как начальник. Сажу у него в кабинете, а он с человеком разго-

варивает. Вывел того человека из кабинета милиционер, а Александр Иванович мне и говорит:

– А знаешь кто это?

– Кто? – говорю.

– Человека убил. И в колодец бросил.

– Да что ж ты так мягко с ним разговариваешь? – говорю я.

– Пока он подозреваемый, – отвечает Шурик, Александр Иванович. – После суда уж преступник, тогда его в тюрьму.

Вот такой эпизод. А ещё про что. Мы, школьные товарищи, что-то давненько не видались. Собрались мы, пригласили и Александра Горохова, он тут недалеко, в Глазуновке. Сидим на берегу городского пруда, на зелёной травке. Кайф ловим, вспоминаем, что было, говорим о том, что есть и что будет. И тут милиционер бежит. Вытянулся перед Александром Ивановичем:

– Товарищ начальник! Прокурорша звонила из Глазуновки. ЧП... один мужик топором убил четверых...

Александр Иванович спохватывается и бежать к дороге. Ловит машину, гружёную сеном, и в кабину. Я с ним. Не отстаю. Едем в село Подолянь, где произошло убийство. Встречает нас прокурорша. Видим: у порога один труп, в сенцах – второй и в комнате сразу двое. А сам преступник убежал, надо ловить.

Убийства на почве ревности. Пастух он, стерёт стадо коров. Вернулся домой во внеурочное время, а там с его сожительницей, хозяйкой дома, фраера эти – сразу четверо. Ну, он и сдурел...

Такие вот эпизоды бывали у Александра Ивановича.

А то дело было на Беленьком. Сижу я на берегу, подъезжает кто-то на мотоцикле.

– А-а, это ты? – радуюсь я, увидев Шурика Горохова, своего давнего, ещё школьного друга в милицейской форме.

– А кто же ещё-то, – садится он рядом со мной.

Сидим разговариваем о том, о сём. Ни о чём. Неожиданно он спрашивает меня:

– А ты не знаешь, кто это в Протасово листовки разбросал на днях?

– Не знаю, – говорю. – Откуда мне знать? Я в Орле живу.

– Может, от матери своей слышал? От Марии Герасимовны. Говорят, вроде Михаил Кондратьич, у него мотоцикл.

– Так у него, – говорю, – и спросите.

– Спросим у кого надо, – бросает в пруд камешки Шурик, Александр Иванович Горохов, начальник соседней глазуновской милиции.

– У кого, интересно? – говорю.

– Сказать?

– Говори.

– Только ты язык держи за зубами... В стране у нас три системы «сексотов»: наша милицейская, кэзэбэшная и партийная, понял?.. Вот они-то главный источник информации, понял?

– Ага, – говорю, – «сексоты» – секретные сотрудники.

И следующая встреча. Приезжаем мы в Глазуновку в командировку по линии Бюро пропаганды художественной литературы. Нас трое: я, Саша Логвинов и Виктор Рассохин. Выступаем на почте. Ну, что там – почта, кажется, обыкновенное учреждение. А нет. На выходе двоих пропускают, а меня отсекают. Один в гражданском говорит:

– А ну, пошли со мной.

Зажал в угол и говорит:

– Кто в Протасово листовки разбрасывал? Я из прокуратуры.

Я оторопел. Собрался с духом и говорю:

– Да кто ж его знает-то. Я тут не живу, в Орле проживаю.

– Ну, мать знает. А ты не хочешь сказать.

И тут вот он как раз, Александр Иванович.

– Чего это он к тебе прицепился?

– Да насчёт листовки.

– Вот что ты, Мальчик, иди-ка по своим делам. Сами как-нибудь разберёмся.

А разбираться было в чём. Как раз должен был проходить «литерный поезд №1». Сам Брежнев ехал в Крым отдыхать. Так милицию расставляли по одному через каждые несколько метров. Отсюда и до Понырей. С четырёх районов приехал личный состав, чтобы обеспечить такую важную операцию.

Когда пропускали «литерный поезд №2» (проезжал Косыгин) обходились своими силами – глазуновскими.

Через день в Орле ко мне в дверь позвонил тот прокурор, тот самый Мальчик, которого так назвал Александр Иванович. Зашёл в квартиру:

– Извините, Леонард Михайлович, за недоразумение. Так получилось

– Привет, – говорю, – Александру Ивановичу. Скоро приеду к нему чай с мёдом пить.

Александру Ивановичу сменили квартиру в Глазуновке, теперь она у него с огородом. Есть где поставить ульи. Вот и разыгралась в нём эта любовь к ветеринарии, к животным, живому миру. Теперь, кроме попугая, у него появились ещё и пчёлки, несколько колодок пчёл. И лошадь имеется в Глазуновской милиции. Нигде в райотделах области нет, а у них есть, даже на ипподроме в областных соревнованиях рысачок глазуновский участвует. Александр Иванович сарай для коня сделал, конечно, вместе с другими милиционерами. И сена, сколько надо, вместе со всеми каждое лето накашивает, собирался зимой когда-нибудь на саночках меня прокатить с ветерком.

И вот как-то звонит мне жена его Лида и говорит:

– Александр Иваныч в больнице, хоть бы проведал.

– Да ты что! А чего?

– В аварию попал. Придётся к нему, сам расскажет...

В Орле он, в милицейской больнице...

Пришёл я к Шурику, а он лежит.

– Чего это ты разлётся?

– Авария. Еду на лошадке своей, а навстречу трактор. Дизель. Дорога узкая, снег по бокам высоко. Трактор фыркнул, конь дёрнулся и – вперёд. Ногой правой хотел я оттолкнуться от трактора, а нога попала в гусеницу. И что-то в ней хрустнуло... И вот теперь я в больнице...

– На сколько?

– Не знаю. Врачам виднее. Принеси что-нибудь почитать.

– Детектив? Или что-то полегче? Например, Стивенсона или Вальтера Скотта?

– Принеси Стивенсона.

Я принёс ему Стивенсона. А когда потом заглянул домой к нему в Глазуновке, забрать книжку – она у меня из подписного издания, так он опять ходит, горбясь.

– Опять авария?

– Улей поднимал, и с позвоночником что-то случилось. Свои врачи – слабаки. В Сумской области мужик отыскался, Касьян – костоправ. Кости собирает даже вслепую, в мешке. Собираюсь к нему...

Собрался и съездил. Костоправ тот наладил ему спинной хребет. «Теперь подожди, улы-то не таскай, тяжелого не поднимай». – «Ничего тяжелее пера теперь не поднимаю».

Прошло какое-то время. Опять заглянул к нему.

– Ну что, окончательно оклемался?

– В Орёл собрался. Тебе тоже в Орёл? Ну, тогда поехали вместе.

Сели мы в «Запорожец». Низенький, жёлтенький такой. Это у которого, как в анекдоте, два мотора: и впереди, и сзади. «Запорожец» Шурику от отца в наследство достался. А отцу его Ивану Ивановичу государство дало. Специально вышло постановление: давать «Запорожцы» не просто инвалидам войны, а какие не могут передвигаться, безногим. А Иван Иванович вернулся с войны без правой ноги.

Сел Александр Иванович за руль своего «Запорожца», я за ним, за его спиной. Выезжаем, из Глазуновки, и тут, как на грех, пошёл дождь.

– Кабы чего не случилось, – сказал Шурик Горохов.

– А чего случится-то? Руль в надёжных руках.

И только выехали мы из Глазуновки, как тут же дождь пошел. Повернули мы налево, по дороге на Орёл, как р-р-раз, и полетели мы вверх тормашками. Несколько раз перевернулись. Лежим в поле. Запахло гарью.

– Выбираться надо скорее, – застонал Шурик.

А я могу выбраться только через него. Пихаю я его в дверцу, а она в землю вошла, никак не открывается.

Вдруг слышу где-то над нами голос:

– Товарищ начальник! Товарищ начальник!

А это милиция глазуновская, милиционеры выехали в Новополево. Увидели нас, подбежали. Перевернули машину. Поставили на ноги. Подошёл главврач Глазуновской больницы, тоже ехал в Орёл.

– Отвези друга моего, – попросил его Александр Иванович.

Сел я в машину с красным крестом. А внутри у меня всё дрожит от только что пережитого. Да и в самом Орле, уж на самом въезде в город, опять едва авария не случилась. Но, слава богу, домой всё же добрался. Больше никаких приключений не произошло.

* * *

Однажды я был у Александра Ивановича уже под конец его жизни. И он мне, как близкому другу–товарищу, как одному из первых своих, ещё школьных друзей, пожаловался:

– Сын мой Игорь–то не хочет жить дома. В Курск уехал, работает на метеослужбе. Ты, говорит, мент, работаешь в милиции, людей сажаешь.

– Да какой же ты мент, – говорю я ему, – сажаешь не ты, а суд. А ты народ защищаешь.

И теперь, когда его нет, каждый раз, проезжая в Малоархангельск мимо Глазуновки, смотрю я направо, где лежит Шурик Горохов – друг мой, который всегда в душе моей находится на страже дружбы и в то же время порядка. Друг если не из закадычных, то тоже из моих самых первых.

ШУРИК ДЕНИСОВ – ЛЮБИТЕЛЬ МЕНЯТЬ МЕСТА ПОСТОЯННОГО ОБИТАНИЯ

А этот мой школьный друг, тоже с первого класса, как и друг мой Шурик Горохов, имеющий свою примечательную черту как любитель животного мира, тоже имеет свою особенность: он любитель менять места постоянного обитания. Недаром первый его специальностью была железная дорога, которая, как известно, для того и существует, чтобы по ней все ездили кто куда, меняли места своего постоянного обитания. Так и Шурик Денисов. Десять классов он со мной не заканчивал, а после семи классов школы отправился прямо в Орёл, в железнодорожный техникум. Это в Орле, где Семинарка, когда-то там была духовная семинария.

Ну, а после такой преамбулы начнём, как говорится, с самого начала, а именно, с первого класса, где мы когда-то с Шуриком Денисовым встретились. Мной уже говорилось, как он с матерью ходил на Украину и привёл оттуда корову, покрыв расстояние в две тысячи километров. Добавить к этому больше нечего, кроме того, что после того Шурик заболел и говорить стал тихо-тихо. Да, забыл сказать, что по матери своей Марии Зазхаровне он Кулешов, а тётя Дуся, моя тётя родная, тоже Кулешова, Шурик Денисов, как говорят у нас тут, оказывается, «сво-як» мне, то есть родственник.

Так вот первое, чем отличался Шурик Денисов в школе, так это тем, что с пятого класса он лучше всех учился по французскому языку. То ли от болезни горла и носа

(после похода на Украину), то ли ещё отчего, но у него был настоящий французский «прононс» – лучшее в классе произношение. Наша учительница французского Иванова Анна Васильевна его за это хвалила, заставляла читать тексты перед всеми вслед за собой.

Так вот, уехал Шурик Денисов в Орёл, в железнодорожный техникум, а я всё ходил к Денисоваым на Репьёвку. Всё крутил на патефоне пластинки. Была там и такая пластинка, где пел артист Ефрем Флакс песню со словами:

«... сколько ты могла мене»...

Я ставил её, наверно, сто раз, и всё «сколько ты могла мене», пока, наконец, не догадался:

«Сколько дыма, пламени
Видали облака».

Однажды разобрал я Шуриков патефон, за что получил нагоняй от сестры его Маинки, так я вникал в смысл удивительных слов «сколько ты могла мене», и потом уже не собрал патефон. Надеялся, что Шурик приедет и соберёт. А он всё не приезжал. И тогда я поехал к нему в Орёл, в его железнодорожный техникум.

Дело было в субботу. Как раз танцы у них по субботам. Встретили ребята меня радушно, устроили в общезитии переночевать. Это вместо того, кто уехал на выходные домой. И всей кучей пошли мы в актальный зал, где проходили танцы. Запомнились мне не девчата даже, а полы паркетные в актовом зале. Таких у нас в Малоархангельске не было. Ни в школе, ни в клубе.

Одно хочу я отметить в Шурике: тихий – тихий, а упёртый, вернее, упорный, когда дело чего-либо касается. Такую историю он мне тут рассказал. Как известно в 1953 году, в марте – месяце, умер вождь всех народов, и все народы и каждый в одельности, а иногда и группами ринулись в Москву на похороны вождя. Шурик Денисов сколотил мобильную группу учащихся, и они отправились тоже в Москву. Сначала, конечно, железной дорогой, а она для них – из железнодорожного техникума –

льготная, бесплатная. Доехали, по-моему, до Серпухова или Подольска, и тут их, как и всех, высадили. Всех высаживали и отправляли назад.. Москва не резиновая, всех принять не может.

Но что Денисов Шурик придумал. Пошли они всей своей группой вдоль железной дороги пешком. Шли, шли, как какие-нибудь паломники через святой источник «Неопалимая купина», и пришли они в Москву. В Москву-то пришли, а в Москве народу тьма – тьмущая. Пошли по Москве – сверху вниз по Ленинградскому шоссе, мимо Белорусского вокзала, по улице Горького, по Тверской – Ямской. А люди идут ещё дальше вниз, на Манежную, к Колонному залу, где выставлен гроб с телом вождя, идут сплошной толпой. По крышам идут, топчут друг друга. После обуви от погибших собирали несколько дней. Шурик организовал свою группу так: ребята, какие покрепче, снаружи, потом просто ребята, а внутри всех девчата. Так и прошли до Манежной.

Но дальше-то что? Налево их не пропустили, к Колонному залу, а развернули направо, в другую сторону.

А всё же в Москве они побывали. Потом в Орле всем рассказывали, как они ездили в Москву, хоронили вождя. Мне тоже слушать было интересно. Но я о другом: какой у Шурика Денисова характер. Тихоня, а поди ж ты! Корову за две тыщи километров с Украины домой привёл, в Москву к Колонному залу пробился. Я, наверно, так бы не смог. Я даже патефон у него разобрал, а собрать не сумел.

Что ещё относительно его как любителя менять дислокацию, то есть места постоянного пребывания? Взяли его в армию, попал он в Прикарпатский военный округ. Это у западных границ страны. И вот мы встретились с ним. Как я там оказался? Сестра моей матери – тётя Дуся со своим мужем – дядей Гришей оказались там в конце войны. Дядю Гришу демобилизовали как получившего под Сталинградом контузию. А я подозреваю, для борьбы с «бендеровщиной». И вот я посылаю Шурику Дени-

сову письмо в его воинскую часть, расквартированную где-то неподалёку от Львова, в Раве Русской, что ли? Написал я на имя командира части, чтоб отпустили солдата, дали бы увольнительную, что я, брат его, приехал бы он сюда к родственникам. Он и в самом деле, как я уже говорил, был по матери Кулешов, как и все они тут Кулешовы. То есть был всем им «свояк», а значит, и мне.

Позвонил он, открыли дверь ему: стоит человек в военной форме. С лычками на погонах. Рады, конечно. Обнялись, усадили за стол. А как в город идти – в форме-то? Отдал я ему свой пиджак запасной и штаны. Допоздна мы бродили по городу. А вечером по своей улице Пушкинской за трамваем бегом бежали, опаздывали на репортаж о футбольном матче каких-то важных команд. Шурик, помню, болел за ЦСКА, а я – за московское «Динамо». Ничего, успели как раз к репортажу, вёл его, как всегда, комментатор Вадим Синявский.

На другой день пошли мы в главный, самый красивый парк Львова – в Стрыйский парк. Сфотографировались у фонтана. Фотография та где-то есть у меня, надо её поискать. И Шурик Денисов стал мне рассказывать историю, которая произошла не так давно в армии, в их Прикарпатском военном округе.

– Поднимают нас на ночь по тревоге. На машины! Подцепили мы пушки и вперёд. Куда-то в сторону границы. Ничего не говорят. Всё в строгой секретности. Ну, мы-то догадывались. И радио, и газеты уже сообщали, что в одной из стран Варшавского договора все бурлят и кипят, надо их успокоить. А у нас пушки...

– Как ты, – говорю, – в артиллерию-то попал?

– Как? – отвечает Шурик Денисов. – Да как и все. Я же технарь, из железнодорожного техникума. С математикой дело имею, а в артиллерии цифирь только дай.

– А я маршала Конева видел, – говорю я ему ни с того ни с сего. – Командующего Прикарпатского военного округа. На Октябрьскую была во Львове демонстрация, шли колонны по Первомайской мимо оперного театра.

Лида наша, сестра моя двоюродная, взяла меня с собой в институтскую колонну, я шёл рядом с ней. Остановились перед трибуной, и тут я вижу: дядька смотрит на меня сверху вниз, лысый, на Хрущёва похож...

– А что, и Хрущёва видел? – спрашивает меня Шурик Денисов.

– Проезжал через Орёл в свою Хомутовку, или как там её... в Михайловку...

– Ну, так мы отвлеклись. Маршала Конева видел? А ведь после Жукова и Рокоссовского он, наверно, тоже был главным маршалом на войне...

– Я и Рокоссовского видел, – говорю я. – Летом срок третьего, на Орловско-Курской дуге, у нас в Малоархангельске, во дворе старой школы.

– А Рокоссовский на кого похож? – улыбается Шурик.

– На самого себя, – говорю. – Красавец. Высокий, статный, шевелюра какая надо... Ну, так что там с твоей пушкой-то было?

– А-а, да ладно, – махнул рукой Шурик Денисов. – Говорить сейчас об этом не модно... Ввели нас в город очень большой, столичный. Приказали поставить пушки в ряд, одну к другой... Как грохнули, так полквартала и нет. Били, пока не успокоились...

После «демобиля» Шурик Денисов вернулся домой к себе в Малоархангельск. А у них с Репьёвки ребята уже работали на Донбассе, в чёрной металлургии. С Репьёвки родом был знатный сталевар страны Кузнецов, он всех там у себя привечал... Наш однокашник Мишка Кузнецов уж поехал к нему.

– Ну, и я обратился, – сказал Шурик. – Он и меня взял, можно сказать, под своё крыло.

– Опять оказался ты на Украине? – говорю я. – Как тогда, когда ходил за коровой. Инстинкт сработал к перемене мест?

– Да уж, – ответил мне Шурик. – И надолго. Закончил на Донбассе металлургический институт, стал инженером – металлургом, женился, дочь у меня родилась. Жена

Лена у меня украинка... И опять мной овладела, как ты говоришь, охота к перемене мест. Вернулся я на родину...

И запел я, а Шурик стал мне подпевать:

*– Вернулся я на Родину.
Шумят берёзки встречные.
Я много лет без отпуска
Служил в чужом краю.
И вот иду, как в юности,
Я улицей заречною.
И нашей тихой улицы
Совсем не узнаю.*

– Ну, а остальное ты всё знаешь, – сказал Шурик. – И как я тут в райкоме работал. Сначала заворгом, потом вторым секретарём райкома. И вот редактор районной газеты «Звезда».

– Да как же ты, – говорю я Шурику, – инженер – металлург, а работаешь редактором газеты, секретарём райкома был?

– Да так вот и работаю, – улыбается как-то застенчиво Шурик. – Не прогоняют, значит, работать могу.

– Да ты ещё в школе учился хорошо, – говорю я ему. – По французскому, например, был в классе лучшим учеником.

Тихоня – тихоня, а допилит до пенсии. Стал сидеть дома, в шахматишки сам с собою поигрывать. Как ни приду, сидит, в шахматы играет, этюды разбирает. Или футбол смотрим, болеет по-прежнему за ЦСКА. Полез на крышу антенну ставить, направил её на Старый Оскол. Оттуда, оказывается, спортивные передачи телевизор лучше берёт, чем из Орла или Курска.

Стали иной раз мы с ним ходить к Саше Федоренко. Тот на истории помутился, а Денисову Шурику это неинтересно.

– Может, и литература тебе не интересна? – говорю. – И музыка?

– Нет, почему же, – отвечает мне Шурик Денисов. – Иногда что-то нравится. А вообще, показывал ты мне

свои записи на магнитофоне. Акапелльные, без оркестра. Не очень-то интересно.

– Где же я возьму тебе ещё и оркестр? – говорю я. – Мало тебе, что ли: сам слова пишу, сам на музыку их кладу и пою сам свои песни. Ещё и оркестр тебе подавай. Это ты только так можешь: металл плавяшь, партией руководишь, и в газетке пописываешь...

– В шахматки играю, – улыбается иронично Денисов Шурик.

– Отец Дионисий, – улыбаюсь я ему, но не очень-то иронично. – Опять куда-нибудь наострился переезжать?

– К дочери, к внучке под Кострому, – говорит Шурик, Александр Кузьмич Денисов, бывший редактор «Звезды». – Дочь – завуч школы, а внучка заканчивает институт.

Не верилось мне как-то во всё это. На старости лет люди ведь к родным берегам прибываются. Но, когда услышал от Маинки, Шурик продаёт квартиру, чтобы купить там дом, поверил. Пришёл Шурик ко мне прощаться. Сидим вдвоём на веранде. Буылочка перед нами, разговор такой, как бывает на прощёный день перед Пасхой.

– Тут ты в городе – базар под рукой, магазины близко, – говорю я ему. – А там что? Где-то под Костромой, деревенька –то, деревушечка.

– Зато земли, сколько хочешь, – говорит он. – И молодые наши всегда под рукой. И на огороде землю копнут и воды, если что, подадут...

– Мать лежит тут твоя на кладбище, Мария Захаровна.

– Сестра моя тут, Маинка, за могилкой присмотрит.

В последний раз сюда приехал, – вздохнул Шурик. Денисов Александр Кузьмич, и глаза его завлажнелись. – Больше не приеду... Если только ногами вперёд принесут...

Так мы с ним и расстались. Вот уже прошло два или три года, а он ни разу даже не позвонил. Помню, проводили мы мой день рождения тут, в Малоархангельске, на нашей усадьбе под материнской яблоней. Собрались три

«Кузьмича»: Николай Мозжухин, Шурик Денисов, Виталий Романчиков и примкнувший к ним я, «Михалыч». А на сей раз из «Кузьмичей» только один Кузьмич и приехал на мой юбилей: Коля Мозжухин. Денисова Кузьмича не было, как отрезало.

Подошёл его второй Юбилей – в ноябре. Звоню ему туда под Кострому:

– Поздравляю тебя, Кузьмич!

Голос дрогнул его:

– Вчера был у меня День рождения, вчера – 17 ноября. Спасибо тебе, дорогой, что не забываешь.

ЛЁНЯ МОРОЗОВ – ОТ ТЁПЛОГО КУРСКА ДО МОРОЗНОЙ ЧИТЫ

Школьные друзья у меня закончились, начинаются студенческие. И что интересно, чем старше, тем меньше у тебя друзей. А у писателей, журналистов их вовсе почти не бывает. Но Лёня Морозов, Леонид Тихонович Морозов – друг у меня с молодых, ещё студенческих лет. И это я сделал глупость такую: отправил Лёню, согласно его фамилии, в морозную Читту, в Забайкалье, отсюда, из Середины Руси, из тёплых мест Курска и Орла. Думал, что отправляю его на какое-то время, а получилось, что навсегда.

Но что он друг мне, так это факт, который не вызывает сомнений. Столько лет хороших, добрых человеческих взаимоотношений может выдержать только дружба. Я и отправил его в Читту по дружбе; после окончания им аспирантуры в Харьковском мединституте он не мог найти тут соответствующую работу: ни в Курске, конечно, где мединститут, ни в Орле, ни в Смоленске, ни в Иваново. И только где-то там, за Байкалом, в Чите оказалось место зав. кафедрой, куда я ему и посоветовал ехать.

Однако я уже взял себе за правило: писать о своих друзьях соответственно времени, когда я с ними встре-

чался. С детства или с молодости и до нынешних, поздних, преклонных лет, когда кто-то ещё жив, а других уже нет. Но всё равно воспоминания о них ещё глядят мне душу. Так вот, первая встреча у меня с Лёней Морозовым состоялась в Курске, на Чулковой горе, 21, где мы жили тогда на квартире у бабушки Тани Медведевой. Я и вовсе жил в комнате её внука Вити Таратина. Мы с ним учились на литфаке Курского пединститута, в одной группе, и он позвал меня к себе домой на Чулкову гору.

А в соседней комнате, на той же Чулковой горе, жили ребята – все трое из мединститута. Двое Лёней и Юра Новиков. Один Лёня Большой, а другой Лёня Маленький, я был просто Лёня, хотя в паспорте у меня «Леонард». Так вот... Большой Лёня, Леонид Тихонович Морозов, и оказался другом мне по сию пору, до настоящих дней. Кто же про это знал тогда, что так оно будет? Я думаю, это, может быть, оттого, что у Лёни Морозова много братьев, а у меня вообще тяга к хорошим людям. У Лени Большого была тяга к поэзии, сам пописывал стихи, а у меня стихи были, видно, хорошие. По крайней мере, так получилось, что кое-что было опубликовано в «Курской правде» и о них неплохо говорили в определённых кругах.

Самое яркое впечатление о литературе тогда, на Чулковой горе, было, когда Юра Новиков достал где-то книгу, прогремевшую по всей стране «12 стульев» и «Золотой телёнок». Принёс Юра её всего на одну ночь. А нас тут, студентов, пятеро. Что делать? И мы читали её по очереди всю ночь. Хохотали до упаду. Так было нам всем интересно. Мы с Лёней Морозовым сидели рядом, и именно тогда у нас с ним установился первый эмоциональный контакт.

Память у него была неважнецкая. Однажды он забыл свой халат на крыше туалета, туалет был на улице, и нашёл он его только весной, когда халат уже фактически сгнил. В самом деле, память неважная, а учился он на отлично и стихи знал наизусть. Такой упорный, старательный был, чем от многих других и отличался.

Сам Лёня был брянский и ездил в Брянск через Орёл. И вот приезжает он после харьковской аспирантуры к нам в Орёл. Наш малоархангельский Юра Забин, приятель наш, тоже учился с Лёней, в Курском мединституте, и был в это время первым замом заведующего облздра-вотделом, причём по кадрам. Лёня к нему и обратился. Тот нашёл ему местечко в областной психоневрологической больнице. Лёня Морозов там и начал работать, а жил пока у меня. А я в то время жил в общежитии на «Химтекстильмаше», в комнате нас уже было трое: я, жена и сынуля Игорь. Однако мы нашли местечко и для Лёни Морозова. Спал он на раздвижном кресле, которое цело и до сих пор. Стоит в большой комнате нашего дома в Малоархангельске.

Поработал Лёня в этой психбольнице, видит, что-то ему не нравится. Покрутился туда – сюда, позвонил, поездил по ближним городам – нет ничего подходящего. А в Чите есть. Я туда его и направил. Мол, побудешь зав. кафедрой, приобретёшь опыт и вернёшься. Скорее возьмут где-нибудь тут, в каком-нибудь городе, где мединститут, с опытом и кандидатской степенью. Он и поехал.

Прежде чем ехать летом в отпуск сюда, как он говорил, в «Европу» (в Брянске у него жили братья), он звонил обычно мне: к тебе, Леонард, мол, заеду. Заезжай, конечно, будем рады. А мы в это время летом жили на даче во Мценском районе – жемчужине нашей Орловщины, в посёлке Синяевском – этой «орловской Швейцарии». Приехал однажды Лёня Морозов сюда к нам на посёлок, и стали мы с ним тут ходить по окрестностям. А он ведь брянский, леса любит. И их тут сколько хочешь. Синяевский даже на окраине крупного дубового леса. И берёзовые перелески кругом. Даже сосновый бор имеется, у Сойминовского моста. И грибы всюду всякие, и орехи, и ягоды. До Чернобыля, во всяком случае было так. Да и сейчас ещё ничего. Не так, конечно, как было, но всё-таки что-то есть.

И луг заливной, и две речки, одна в другую впадает, Алёшня в Зушу. Зуша так вовсе с островами. В общем, очень ему тут понравилось. Ну, и что же что дом не дом, а хибара какая-то, изба деревенская. Это всё-таки лучше же, чем какой-нибудь шатёр, палатки, которые приносят сюда с собой рыбаки из Орла и Мценска и устанавливают по берегам.

– Буду всегда сюда приезжать, – говорит на прощанье Лёня Морозов. – Запиши, Леонард, мне свои стихи на память, например, «Родная речь». Буду читать их там, в Забайкалье, и вспоминать тебя и чудесные ваши места.

Я и записал ему эти стихи, которые иной раз читаю тут поблизости, на Фетовской поляне, на Фетовских праздниках поэзии.

Родная речь

*Ты хранись в нас, о русская речь!
Острый меч и испытанный щит!
Нам бы землю родную сберечь,
Русь святая себя сохранит.*

*Сохранит землю Русскую сын,
Сохранит сына Русская мать.
Будем ей молчаливо внимать
Под гортанные скрипы осин.*

*Под тележный заржавленный звук,
Под кровавые просыпи рос.
Был мой дедушка великоросс,
Не согласен на малое внук.*

*Ты хранись в нас, о русская речь!
Русь, Россия, родимая мать!
За неё уж пришлось в землю лечь,
За неё ещё будем стоять.*

– В другой раз приедешь, – говорю я Лёне Морозову, – я тебе их уже спою, песней слеаю, слова положу на музыку своей души.

Пошли мы с Люсей провожать его на здешний, сельский автобус да и поехали с ним, провожая, во Мценск, доехали до автостанции. Часочка два подождали, пока автобус «Тула – Орёл – Брянск» не подошёл. Посадили мы Лёню, помахали рукой:

– Приезжай опять!..

Кто же знал, что следующего раза у нас тут с ним больше не будет. Переберёмся мы отсюда в свой дом в Малоархангельск. Да ведь и в Малоархангельск Лёня Морозов приедет.

Но прежде мы побывали в Курске. Повстречались с однокашниками Лёни, с которыми вместе они в институте учились. А с одним – с Симочкой – так и вовсе кончали в Харькове аспирантуру. И поехали из Курска мы с Лёней к нам сюда в Малоархангельск.

Тут уже другой, так сказать, «коленкор». Там, в Синяевском, флора, а тут, как говорится, фауна, вроде бы цивилизация. Конечно, на усадьбе тут у нас и яблони, и груши, и малина со смородиной, и даже боярышник, у которого мы с Лёней Морозовым на память и сфотографировались. Но это всё-таки город: улицы, дома, тротуары, асфальт. Не то, что в Синяевском. Есть, конечно, в Малоархангельске ещё и пруды вокруг, их тут много. И рыбы всякой, видно, немало, если на электричке ездят из Орла сюда с удочками всякие рыбаки.

Пошли мы с Лёней Морозовым центр посмотреть: Парк Героев с Вечным огнём. Восемь скульптур –это Герои Советского Союза, наши земляки.

– Есть тут такие земляки, – спрашивает Лёня, – которых многие знают? Знатные земляки.

– Есть, конечно, – говорю. – Вот лётчица Марина Павловна Чечнева, вот командующий фронтом генерал армии Цветаев, по его имени названа улица в Орле, вот Гринёв – мэр города, получил звание Героя за форсирование Днепра...

Вернулись мы домой, сели обедать. Вижу, наша мама всё крутится возле него, а он ей помогает. Уехал он и забыл тут свою фуражку. Только на другой день обнаружилось. Звоню ему по мобильнику:

– Фуражку-то свою ты забыл.

– Ничего-ничего, – спокойненько этак говорит он мне. – Носи на здоровье, пока ещё к тебе не приеду.

А когда теперь приедет? Не знаю. Дочь у него стала кандидатом наук, поехала в Брянск, устраиваться на работу, там у них квартира. Поработала, пожила маленько и назад, в Читу к себе. Родилась-то она в Чите. А я знаю, сибиряков да забайкальцев, которые там родились, клещами их сюда из «сибирей» своих не вытащишь.

Уехал Лёня Морозов из тёплых наших орловских и курских, брянских местечек туда, аж за Сибирь, в морозную эту Читу, и мы тут с Люсей сидим и вспоминаем его, Лёню Большого.

– Посмотри, – говорит она, – какой он друг у тебя. Настоящий. Спокойный, рассудительный, какой-то уютный. Психотерапевт, да? Но не только это, сам он просто такой. Заметь, в Синяевский приезжал, чай задумали пить в саду, он тут же за самовар взялся. Сапог какой-то нашёл, стал качать им, разжигать самовар. Тут на кухне тоже мне помогает: то картошку почистит, то за петрушкой, зелёным луком сбегает на огород...

– Это всё тебе он помогает, – говорю я. – К тебе подлизывается.

– Он и тебе хорош, – отвечает она. – Подаришь ему новую книжку, так он всю её прочитает. От корки до корки. И выскажет своё мнение. Нравится ему, как ты пишешь, как за душу ты берёшь человека...

– Это верно, – поразмыслив маленько, говорю я ей. – Внимательный человек. – Попросил его, помню, поискать книжку про протопопа Аввакума, так он в доску расшибся, а прислал её мне, добыл где-то.

– Он и мне так, – улыбается Люся, Людмила Серафимовна, жена моя. – Никогда не приедет, бывало, без чего-

нибудь интересенького. Или чаю особого, китайского, привезёт. Или тебе вот прислал чего?.. Плечо у тебя болит, остеохондроз, что ли, или, как его, артроз... Игорь делает тебе массажи всякие, но всё болит и болит. А Лёня к Новому году прислал два аппарата, которые можно прикладывать к больной точке... Я, говорит, уже опробовал на себе. Лечит... Ну, и я прочитала всё это, что на коробке написано: «Бимаг. Устройство – аппликатор магнитостимулирующий»... Сходила в аптеку, проконсультировалась. Говорят, всё в порядке. Можно применять. Я уже применяю. Попробуй и ты...

Попробовал и я. Два дня применял. Держал по 6-8 часов на одной точке – синем цветом вниз, к телу. То руку поднять было невозможно, а то сразу вроде эффект какой-то, как-то вроде улучшело... тьфу-тьфу, как бы не сглазить. А применять надо месяц, то есть раз тридцать подряд...

Вот сижу, пишу про Лёню Морозова, а «Бимаг» у меня на плече. И мне как-то легче, спокойнее. И Лёню Большого, Леонида Тихоновича Морозова, вижу там, аж за Восточной Сибирью, в этой морозной Чите, куда я услал его работать зав. кафедрой. И теперь вот жалею. Но он и оттуда, из Читы морозной, умеет меня доставать своим теплом, дружеским расположением, просто как человек...

Вот и к нему приближается Второй Юбилей. Я заранее послал ему свою новую книжку «Орловскую лавру». Думаю, как раз к этой дате получит. А дата-то у него необычная: вся страна отмечает как праздник, весь наш Малоархангельск. Надо же, для всех – это День освобождения Отечества, для Малоархангельска – День освобождения города от немецко – фашистских захватчиков в 1943 году, а для Леонида Тихоновича Морозова – День рождения, День его Юбилея.

Звоню ему в этот день, 23 февраля 2016 года, и говорю:

– Поздравляю тебя, дорогой! Сколько лет мы знакомы с тобой, с 1954 года?

– А может, и больше, – смеётся он. – Наверное, больше...

Слушай, прочитал твою новую книжку. Просто сил нет не сказать тебе, Леонард, большое спасибо. Тёплую книгу ты написал, так трогает она душу. Всех людей, о каких ты пишешь, видишь в глаза. Большое сердце у тебя, ты – человек!

И я в ответ ему:

– Недаром ты Большой Лёня! Большой Леонид! Так получилось у нас в Курске, что я учился в пединституте, а дружил с медиками и с тобой. Благодаря тебе познакомился с Симочкой, Вадимом... Конечно, Лёня, далеко мы теперь с тобой друг от друга. Страна-то у нас велика, и всё же видимся мы с тобой довольно часто.

Для дружбы нет расстояний, так и слышу я голос твой по телефону, как будто с соседней улицы. Со всеми его интонациями и обертонами. У тебя баритон, у меня тенор, и поём мы с тобой дуэт, как из оперы какой-нибудь, из «Евгения Онегина».

МОЯ РОДНЯ.

ВИТЯ – В МОСКВЕ

Из родни моей, из моих двоюродных, я начну с Вити московского. Почему с него первого? Просто так, ни почему. Есть сестра постарше его, есть помоложе. И отец его, дядя Максим, тоже был средний по возрасту из моих дядей, дедушкиных сыновей. И начну я с Виктора Максимыча как с первого, но с конца, со Второго Юбилея, куда Виктор Максимыч Нижевясов приезжал ко мне, в Орёл и Малоархангельск, с другой моей сестрой двоюродной Алей – дочерью тёти Дуси, родной сестры моей матери Марии Герасимовны.

А впервые я увидел Витю, когда он учился в девятом классе и приехал к нам сюда в Малоархангельск. Есть даже фото. Стоим мы на порожках своего дома вместе с

дедушкой Герасимом Макаровичем, он был тогда ещё жив. И получилось в этом слове о Вите у меня «рондо» – опоясывание такое, но, наоборот, с конца на начало. А сами эпизоды встреч с Витей пойдут, как обычно, встречи одна за другой по порядку.

Помню, приехал я после десятого класса в Москву, поступать в МГУ, на факультет журналистики. И меня поселила у себя дома Витина мать – тётя Ляля Мороз, Олимпиада Сергеевна, она была женой среднего сына нашего дедушки Максима Герасимовича. И тут, на Кожухово, была моя первая встреча с Витей, с их семьёй. Что запомнилось мне? То, что дед по материнской линии был у Вити фельдшером, а сам Витя родился во Льгове Курской области. А у нас дедушка был крестьянином, бабушка – казачкой, одним словом, имели дело с землёй, трудовая семья, земная.

Отец Витин – Максим Герасимович – тоже жил у матери моей и отца, когда приехал со своего сельского корня, с юга Воронежской области, с хутора Хорольского, в Воронеж учиться. Два брата, когда учились, жили у матери моей и отца – старший брат Гавриил Герасимович и средний – Максим Герасимович, Витин отец.

Такая-то семейная иерархия. Витя дано уж в Москве, сразу после войны. Мать его тётя Ляля, говорят, была главным бухгалтером какой-то большой строительной организации, которая строила на Манежной площади гостиницу «Москва». А сам Витя давно забыл, что родился когда-то во Льгове. А ведь Льгов-то знаменит тем, что там вроде родился замечательный русский писатель Аркадий Петрович Гайдар.

На поминках ушедшего из жизни курского писателя Евгения Ивановича Носова я сказал:

– Гайдар-то – это псевдоним, настоящая фамилия его Голиков. И родом он из деревни Голиково Колпнянского района Орловской области, где-то под курскими Щиграми.

– Всех бы себе забрали вы, орловцы, – возразили тогда мне писатели – куряне. – Мало вам классиков: Тургенева, Лескова, Фета...

– Гайдар – скачущий впереди, – сказал я. – Но это не значит, что он должен быть в другом полку, как, например, в Баку Гейдар Алиев. У нас полк один – литературный, и Аркадий Петрович Гайдар в гражданскую войну был командиром полка едва ли не с четырнадцати – пятнадцати лет.

Это я всё про Витю, Виктора Максимыча Нижегородова, своего двоюродного брата по отцу – среднего по возрасту брата моей матери Марии Герасимовны. Про Витин родной город Льгов, откуда ходит сейчас прямой пассажирский поезд до самой Москвы.

Приезжали мы в Москву и, конечно, останавливались на квартире у Вити на улице Балтийской, а перед тем я бывал в Кожухово, что в районе автозавода. После мы бывали в Витиной семье на улице Саши и Зои Космодемьянских, где прямо из окна можно было видеть памятник Зое – нашей героине, жившей до войны, где-то поблизости.

Оттуда Витя со своей семьёй переехал в другой конец города на ул. Москворечье. А почему? Разменяли большую квартиру сталинского типа на две квартиры – для себя и для дочери Лады. Но старшая её дочь, внучка Витина Даша, осталась жить с ними.

И что произошло? После того совсем изменилась жизнь у Вити. Квартира его находится теперь на одной, «зелёной» линии метро, но то было на одном конце линии, а теперь на другом. Через всю Москву надо ехать Вите на работу. Как ни приеду в Москву, так всё с ним некогда поговорить. То Витя с работы возвращается поздно и сразу же спать, завтра рано вставать, а то утром встанет чуть свет и опять на работу. На какой-то завод оборонного значения или это какая-то лаборатория по производству артиллерийских снарядов. Так сложился обмен квартиры: дочь с семьёй живёт отдельно и рядом.

Нужно сказать, что и Витя, и его жена Лена, и даже Витин двоюродный брат Борис по материнской линии – закончили Высшее техническое училище имени Баумана.

Все технари – инженеры. Но мужики- братья работают по оборонной линии, Борис – специалист по ракетам , а Витина жена Лена всю дорогу себя ищет. После Бауманского она ушла в психологию, в последнее время работала на факультете психологии в МГУ.

Вот Витя уедет с утра на работу, а мы с Леной остаёмся. Садимся завтракать, и она давай мне всё говорить, рассказывать. Чего только я от неё не услышу. Как всё это нужно для знаний о человеке, важно для литературы. Сколько книжек мне она всяких передавала. Щедрой, доброй души человек. Это для меня. А жене моей Люсе Лена Нижегородова вовсе подруга, такая у них задушевность, Ничего не жалко Лене для нас: ни знаний, ни вещей каких-то...

Был однажды я у неё на работе на психологическом факультете. Это на Манежной площади, в старом здании университета. Она показала мне стол, где заседают учёные-психологи, которые разрабатывают новые идеи, делают открытия для всего человечества... Как магнитом меня всё это тянуло к себе...

И вот приходит ко мне Второй Юбилей. В Орёл к нам приезжает моя родня: Витя из Москвы и Аля из-под Нижнего Новгорода. Идём их встречать а Лены Нижегородовой нет, тяжело заболела. Прямо с вокзала мы отправляемся в областную библиотеку имени Бунина, где проходят основные мероприятия. Посадили моих двоюродных впереди и рядом, на видное место. Сидят они, как вкопанные. Слушают, что обо мне говорят. Ведь и не знали, что мной в литературе, как говорится, «накопано». Писатель да писатель, а что это значит, какие книжки у меня, да про что они, да какое они имеют значение – всё теперь слушали, можно сказать, с большим интересом.

Ладно, пришли мы после этого домой к нам, неподалёку тут, на улице 8 Марта. Продолжили культурное общение.

– Лена не приехала, – говорим Вите мы в один голос с Люсей. – А мы так ждали её, и она так хотела.

– С сердцем что-то у неё нехорошо, – с грустью говорит Витя.

На другой день продолжили мы праздник дома у нас, за тем же столом. Теперь на повестке дня был Алин День рождения, 25 июня.

– А ведь Лена твоя, – наклоняюсь я на ухо Вите, брату моему по дяде Максиму, – она мне говорила, что казачка она. Тоже из Воронежской области, из поселения Анна. Да и ты, Витя, тоже казак. Донские мы с тобой казаки. У нас бабушка Аксинья, говорил дедушка нам, что Аксинья – донская казачка из воронежского Калача...

– Если ты казак, то почему же он тогда не казак? – говорит Садовский.

– А вот он, – показывал я на Виктора Фёдоровича Садовского, – он – кубанский казак, с кубанской станицы.

– Какая разница! – кричат потом все за столом. – Кто казак, кто не казак, главное – песня летит во всю глотку во широкой степи.

– Ой ты, степь широкая!

Степь раздольная!..

Липа вековая

Над рекой шумит.

Песня удалая

Вдалеке звенит.

И вот мы в Малоархангельске. Продолжили юбилей в доме своём, а на другой день пошли на кладбище, где лежат рядом дедушка наш Герасим Макарович и мать моя Мария Герасимовна и поставили перед ними по корзине живых, жарких цветов.

Помните нас, и мы помним вас,

Не забываем.

Проводили мы родню свою на станцию – Витю и Алю, и они уехали одним поездом на Москву. И это было в середине лета. А в начале осени раздался телефонный звонок, и Витин голос, скорбный, донёс до нас страшную весть:

– Лены нашей не стало.

Сердце оборвалось. У Люси выступили на глазах слёзы. Собрались мы и тут же поехали в Москву.

Провожали в последний путь дорогого нам человека.

Через всю Москву ехали, провожая Лену, с юга на север.

Положили в могилку, где лежали мать и бабушка Витины.

И обратно возвращались через всю Москву домой к Вите, на улицу Москворечье.

И сидели мы за столом, поминая Лену, говорили всё о ней только хорошее, даже замечательное. И откуда только всё у нас это бралось?

Лена, мы будем помнить тебя всегда, пока живы.

Будем помнить живой.

ЛИДА – В ТОМСКЕ

С недавних пор сестра моя двоюродная Лида, Лидия Гавриловна (по мужу) Самойлова, а так (по отцу) Нижневасова живёт в Томске, а до того долго жила на Алтае, в степном Алтае, в большом районном селе Мамонтово, в Мамонтовском районе. А ещё до того (до замужества) пожила немного в Барнауле – центре Алтайского края. А в Барнаул приехала с Западной Украины, из Львова по окончании Торгового института. Приехала в Барнаул с подружкой своей институтской Раей, та обратно во Львов укатила, а Лида съездила в Мамонтово в командировку да так там и осталась, выйдя замуж за Колю Самойлова.

Рая была львовская, родом из Львова, так её туда и тянуло, в Подзамче, где был дом её и квартира.

Вот и другая моя двоюродная сестра Аля (младшая дочь тёти Дуси – материной сестры, жены дяди Гриши) тоже львовская, родилась во Львове. Не то, что старшая её сестра Лиля, которую привезли сюда в малолетнем возрасте из Малоархангельска, она родилась в Малоархангельске.

Дядя Гриша очень любил меня ещё с довоенного возраста, называл «мужиком», знал и уважал моего отца. Несмотря ни на что, говорил, что отец мой хороший. Дядя Гриша, имея двух дочерей, очень хотел иметь сына, собирался меня усыновить, обменяв на Алё, тем более что мать моя, потеряв свою первую дочь от какой-то болезни, всё горевала по ней.

После контузии под Сталинградом, где он был комбатом – командиром батареи, дядя Гриша был демобилизован во Львове, к нему туда приехала жена – тётя Дуся с дочкой Лилей. Это было в 1944 году, ещё шла война, а тут, на Западной Украине, всюду орудовали «бендеровцы».

Лида – старшая из моих двоюродных сестёр – с детства была мне как родная. К её отцу Гавриилу Герасимовичу, жившему тут с моим дедушкой, мы из Воронежа и приехали. Она прожила с нами тут всю войну, была в оккупации и после оккупации в горящем подвале вместе сидели во время нашего Освобождения. По окончании средней школы в Малоархангельске поехала к другой своей тёте – к тёте Дусе, во Львов. Сначала Лида поступила в школу лаборантов по молоку, закончила её и была направлена в село Пустомыты. Тут-то она с «бендеровцами», как говорится, и познакомилась. Днём они все хорошие, молоко несут на маслозавод, разговаривают с тобой по – человечески, а как стемнеет, стучат в окно, угрожают:

– Лида, уезжай отсюда!.. Лида, уезжай!..

Лида и уехала из Пустомыты, поступив во Львове в Торговый институт.

Нужно сказать, во Львове у Лиды впервые пересеклись пути – дороги с младшей моей двоюродной сестрицей Алёй, Альбиной Григорьевной. Я тоже бывал во Львове у тёти Дуси и дяди Гриши. Чуть было не стал там учиться, но, славу богу, вовремя возвратился обратно в Малоархангельск. А затем поступил в Курский пединститут, на истфил, который и закончил. После работал в Губкино и Луковце сельским учителем.

Набрался опыта, всякой народной мудрости. Ну, а потом одна дорожка была у меня – журналиста, писателя.

Теперь о Лиде расскажу поподробнее, о ситуациях, связанных с ней и со мной. Такая деталь. До сих пор цела у меня рубашка с большой квадратной заплатой на спине. Ещё с пятого класса. Что-то сотворив, я нырнул под деревянную полку у печки. Лида гналась за мной, она всегда мной командовала, так она хватя меня за руку и дёрнула на себя. А в полке этой был огромный гвоздище вниз, он и воткнулся мне в спину.

– Ой-ой-ой! – заорал я не своим голосом.

Выдернула Лида меня оттуда за руку, кровь из меня так и хлещет. Испугалась она и говорит:

– Я тебе сейчас всё замою, дыру залатаю, а ты молчи... Не говори матери... Это наша с тобой тайна...

– Ладно, – сказал я.- Никому не скажу.

Вот она, рубаха та с квадратной латкой, до сих пор на спине. А тайну я сохранил, одна Лида про это знает.

И вот уже через годы, когда я был писателем и братья-писатели прицепились ко мне (я знал, интригу вёл главный мой конкурент ещё с «Орловского комсомольца», – И.Р.), и меня исключали из партии, я сразу же бросился куда прежде всего? К сестре своей Лиде. Сам себя в ссылку сибирскую направил – в степной Алтай, в Мамонтово, где Лида работала в райпотребсоюзе, была там главным бухгалтером, а заодно и парторгом.

Приехал я туда, встал на партийный учёт в районной газете. И тут же Лиду вызвали в райком и дали путёвку в Трускавец, куда она ездила иногда мыть «нафтусей» свои камешки в почках, добывала такие путёвки с великим трудом. И тут же Лида укатила во Львов к тётке Дусе, а там уж ездила автобусом в Трускавец. А мы с Колей, мужем её, остались дома. Ольга, их дочка, в это время училась в Новосибирске на инженера по кабельной связи. А мы с Колей тут хозяйничали. Конечно, без Лиды трудно мне было, зыбковато как-то вокруг, пустота. Я и засел за роман. Прежде всего дал ему название «Два пророка в

одном Отечестве». Знаю: если название есть, роман, конечно, будет написан. Это был уже третий роман в прозе (из моей трилогии – эпопеи).

Коля варит еду – я сижу, пишу. Так у нас и идёт день за днём. Коля – истинный сибиряк, любит картошку с мясом. Да и я не против. Огурцы с капустой таскает он из подвального в снях, а я конфеты леденцовые из наволочки от подушки, которых Лида оставила мне, сказав: «Бери, сколько хочешь». Я и беру, я и пишу. Целый день с утра до вечера, с перерывом лишь на обед.

Коля, глядя на меня, спрашивает:

– Ты всегда так работаешь?

– Ага, – говорю. – Создаю в себе напряжение и – по коням.

– Ну, ты и даёшь, – качает головой Лидин муж Коля – шофёр он, бывший водитель машин по знаменитому Чуйскому тракту в Монголию, нынче слесарь-ремонтник в «автороте», что тут у нас через дорогу.

И давай Коля себе нагонять энергию, делать по заказу «прицепчик» к своей «легковушке», чтобы возить всякие грузы. Так раздухарился, что невозможно. Бежит однажды сюда ко мне со двора и кричит:

– А ну, скорее руку мне замотай !

– Что такое?

А он, оказывается, правую руку ниже локтя себе переломил. Помог я ему руку-то замотать и говорю:

– А теперь я буду картошку с мясом варить.

– Не -ет! – заявил Коля решительно. – Это я тебе не позволю.

Так и варил одной левой. И чистил картошку и мыл её вместе с мясом, а я только ел.

– Тебе, Лёня, надо свой роман дописать, – говорит он. – Это важнее.

И работал я с утра до самого вечера. В субботу в баньку только ходим с ним после обеда.

– И что хоть ты пишешь? – подсаживается ко мне Коля.

И тут приходит бабка одна, их знакомая, они у неё деньги кое-когда занимают. Бабка Фешка. Потешная такая, рассказывает всё в лицах и в больших категориях. Про местную сельскую жизнь и местное большое начальство. Пришла утром и ушла в обед эта Фешка. А я как засел и строчу, и строчу, наяряваю.

Пообедали мы с Колей, я и говорю:

– Вчера ты спросил, что и как я пишу? А вот.

И начал читать ему, что только что написал про бабку Фешку. Приведу для интересу кусочек.

«Вот и Марусины Ключи, машина, а теперь и Шешкина ферма.. Что-то сверх сил заставило Егора свернуть со стёжки во ржи. Телята бродили по территории: жевали силос у натрамбованной ямы, цедили из лужи, вода бузовала из шланга. Это насторожило Егора. Из красного уголка слышалась пьяная песня.

– И ты тут? – выдернул Шешку он из –за стола.

– День рождения, – улыбнулась Шешка, – день рождения у доярочки.

– Опять наакались? – впился Егор ей в глаза.

Лицо её пошло пятнами.

– Тебе, значит, можно? – отдёгнула она свою руку. – А нам, значит, нельзя?!

– Сынок, не вишь, человека чествуем, – загалдели доярочки. – И так, как каторжные, ни выходных, ни проходных. Из-под коров не вылазим, рабы двадцатого века...

Егор вывел Шешку наружу для разговора».

Когда я дочитал тот кусок из своей прозы, Коля сидел какое-то время в абсолютном молчании.

– Неужто ты сейчас это написал? – глядел он на меня таким внимательным взглядом, что мне стало как-то неловко, не по себе. – Фешку в Шешку переделал, в доярочку превратил.

– Ну, а как же, – сказал я. – Напрямую всё так и лепить? Это всё-таки художественная литература, у неё есть свои законы...

В общем, с того дня, с того самого нашего разговора, а вернее, после бабки той Фешки, Коля так меня зауважал, что стали мы с ним потом близкими на всю жизнь. И когда мы с Игорем поехали в Трусовец (после перенесённой «желтухи» его направили туда промываться «нафтусей»), и Коля там оказался (Лида, как всегда, во Львове была, а Коля был на квартире у какого-то местного деда), так он меня на первое время, пока я не устроился в гостинице, к себе под бок на кровати своей приютил. Стой поры мы с ним и друзья, а не просто родственники – «сваты» со стороны моей двоюродной сестры Лиды.

В общем, когда Лида приехала в Мамонтово через пару месяцев, где-то в конце апреля, роман мой был написан. И я ждал её, чтобы вернуться к себе туда, домой, на Серединную Русь, в Малоархангельск. Лида приехала такая весёлая, жизнерадостная. Всё рассказывала, что там, в Москве, уже зелень вовсю, а тут всё белым-бело.

– Вчера снег выпал, – говорили мы. – К празднику Первому мая всё тут белым украсило.

К вечеру из Новосибирска, из института, заявила и Ольга, её и Колина дочка. Лежали на коврике на полу, смотрели в телевизор «мультики». Лида смеялась и всё говорила, как они с Олечкой, с детства Олечкиного, любят эти самые «мультики». А Коля варил, как всегда, картошку с мясом и тоже был очень доволен.

Я уже снялся с учёта в парторганизации местной районной газеты и с учётной карточкой, взятой в райкоме, сел на другой день в местный самолёт до Барнаула, чтобы оттуда уже на большом самолёте отправиться отсюда, из своей сибирской ссылки, в Москву.

АЛЯ – ИЗ-ПОД НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Вовремя Лида уехала с «бендеровщины». Да и Аля тоже. Вовремя обе они оказались в России. Хотя с Алей другое дело, она там родилась, во Львове. Да и муж у неё

Прокопчук, из западноукраинской области, Леонид Прокопчук. Вместе учились они, в одной группе, в Политехническом институте, на химическом факультете. Химия тогда была в моде. Лида оказалась в России от того, что после учёбы в институте по направлению поехала в Барнаул, а Аля – муж её пошёл в армию офицером, и был направлен в Чехословакию, в одну из стран Варшавского договора. А потом из заграницы его перевели сюда, в Россию. Так они, Прокопчуки, оказались в городе химиков – под Нижним Новгородом, в Нижегородской губернии. Однако Аля до сих пор не покидает своей родины – Львова, где родилась, ездит туда время от времени.

Да и есть к кому поехать: к дочери старшей сестры своей Лили – к Ладе, она замужем, и фамилия её теперь Бедненко. И всё теперь там украинское: улица Пушкина, на которой они жили и живут, теперь носит имя бендеровского генерала Чупрынки, улица, на которой Политехнический институт – имя Бендеры, заметим, не Остапа Бендера из знаменитой книги «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». А на могилках дяди Гриши Кулешова и его жены – моей тёти Дуси, похороненных на офицерском кладбище около всем известного Лычаковского кладбища, написано теперь «Кулиши». Это в целях безопасности, чтобы над могилой не надругались.

И ещё одна такая немаловажная деталь: Ладина дочка Юлия, выйдя замуж за украинца, отправилась по идее «небесной сотни» в Крым, чтобы разбавить там русское население. Да так там и осталась. Интересно, кого она там теперь разбавляет?

Зато у Али, Альбины Григорьевны (по отцу) Кулешовой, (по мужу) Прокопчук – самой младшей сестры моей двоюродной – всё наоборот. Живёт-то она под украинской фамилией, а где проживает? В России. И муж её, хоть и родился в западноукраинской области, а служил в российской армии, в России, так кто теперь он? Скорее всего, русский. У нас в России нет деления: русский ты или украинец. Вон Черненко был генсеком по-

сле смерти Андропова, так кто он? Русский, родом из Красноярского края. Или Лысенко – писатель, издатель у нас в областной писательской организации, тоже из-под Красноярска и писатель Юра Оноприенко – из Белгородской области, из г. Алексеевки. И мы этого не замечаем: кто есть кто? Русский ты, россиянин или украинец? Как и Лена – жена Шурика Денисова, украинка из Луганской области. Ну, и что?

Однако один факт неоспорим: Лида с Алей связаны тесной, неразделимой связью. Лида, например, уж и не упомню, когда приезжала на нашу малую родину в Малоархангельск, где в школе училась, откуда отца своего Гавриила Герасимовича вместе с нами проводила в 1941 году на фронт, откуда он уже не вернулся. А вот во Львов, как бы в Трускавец, она, бывало, всё ездит и ездит, пока не состарилась, ездить ей стало трудно.

Теперь Аля к ней ездит. На Алтай, когда Лида там была, Аля не ездила, а когда Лида к дочери своей в Томск перебралась, начала ездить. Что интересно, при Советском Союзе Томск со Львовом были города – побратимы. Это я по телевизору фильм такой видел. Львов – город красивый, столичный, каменный, западноукраинский, можно сказать, австро-венгерский, а австро-венгры умели строить красивые города (например, Краков, Брно, Прага, Будапешт, Вена). А Томск – тоже красивый, но деревянный, русский, западносибирский, тоже столичный, научный центр, где вместе с Новосибирском сосредоточены многие научные филиалы Российской Академии наук.

И Лида теперь там живёт, приехав из алтайского села Мамонтово к своей дочери Ольге Николаевне, вместе с мужем своим, моим старым другом Колей Самойловым, с которым нас связывают добрые воспоминания. Кстати, Ольга Николаевна Самойлова тоже кандидат наук, кажется, экономических. А муж её Володя – мой коллега, журналист, долгое время работал в областной газете.

В одно время мне показалось, что Аля довольно тесно связана с братом нашим двоюродным Витей московским,

Виктором Максимычем Нижеясовым. Витя частенько приезжал во Львов, в Прикарпатский военный округ, на артиллерийский испытательный полигон. А Аля проездом из Львова к себе в свой город химиков под Нижним Новгородом останавливалась в Москве у Вити. Однажды мы с ней были у Вити на его юбилее, сидели рядышком. Они с мужем своим Прокопчуком Лёней даже детей называли, по-моему, значаще: сын – Витя, а дочь – Лена. Име-на, как у московских Вити и Лены.

Прошлым летом приехали мои двоюродные Витя и Аля к нам сюда в Орёл, а потом и в Малоархангельск на мой Второй Юбилей. Уехали поездом на Москву тоже вместе. Но, когда вскоре у Вити после того не стало жены его Лены, поехали мы в Москву с Люсей без тени сомнений. Причём тут деньги и даже здоровье? Однако к Лиде в Томск поехать теперь не могу, в самом деле, здоровье не позволяет. От Орла до Малоархангельска как на дачу свою и то не всегда, в любое время, могу добраться.

Но, когда приезжала в Орёл и особенно в Малоархангельск на Юбилей ко мне, Аля вела себя вполне, как говорят, адекватно. В Малоархангельске, в нашем доме, всё вспоминала, как она тут жила, когда была совсем маленькая. Родилась во Львове она вскоре после того, как тётя Дуся приехала с Лилей – старшей своей дочерью – к мужу своему дяде Грише, к Григорию Викторовичу. Тётя Дуся стала работать в школе. Образцовая школа, в центре города, около русского драматического театра Прикарпатского военного округа. Надо было, как говорится, марку держать. А тут ещё её председателем месткома профсоюза выбрали. Утром тётя Дуся уйдёт на работу, вечером только приходит. А с кем Алю оставить? В шкафу приходится запирать, где ребёнок хоть ори, хоть разорись.

Приехала моя мать – Мария Герасимовна, старшая сестра тётки Дусина, глянула на всё это и говорит:

– Нет, так нельзя, разве так можно?

Всех обшила, обстирала. Возвращаясь, забрала с собой Алечку и привезла в Малоархангельск. Года два Аля у

нас тут жила. Где сейчас у нас спальня, в углочке, устроила себе местечко для игр. Куклы всякие там, ёлочные игрушки из ваты...

Подружка была у неё, жила через четыре двора по нашей же улице. Так она к нам сюда, к Алечке приходила. Сядут, бывало, молча в куклы играют. Никогда не ссорились, даже не знали, что это такое. Когда в саду яблоки поспевают, так пойдут в сад, яблок наберут, угощают друг друга. А когда цветы зацветут, у нас флоксов тут много всяких: от белых до розовых, красных и синих, так наберут цветов и украшают флоксами не только свой уголок, но и стол в большой комнате и даже ставят в банку на кухне.

Через годы, когда подружка Алина подросла, оказалась армянкой, она уехала в Ереван, живёт теперь в Ереване. Гордится тем, что только там, в Ереване у них делают часы – «будильники», да ещё, правда, в Орле – на часовом заводе. Всего два часовых завода на весь Советский Союз...

Нужно сказать, телефонов тогда не было в Малоархангельске, телевизоров вообще ещё не было и в стране. Письма выручали. Мать моя была центром даже не семьи, а вроде всего рода. Только и слали ей сюда письма: из Львова, из Москвы, Харькова, с Алтая, из воронежской Таловой... А мать только и знала, что строчила ответы. И когда успевала?

Вон и сейчас писем старых, в летней кухне, в комод, полные ящики. Вот где энциклопедия прошлой жизни. Сколько всего можно оттуда набраться, из прошлого-то? А у матери моей были ведь ещё и подружки.

Писала ей и Алечка. Рассказывала не только о себе, но и обо всех во Львове, о своей учёбе в школе, а потом и в институте. Письма свои она обычно так начинала: «Здравствуй, мама Маруся». Она звала мою мать Марию Герасимовну «мамой Марусей». Долго так звали. Да и сейчас, когда приезжала ко мне на Второй Юбилей, вспоминая её, тоже называла мать мою «мамой Марусей».

И всегда передавала приветы своей подружке, жившей тут у нас через четыре двора. Проходя мимо этого дома, он чуть вовнутрь усадьбы, я вспоминаю Алечкину подружку, какая живёт теперь где-то там, в Ереване.

Интересно, правда, как они пели, бывало.

Алечка запоёт:

*– Ах, Самара – городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня.*

А подружка ей подпевает. С тех песен поют, которые или сами услышат по радио, или возьмут патефонную пластинку, а то и с тех, которые я пою. Например, арию Ленского из оперы «Евгений Онегин»:

*– Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?*

Это начнёт так подружка, а Аля продолжит:

*– Ах, Самара – городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я
Успокой ты меня.*

– Да вы, девочки, тихие, смиренные, чего вас успокаивать? – смеётся моя мать Мария Герасимовна.

И пишет сестре своей – моей тёте Дусе – во Львов:

«Аля хорошо себя чувствует, не болеет, дружит тоже с хорошей девочкой. Опять пела вчера «ах, Самара – городок». Не волнуйтесь за Алечку, всё у нас хорошо».

А теперь Аля ездит в Томск к сестре своей Лиде. Вот у меня фотография, видите? Это Аля приехала туда к ним, в Томск. И они там встречают её. Так у нас заведено: когда кто приезжает, ехать всем на вокзал и встречать. Например, мы приедем, бывало, во Львов, так они все, даже с дядей Гришей, едут встречать нас на железнодорожный вокзал.

Так и в Томске. Я сразу понял, что это они всей семьёй встречают Алю прямо у поезда. Стоят вчетвером, а пятый – Володя, муж Ольги – их фотографирует. Это

фото переслала нам сюда сама Аля. По электронной почте. А мы потом сделали фотографию.

*Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня.*

Да, Аля, Альбина Григорьевна? Беспокойная ты. Вон куда заехала – от Москвы до самых до окраин, до Томска, это сколько же километров в одну сторону? И от Москвы до Львова – в другую сторону? С Востока на Запад, с Запада на Восток. А Самара-городок где-то посередке. Широка страна моя родная.

ВТОРОЙ ЮБИЛЕЙ

Второй Юбилей у меня прошёл летом 2015 года. От предыдущего, Первого Юбилея пролетело тридцать лет. Сравним Первый и Второй Юбилей, чем они отличаются? Прежде всего, я был, конечно, моложе. Дело происходило в деревне, на лоне природы, на даче – в посёлке Синяевский во Мценском районе. Я уже рассказывал о своём Первом Юбилее, однако мне хочется посмотреть с позиции времени на всё и прежде всего на родню и друзей, которые были тогда у нас за столом под яблонями в нашем саду в посёлке Синяевском и в его невероятно красивых окрестностях. Кто из них жив и кого уже нет? А из живых кого судьба развела со мной, а с кем мы попрежнему знаем и даже дружны?

Надо сказать, тогда у меня был расцвет сил, всей жизни, буйство красок, всё было ещё впереди у тебя и у каждого. Ты всё можешь, ты пройдёшь через всё и всё это преодолешь. По латыни юбилей – это «рожок, который трубит о празднике».

Кто же конкретно был на том юбилее? Были все: из посёлка Синяевский – друзья наши крестьянские (Нюра и Иван Тихоновы, а так же Рая Сухорукова), из ближнего

села Подбелевца Костаревы Клавдия Петровна и Михаил Егорович – она директор, он учитель средней школы, Демьяныч с женой – друг мой из Косарёвки. Целый автобус привёз моих друзей из города. Главная из приехавших была мать моя Мария Герасимовна, она сидела у груши рядом со мной, приехал Коля Смагин – «своjak» из тульской Узловой, друзья мои Валентин Чухаркин – скульптор из Москвы, Быковский, Лаушкин, Калекин... Всего 26 человек. С баяном из Подбелевца пришли Виктор Викторович Кузьминов с женой Людой, с её подружкой Таней из магазина и Надей из библиотеки. Все молодые, жизнерадостные...

Смотрю на фото тех лет и думаю: «Кого из них уже нет, а кто далече?» Нет, главное, – матери моей, мамы, Марии Герасимовны. На посёлке остался всего один человек – Иван Тихонов, Ньюра ушла из жизни в прошлом году. Нет уже ни Демьяныча с его Женей, ни Костаревых, ни Быковских, ни Коли Смагина, нет моего любимого друга Вали Чухаркина, не встречаемся мы по разным причинам ни с Лаушкиными, ни с Калекиными.

Совсем о другом говорили тогда, на том юбилее, другие песни пели, а если те же, то они имели другой колорит, чем сейчас. Конечно, и тогда у меня были книги, всякие произведения – в прозе, и поэзии, и даже песни. Но что стояло за ними? К чему стремилась душа? Что бы я ни сочинял – всё это был восторг любви, праздник, который, как говорится, всегда с тобой. Писал я тогда в основном рассказы и очерки, драмы и песни, не было пока что крупных произведений, таких, которые после пошли, например, романы в стихах и прозе, даже трилогии, эпопеи в поэзии и драматургии.

Посмотрите, какой силой, энергией были тогда наполнены рассказы тех лет? Ритмизованы, музыкальны, порой почти как стихи (например, «Липа вековая» из одноимённой книги «Липа вековая»).

«По просёлку, облитому сентябрьским серебреющим солнцем, часто останавливаясь и отдыхая, движется то-

щий и длинный старик. Ему помогает идти крючковатая палка – давняя спутница его путешествий. Вдаль старик видит явственно, зорко, вблизи дорога ему неожиданна и беспокойна. «Все ямки с тобой пособираем, – беседует он со своей палкой, словно с живым существом. – Каждая нашей будет»».

Или хотя бы такой рассказ, от которого, когда прочитаешь, слеза от смеха тебя самого прошибает. Рассказец короткий, юмор сокращать невозможно, приходите дать его полностью. Из книги прозы «Ночь светла»

ДУШ ПО-ЙОГОВСКИ

У писателя Ивана Чужова мимо вся жизнь проехала. Шутка ли, пенсия уже, а он ни черта не умеет. Прозу возьмётся писать – обрезки одни, коротышки какие-то получаются. А за поэзию и не берись, недосыгаема. И вот пенсия назначается, исходя из всего трёх минимальных окладов, а он-то всю жизнь на высоких должностях. Обидно, на что укладывал свои годы?

Умные люди подсказали. «Ты, – говорят, – Иван Кириллыч, к медицине обратись. Вспомни старые болячки, в больнице недельки три полежи. Глядь, на вторую группу и наскребёшь. Или хоть льготы какие-никакие оформишь»...

Огляделся Иван Кириллыч и видит: сколько же, в самом деле, ихнего брата чиновника проходит «по вышке» и после в креслах продолжает сидеть. «А мы что, рыжие? – решил Иван Кириллыч и для начала пошёл к участковому врачу.

Участковый врач послушал его, нашёл сердце ужасно истомлённым от долгих лет злоупотреблений. И, как змеюку какую, навесил на шею ему хреновину, аппарат такой, вроде как у милиции, – биостимулятор. Ну, чтоб ритмы записывало и от вины отвлекало.

Ни хрена себе процедура! Иван Кириллыч выбросил из чехла ихнюю трубуху и положил туда рюмку и четвер-

тинку. Ходит по улицам и по конторам и посмеивается. Во дураки, они думают, что это у него биостимулятор, а у него тут она, родимая, всегда под рукой. Просто одно удовольствие.

Так. А, во-вторых, для ускорения дела Иван Кириллыч попёр сразу в высшие сферы – к приезжему медицинскому авторитету. Из Курска. Из медицинской академии – так теперь институт у них называется.

И написал ему этот профессор за его, Ивана, кровные денежки целый трактат рекомендаций. Когда профессор писал, у Ивана прямо-таки глаза на лоб вылезали. Сам-то он хоть и писатель, а давно впал в жанр вдвое короче. И как это можно столько писать? Откуда хоть слова у людей берутся?

Главное, что выловил Иван Кириллыч из профессорского трактата, так это то, что как его... «душ по-йоговски». Именно этот душ должен снова сделать его человеком.

Пришёл Иван Кириллыч в свою поликлинику с трактатом под мышкой, явился на процедуры. Сестра говорит: «Сейчас будем делать тебе душ не Шарко, а по-йоговски. – И разъясняет: – 70 притопов по часовой, 36 притопов – справа налево, напротив».

И сначала водить сестра по его истомлённой груди поливалкой то справа налево – горячей водой, то слева направо – холодной. То горячей, то холодной. То горячей, то холодной... Иван Кириллыч стоит, ёжится, аж приплясывает: то холодно -то горячо, то горячо – то холодно... Аж трясёт всего, чёрт знает что! И в самом деле нервы ни к чёрту, как расшались. «Дай, – думает Иван Кириллыч, – я эту бабу ушлю куда-нибудь с глаз домой. И сам тут как-нибудь разберусь».

– Контрастный душ по-йоговски, – поливает сестра, приговаривая. – Тут горит, и там горит...

– А котлеты по-пожарски, а котлеты по – пожарски, – бормочет Иван Кириллыч. – А котлеты по...

– Где? – спрашивает она.

– А шёл сюда, сам видел, в буфет повезли.

Сестра сунула ему поливалку – и в дверь. А Иван Кириллыч сбегал в предбанник за трактатом, встал в позу и заявляет на всю процедурную:

– А теперь устроим себе щадящий режим!

Это согласно рекомендации. А сам думает: «Да разве бывает режим щадящий?» И включает один кран ещё горячее, а другой кран ещё холоднее. Вода свистит, как из пожарного рукава – из бранспойта, а Иван Кириллыч действует им вокруг себя, как поливалкой. Слева направо, справа налево. И кричит для собственного воодушевления. По часовой стрелке ведёт – «Я – большевик!» – кричит. Наоборот, справа налево – кричит: «Я – коммунист!»

Да так в раж вошёл – невозможно просто. Топочет ногами, глаза закатывает пена на губах показалась. Но чувствует уже, что не различает, где холодная вода, где горячая, – ему всё равно. Отстранил он от себя поливалку и говорит: «А чего это я так нервничаю? Надо сделать корректировку».

И сделал в одном кране ещё горячее, а в другом – ещё холоднее. И давай поливать себя, но теперь уже с учётом корректировки. В два притопа, в три прихлопа. Справа налево ведёт по касательной, кричит:

– Я – большевик!

Слева направо ведёт, кричит:

– Я – демократ!

И давай орать во всю глотку:

– Я большевик – я демократ! Я большевик – я демократ!

Так понравилось, так разошёлся. Уже ни шума воды, ни тела своего не ощущает. Материя прямо-таки исчезла, одно только тело осталось:

– Я демократ – я большевик!

И тут Иван критически взглянул изнутри на себя. «Какой же это я большевик, если веду слева направо? Наше дело правое. Это демократы были слева всегда, ещё с времён Французской революции».

И давай опять поливать себя. Ведёт поливалкой справа налево – «Я большевик!» Обратнo, слева направо – «Я демократ!» Опять в раж вошёл. Чтобы не запутаться, справа налево – орёт на всю процедурную:

– Я большевик – я демократ! Я большевик – я демократ!

А сам притопывает, аж приседает, доски под ним прогибаются. Помнит, что сказала ему профессура: «70 притопов по часовой, а 36 – напротив». «Но, – думает, – что-то не то опять, не стыкуется!» Большевиком он должен быть 70 раз, а демократом – 36. А у него и того, и другого уже, наверно, по триста... А ну её к теттому ихнюю йогу! Будем делать по нашей системе, по-русски»...

Взял и выключил горячую воду, сделал оба крана холодными. Как дома у них обычно. Это из «детки», по системе Иванова. Про неё Иван Кириллыч где-то в журнале вычитал.

Тут, правда, справа налево – слева направо стали совпадать, зато притопов больше теперь получается. От холода ноги сами о пол колотятся, зуб на зуб не попадает. И кричит Иван, как заело.

Сначала: – Я большевик! Я большевик! Я большевик!

Потом: – Я демократ! Я демократ! Я демократ!

Начал горячую воду включать – не включается, пропала совсем. Распсиховался Иван Кириллыч до невозможности. Наливает в ведро ледяной воды, вспомнил, как деверь его на Алтае в трескучий мороз выбегает из бани да прямо на снег или в озеро головой. И, одурев от всего, Иван Кириллыч хватает полное ведро и опрометью в дверь. А навстречу ему сестра – котлеты жуёт, улыбаясь всюю:

– Ну, как?

Он, не раздумывая, бух ей на голову ведро с ледяной водой. Очнулся Иван Чужов на кушетке. Врачи собрали консилиум, решают, куда его определить – в вытрезвитель или сразу в психоневрологический? А потом плюнули: ну его к чёрту! Ненормальный какой-то. Другие такие

же – солидный народ, и через душ по-йоговски пройдут преспокойненько, и в больничке потом своё отвалиются. А этому надо так вот, не по-человечески. А ещё писатель и был когда-то на должностях.

Но дали всё же, что просил, – вторую. А ему теперь и этого мало. Опять повесил на шею этот... биостимулятор.. Ну, уж тут, извините-подвиньтесь, первую группу у нас получают такие, кто забыл, когда и стоял вертикально: лежачие – кому душа уже, извините, не надо. «В гробу мы видели ихние эти самые души. Такая-то процедура!»

Вот так примерно писал я до своего Второго Юбилея.

А это вот как проходил мой Второй Юбилей летом 2015 года.

И СНОВА ВТОРОЙ ЮБИЛЕЙ

Второй Юбилей у меня из трёх частей состоял. Какой из них главный, не знаю. Первая часть проходила в главной библиотеке области – имени Бунина. День в тень, точь в точь – в самый длинный день в году, в день наибольшего солнцестояния – 24 июня 2015 года.

Народу пришло много. Подарков надарили много. Слов хороших наговорили ещё больше. А теперь развернём, что за этим, Вторым Юбилеем, стоит.

Из тех, кто был на том, Первом моём юбилее, можно сказать, никого. Зато были такие, кто не был у меня тогда или вообще никогда. Например, двоюродные мои: Витя московский, Нижевясов Виктор Максимыч и Аля, Алечка, Альбина Григорьевна (по мужу) Прокопчук, (по отцу) Кулешова. А ещё одна моя двоюродная сестра Лида, Лидия Гаврииловна (по мужу Самойлова), (по отцу) Нижевясова, она наблюдала за нами из Западной Сибири, из Томска.

Сначала было всё, как обычно бывает на презентациях: Почётные грамоты мне от губернатора В.В. Потомского, от Союза писателей из Москвы, из Орла и т. д. Что

необычно было, так это то, что директор библиотеки им. Бунина В. В. Бубнов, оказывается, присутствовал и руку жал мне перед своим уходом на пенсию, в последний раз, и то, что в гостях были, поздравления прислали не только свои тут, орловские, но и из Тулы – писатель Валерий Ходулин, из Курска – Алексей Шитиков, из Воронежа – Вячеслав Лютый и др. Пересказывать то, что они говорили, не надо: много говорили они обо мне хорошего. К чему повторять? Не репортаж ведь без петли, как говорится, на шее, а как и любое такого рода «дифирамбическое» мероприятие. Чем больше дифирамбов, тем вроде бы лучше. Но тут иное, на другие не похожее дело. Там было 50 лет до того, тут – 30 лет после того. За эти пятьдесят лет после Первого Юбилея я написал, оказывается, 50 книг (прозы, поэзии, драматургии, переводов), даже больше. И это больше одной книги в год. Это рассказы, повести, романы в прозе, стихи, циклы стихов, романы в поэзии, драмы, три эпопеи (в прозе, стихах, драматургии). По крайней мере, есть о чём поговорить. Вот об этом-то и говорили друзья мои, знакомые и читатели. И от души дарили подарки.

Вторая часть праздника проходила тут у нас в Орле, в нашей квартире. Это, естественно, был семейный праздник. Семья наша и наши родственники: мои двоюродные Витя московский и Аля из-под Нижнего Новгорода. Нужно сказать, что на завтра Алин День рождения совпал с продолжением моего юбилея, и это придало всем нам дома ещё большую теплоту. В памяти мы переворачивали все семейные дела у Вити в Москве, у дочери его Лады, у внучки Даши и его внуков, всё переживали за жену его Лену, которая не смогла приехать по состоянию здоровья. Алечка говорила о своём теперь уже не малом семействе, собиралась осенью к Лиде, двоюродной сестре нашей, в Томск.

И всё-таки главной, как я и ожидал, оказалась последняя, третья часть моего юбилея – Второй Юбилей, который мы с роднёй и моими друзьями провели в Малоархангель-

ске, в нашем привычном, намоленном доме. С портретами нашего дедушки Герасима Макаровича и моей матери Марии Герасимовны, на виду у ковровой иконы Казанской Божией Матери, висящей в главной комнате на стене.

*Мать Божия, Пресвятая Богородица –
Защитница святой Руси,
Помоги нам во всех начинаниях наших,
Во всех наших добрых делах.*

А теперь о самом юбилее.

Приехали мы из Орла в Малоархангельск домой к себе электричкой. Приезжаем, как всегда, пол-одиннадцатого. Нас всех вместе с Витей и Алей пятеро. Тут же Люся с Алей взялись за то, чтобы приготовить что-то к праздничному столу к трём часам дня. А мы, мужчины, взяли им помогать. То стол большой раздвинули в зальчике, то на огород побежали за всякой зеленью: за луком, укропом, петрушкой...

Готовили мы человек на четырнадцать – пятнадцать. Уже с двух часов я стал волноваться: кто-то придёт, кто-то не придёт. Про Колю Мозжухина я знал, что Коля придёт. Ещё вчера позвонил в Орёл и сообщил, что с утра съездит в Александровку, на могилку к отцу – матери и будет у нас к трём часам дня, как штык. Я знал, Коля – офицер, за него беспокоиться не надо. Если, конечно, что-нибудь не случится.

Первыми пришли Люсины подружки, как они сами говорят про себя «друзья семьи» – Вера и Манечка, Вера Григорьевна и Марья Тимофеевна. Обе учились у нашей мамы Людмилы Серафимовны французскому и в школе, и в институте. Тут же кинулись помогать ей по всяким кухонным делам. Потом в окне промелькнула большая такая, крупная, даже мощная женщина Ольга Александрова – племянница Юры Забина, дочь Киры – его двоюродной сестры. Она побывала в Леонтьевских посадках, где все они жили когда-то, и приехала в Малоархангельск автобусом. И вот сразу сюда.

– Так, – считаю я каждого. – Значит, восемь... Ещё семеро...

– А вот и Мозжуха! – вырос он у калитки. – Ах ты, мой дорогой! Год не виделась... совсем лысый стал... ну, проходи, проходи...

Пришла Валя Рычкина – сестра друга моего Лёни Рычкина.

– А где братец твой? – спрашиваю.

– Да приболел что-то. Не придёт.

«Так, – думаю. – Значит, надо считать народ теперь, исходя из четырнадцати». Нетерпение нарастает. Нет ни Трунова Александра Сергеевича, ни Васичкина. С Васичкиным на его машине должны приехать сразу трое: сам он и с ним общий друг наш Иван Михайлович Ильин, бывший когда-то в Васичкиной деревне Васильевке председателем колхоза, и ещё с ними, конечно, Витя Садовский с баяном.

Какая песня без баяна?

Какая Марья без Ивана?

Какое без него застолье?

А их всех троих, нет и нет. Уже стол в порядке. Расставлены еда и питьё. И посуда. Стаканы и рюмки. Уже начинают садиться, кому и где вздумается. У нас же демократия, свобода слова и заседаний. Нет только Трунова и этих троих.

Каждый дарит мне что-то своё, интересное.

Коля Мозжухин красную такую, яркую книгу о Рокоссовском:

– Твой любимый маршал, специально выписывал.

Ольга Александрова бутылку какую-то особую, керамическую. Из Голландии. Только в особых ресторанах вино из неё подают.

Валя Рычкина принесла большую банку свежего мёду.

– Свой мёд. С нашей пасеки.

Наконец-то, под окнами заурчала машина. Вездеход «Нива». Идут сразу втроём: впереди Витя Садовский с ба-

яном, его сзади поддерживает Васичкин Валентин, а позади всех несёт что-то в сумке Ильин Иван Михайлович.

– Милости просим, милости просим... милости просим... – встречаю я их, всех троих, на пороге.

Витя Садовский, едва ступив за порог, развернул баян. И сразу же как-то всё изменилось, заулыбались все, засмеялись, и всё вокруг, как от солнца, вдруг позолотело.

– Витя Садовский сядет со мной в торце стола, – говорю я и провожаю Витю к самому телевизору. – А все садятся, кто куда. Кому как захочется, а Витя Садовский со мной, мы с ним петь будем...

И вот первый тост. Едва встали, едва подняли рюмы, как щеколда на двери хлопнула, все повернулись к калитке: Трунов Александр Сергеевич, тоже друг мой, мэр нашего города.

– Ну, всё теперь, – облегченно вздохнул я. – Все теперь в кучке, можно и начинать. Кому первому?

Голоса с разных сторон:

– Тебе первому, Михалыч, ты юбиляр... Мэру Александру Сергеевичу... Жене юбиляра Людмиле Серафимовне...

– Вот, – говорю я, – кому слово надо, – показываю на Садовского.

А Витя Садовский артист же, музыкант. Ему объяснять не надо. Растянул баян во всю ширь, и грянул марш, каким открываются представления в цирке, – марш Дунаевского:

– Та-та... та-та-та...

А потом Витя сделал звук потише и сказал, повернувшись незрячими глазами ко мне (в прошлом году с ним случилось беда, о которой все знают):

– Дорогой Лёня!.. Все встали? Все подняли рюмы?.. Мы все поднимаем первый тост за тебя...

И пошло, покатило. Кто говорил первый, кто второй, кто пятый, кто десятый... Какая разница! Всем стало тут вдруг хорошо. В этом простеньком домике, на виду фотографии моего дедушки над большим зеркалом – трюмо,

справа от телевизора. На виду ковровой Казанской Божией Матери Пресвятой Богородицы во всю стенку...

Сначала говорили обо мне, сколько я книжек написал да какие. Да мне стало как-то неловко, всё обо мне да обо мне. Я встал и давай рассказывать всем про кого не всё-то все знают. Ну, например, про своего московского Витю, про свою сестрицу Алю, что приехали ко мне на юбилей. Про поэта Васичкина, про его замечательные стихи, про нашего мэра нашего замечательного города Малоархангельска Александра Сергеевича, про Витю Садовского – журналиста, поэта и музыканта, объехавшего с баяном 33 штата Америки, пропагандируя русскую песню...

А Витя Садовский и говорит:

– А что ж ты, Леонард, про себя-то не скажешь? Как в этой самой комнате я кладу на ноты тебе твои песни, а на берёзе тут, за окном, как раз подаёт голос горлинка. И ты тут же побежал в свой кабинет и написал про это стихи, а минут через двадцать положил их на музыку. И получилась песня... Давай-ка, Лёня, споём её...

И мы с ним запели её, эту самую песню.

Горлинка

*Как приеду в городок свой маленький,
В Малый Архангельск на святой Руси,
Расцветёт в душе цветочек аленький.
Бога о чём-нибудь попроси.*

*Горлинка, горлинка – птица неудалая,
На берёзу сядет за моим окном.
Запоёт, заушает песня запоздалая,
В горле остановится на сердце моём.*

*Горлинка, горлинка – птица судьбоносная.
Не вещуй нам, дальше пролети.
По-за каждым окнушком, над любой хатой
Мой цветочек аленький цвети.*

Для запева мы с Витей Садовским спели эту «Горлинку», а потом пели одну за другой всякие наши песни. С детства знаем их, с детства поём их, эти наши русские народные песни. А под баян-то хорошо как поётся! И Витя Нижевясов, мой брательник, гляжу, поёт, и Трунов, и Ильин, и даже жена моя Люся, Людмила Серафимовна, со своими подружками. Вот что значит песни наши, что значит баян, что значит доброе вино и мировой закусон, что значит свои люди вокрут, мои дружные, добрые, замечательные друзья.

– Витя! – кричу я. – Спой, дорогой, старинную казачью песню. Шолохова, она и моя любимая «Не для меня»...

Ты поёшь хорошо, даже лучше Дятлова, ты просто здорово поёшь её, Витя...

И Витя Садовский запел:

*«Не для меня! Придёт весна
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
Не для меня.
Не для меня текут ручьи,
Звенять алмазными струями.
Там дева с чёрными бровями,
Она растёт не для меня...
А для меня придёт война,
На фронт германский я умчуся,
Домой я больше не вернуся,
Там пу – там пуля ждёт меня одна.
И прилетит кусок свинца,
Он в тело белое вопьётся,
И кровь, и кровушка польётся,
Вот ента, ента смерть там ждёт меня.
Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся».*

Заслушались все Садовского, замерли душой. А потом опять грянули новую песню, старые песни с новой неистовой силой.

«Тихо вокруг, сопки покрыты мглой».

«Эх, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая».

«С берёз не слышен, невесом слетает жёлтый лист».

«Казачи, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки».

«Ой ты, Галя, Галя молодая! Пидманули Галю, забрали с собою»...

Ах, какой же был у меня Второй Юбилей! Вся жизнь вошла в него, все мои песни и все мои книги. И все друзья мои собрались и все читатели, а сколько ещё осталось их за стенами нашего дома. Ой ты, Аля! Ой ты, Витя! Ой ты, Галя! Ой ты, мой Второй Юбилей! На котором мне желали прожить ещё столько же, сколько прожил я по сую пору с того, Первого Юбилея.

Сколько же было поэтических слов, сколько стихов, сколько песен. Какой светлый, незабываемый был мой Второй Юбилей! От людей подарок, а как будто от Бога.

УРОКИ ВЛАДИМИРА МИЛЬЧАКОВА. У ИСТОКОВ ОРЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

С того времени как Владимир Андреевич Мильчаков, вызволив меня из «Орловской правды», дал мне как бы путёвку в жизнь, помог вступить в Орловскую писательскую организацию, я стал постоянно смотреть на него как на писателя, организатора и вообще видеть его как человека. Мильчаков приехал в Орёл из Ташкента, где многие годы был редактором литературно-художественного журнала «Заря Востока», а значит, мастером своего дела.

Приглядевшись к нему, я извлёк из его жизни и творчества много полезного, важного, часто необходимого, без чего не бывает настоящая литература. Да и настоящая писательская организация, настоящий главный редактор журнала, если когда-нибудь, может и так случится, ты станешь когда-нибудь во главе какого-либо журнала.



В моей библиотеке имеется несколько книжек, в которых описывается жизнь и опыт писателей-классиков, значительных писателей XX века, вплоть до нашей современности. Они так и называются «Уроки Чехова», «Уроки Льва Толстого», «Уроки Евгения Носова», «Уроки писателя Тендрякова». Продумав всё, я решил и этот свой раздел о Мильчакове как писателе, организаторе и человеке тоже назвать «Уроки Владимира Мильча-

кова». Попробуем их рассмотреть, если не по порядку, то всё-таки, применяя какую-то систему и логику. Это всё же в какой-то мере итоговая статья, значит, на жизнь и деятельность Орловского отделения писателей России со дня её основания Мильчаковым и до сего времени надо посмотреть в какой-то мере системно, иными словами, важно увидеть, как традиции, заложенные Владимиром Андреевичем, отразились в жизни и творчестве орловских писателей и Орловской писательской организации, как они живут или не живут по сегодняшний день.

Первым делом, когда, вырчив меня, Мильчаков, как говорится, вытащил из «Орловской правды» и направил в литературу, я увидел, как он бережно относится к молодёжи. Будущие писатели ведь не на траве растут, часто это натуры ранимые, тонкие, они нуждаются во внимании, в помощи. Около Мильчакова всегда были молодые:

ваш покорный слуга, Шиляев Толик, Дронников Витя, Подсвилов Иван, Слава Найдёнов и другие. Опора Мильчакова на молодёжь – это было наглядно.

Кстати, при этом Владимир Андреевич смотрел в перспективу. Из молодёжи при организации постепенно выработывалось литературное течение, направление, оригинальное, связанное с местными условиями. А условия на Орловщине, как известно, особые, недаром Орёл называют «третьей литературной столицей», а я называю Орёл «городом классических традиций».

На Орловщине должны были вырастать приличные писатели, для этого здесь были все условия, главное – упорно, целенаправленно следовать этим классическим традициям, не уходя в сторону от пути, выработанного со временем лучшими писателями, их эстетики, пластики, этики и т.д.

Какие же качества ценил Мильчаков в писателе? Прежде всего, патриотизм. Вот мы, молодые писатели, едем с ним в Колпнянский район. На местном материале он написал книгу «Птенцы орлов» о подпольщице Розе Ивановой, отдавшей свою жизнь за родину. Мы выступали с Мильчаковым по колпнянским сёлам и деревням. Это были уроки его собственного патриотизма и мужества.

– Как солдата головой на Запад

Хороните, спутники, меня.

Будучи смертельно больным, читал он эти свои поэтические строки перед народом да и перед нами, молодými своими коллегами. И это было для нас, конечно, неоценимым уроком патриотизма.

И ещё не менее ценным для меня было то, как Владимир Андреевич относился к работе над материалом для своих книг. Он брал его из жизни, из реальных фактов, шёл от человека, от его нравственных, человеческих качеств. Не бери у других авторов, не заимствуй (как иные в наше время из интернета), не лепи, не копируй с кого-то, из имитации вряд ли когда-нибудь получится что-то приличное. Получится бледная тень литературы, подра-

жательная, может, и умная, но раздражительная вещь, таких шуток сейчас в интернете развелось столько, что, как говорится, хоть пруд пруди. Ну, зачем подобная форма работы с материалом нужна была нашим классикам: Льву Толстому, Тургеневу, Фету?..

Когда я однажды сидел пару лет в кресле ответственного секретаря, мне несли рукописи. С одного – двух абзацев нюхом чуял я «грамофонов» – графоманов. В них не было энергетики, жизни, они были бестелесны и бездуховны. Видеть это тоже было одним из главных уроков Владимира Мильчакова как бывшего редактора литературного журнала, через руки которого прошли сотни рукописей.

Своим примером Мильчаков учил нас много работать, интенсивно работать. Бывало, придём домой к нему, он, как всегда, за письменным столом, много курит. Но тут же всё отставит в сторону, чтобы поговорить с нами, сделать какие-либо замечания, наставления.

– Самому надо жить по справедливости, – говорил он. – Только тогда получится нравственное художественное произведение. Другими словами, живи сам нравственно, высоконравственной будет и твоя проза, поэзия.

Особые уроки, я считаю, он давал нам в отношении денег, средств к существованию. «Мэйк мани», – говорят американцы, и на этом у них всё кончается. «Наоборот, не делай деньги, – говорил Владимир Андреевич. – Все силы отдавай делу своему, литературе. Душе своей. А деньги сами придут.

Однако и бедным не будь».

Дачи у Владимира Андреевича не было, но землю, людей земли он очень любил. «Воздělывай свой сад, работай, Лёня, на даче, – говорил он мне. – Ты молодец, ты дружишь с крестьянами». – «У нас самих род крестьянский». – «Ты любишь сады». – «И яблоки». «И хлеба».

*«Шумит, шумит пшеница золотая
По сторонам дорожки полевой».*

*«Поле, Русское поле!
Пусть я давно человек городской.
Запах полыни, вешние ливни
Вдруг обожгут меня прежней тоской».*

И кто мог предугадать, что я когда-то стану выпускать всероссийский журнал «Русское поле» и стану его главным редактором.

Какие уроки получил от него я как будущий ответственный секретарь! Работать для всех, интенсивно, не покладая рук. Это я сделал Дом писателей на берегу Орлика, на его крутом откосе – одном из красивейших мест Орла. И стипендию я придумал, и денежный фонд по линии Бюро пропаганды художественной литературы вдвое увеличил.

Бывший редактор журнала «Заря Востока» Владимир Андреевич дал много добрых, дельных советов мне как в будущем главному редактору журнала «Русское поле». И, может быть, главный из них – не в премиях дело, не в званиях, а в том, чтобы создавать хорошие вещи и издавать их в хорошем журнале. Чтобы ценили и тебя, и журнал. Вот в чём был и остаётся, в чём состоит один из главных уроков Мильчакова. Эти слова для меня как кодекс Наполеона. И это я говорю не в шутку, а на полном серьёзе.

Ещё одно качество Мильчакова. Не было у него никогда дачи, земли обетованной, ибо ему надо было мотаться всё время от Москвы до Бреста, нет такого места, где бы он, конечно, не бывал. И всё это, безусловно, вело к стагнации, не очень-то весёлой для нации. Тем более, для братьев – писателей.

Видите, куда меня потянуло? К Кузьме Пруткову. К иронично скрытому смыслу, к «итальянской бухгалтерии» в литературе, к попу Гапону, к «поповщине». Начнём, пожалуй?

Возьмём и перепишем у себя же, из своей книжки «Зато мы увидели Пушкина» раздел про Кузьму Пруткова, который ещё тогда показывал наше время сейчас. Выберем что-либо более подходящее.

СТАГНАЦИЯ. СЛОВО СЛЕВА ОТ КУЗЬМЫ ПРУТКОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ. От «АЗА» до «ЯЗА»

Вот уже пятьдесят лет Орловской писательской организации, созданной приехавшим в Орёл из Ташкента, где был главным редактором журнала «Заря Востока», Владимиром Андреевичем Мильчаковым. До этого в Орле было всего два члена Союза писателей – прозаик Евгений Горбов и поэт Дмитрий Блынский, которые, бывало, ездили на собрания в Курск. За это время много чего в Орле произошло в культурном строительстве (в частности, к нам приезжал зампред Кочемасов). По решению правительства России среднерусский город был определён как развивающийся центр культуры. Были созданы учебные заведения: институт культуры, культпросветучилище, музыкальное, художественное училища. Появились литературные музеи Лескова, писателей – орловцев, Леонида Андреева, памятники И.С. Тургеневу, Н.С. Лескову, И.А. Бунину, бюсты А.А. Фету, А.С. Пушкину, Сергею Есенину.

Однако с издательской базой тут всегда дело обстояло неважно. Приокское книжное издательство в Туле со своей среднерусской традицией (возможен «критический реализм») отбросило нас, писателей – орловцев, назад. И всё-таки организация жила своей жизнью, выходили в свет книги поэтов, прозаиков, детских авторов. Наконец, возникло и своё издательство «Вешние воды». За эти годы в Орловской писательской организации побывали десять «ответственных секретарей»: Владимир Андреевич Мильчаков, Евгений Александрович Зиборов, затем опять Мильчаков, Василий Михайлович Катанов, Иван Григорьевич Подсвиров, Анатолий Степанович Шиляев, Леонард Михайлович Золотарёв, Иван Алексеевич Рыжов, Леонид Юрьевич Моисеев. В последнее время у руля был Геннадий Андреевич Попов.

Много чего происходило в самой организации и вокруг неё за эти годы. О чём и речь в этих фрагментах –

«пёстрых рассказиках» Леонарда Золотарёва, написанных не без юмора и иронии от известного всем нашего земляка в тройном лице Козьмы Прутковка – большого доки в подобных делах.

ПРО СТУЛЬЯ – ГЛУПЫЕ РАССКАЗИКИ

Десять секретарей

Вот они ему и говорят: а когда же будет у нас почётно – выборное собрание? Гляди, сколько бродит идей по Руси и везде молодых на стулья сажают. А ты уже семнадцать лет как на одном и том же стуле сидишь. Вот он взял и ещё один стульчик подставил. И тогда все стали считать по пальцам: сколько же у них «стульев», то есть секретарей, тут перебивало. Начали было с Бальзака: он же был «секретарём общества». А тот, что на двух стульях сидит, запротестовал: западничество это, так вы ещё и до высших божественных сфер доберётесь. Считайте стулья по нашей линии – не ошибётесь.

Вот они и начали считать по этой самой линии. Первый – это родоначалник, кто организацию создал. Второй – который в разведку боем ходил со своим разведотделением. Третий – тот же, что и первый, словно из боя вернулся. Молодые к нему как к себе в дом ходили. Он и в СП стол полукруглый сделал, за которым все до сих пор заседают. В последний момент сказал нам, как врезалось: «Как солдата, головой на Запад хороните, спутники, меня». Четвёртый – это, который получил от него серебряные ключи. Пятый – мелькнул три месяца и исчез, «мелькнувший секретарь». Шестого после него поставили, так стоять не смог, «павший секретарь». Седьмой – секретарь от Дома литераторов, что сам собой исделался на «Тургеневском берегу». И ещё запомнилось тем, что полукруглый стол при нём тоже сам собой сохранился. Восьмой – это который «проза жизни», девятый – который проза театра. А десятый – который весь сам из себя,

для себя. Портреты стал клеить себе на другой стороне обложки.

Вот они ему и говорят: да что же это такое? А он говорит: «патрет» такой, маслом пишется. Масловы – художники такие бывают; а «патрет» мой другом исделан с помощью живописи. Живописует то елеем, то сливочным маслом, не сразу поймёшь. Тогда одна баба взяла и давай сама себя живописать, а другая на коврике облик свой выткала. А третья – хотела высечь себя в камне, как Пошлёткина, унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла, да мужики спохватились, сказали всем этим новоявленным: «Да вы что! Рядовые члены не имеют права рисовать «патреты», это право имеют только те, что сидят на стульях. Ну, чтобы сидеть под своими «патретами» естественным образом».

«Авторов – под гнёт!»

Сижу я в издательстве «Орлик», у Воробьёва, текст вычитываю. Как раз у меня тут выходит книга «Имя не покрывает идей». Во сне приснилось и название само, и концепция: о себе, о классиках русских. А тут передо мной готовую книжку на столик плюхнули: ноты для скрипки, учебник музыкального педагога Барток. Знаменита на весь мир тем, что успела сбежать от фашизма из Венгрии в Америку.

Сижу, вникаю. А тут Воробьёв как раз. Видит: книжка новая, и ещё одна книжка, и ещё одна книжка, обложка топорщится. И на весь коридор Воробьёв птенчикам своим тут:

– Авторы – под гнёт!

Я недоумеваю:

– И меня?

Воробьёв не раздумывая:

– О тебе Лысенко пусть чешется.

Говорю:

– Так уже было дело. «Любящую Марию» на тот юбилей мне вручал. В порыве – поблагодарил его. А пришёл

домой, глянул – половины состава нет. С той поры пьесы пишу и издаю, пишу и издаю. Мировой рекорд поставил – 94 штуки уже издал. А будет 100.

Сказал, помнится, Девятому секретарю, а он мне:

– У Чехова было пять, дельных – три.

– А у вас, Леонид Юрьевич, – говорю, – две.

– Ну, и што-с? – засмеялся он. – Зато на сцене шла – «Иней на стогах».

– А то, – говорю, – что я как Япония. Чем больше трясёт, тем больше пишу, качественнее работаю. Ах да! Самому ещё режиссёром своих произведений, что ль, стать, как вы думаете?

Лёгкое перо

Вот Лев Толстой приехал в Орёл. К родственнику, к генерал- губернатору. Тот пролётку на вокзал выслал, а Лев Николаевич пешком шмыганул. Вот он идёт вместе с народом, а бабка тяжело несёт – вязанку дров на себе. – Дай подсоблю, – говорит. – Ну подсоби, подсоби, дедушка. – Вот несёт он дровишки и говорит: – А что, бабка, Толстого видала? – Нет, не видала. Но, хоть и Толстой, а в теле, говорят, вроде тебя – жидковатый...

А когда узнала, что старец тот был сам Лев Толстой, так собрала народ у дома Губернатора, где остановился Толстой, да и после говорит всем: граф, а вон на себе сколько способен тащить. Из всей вязанки выбрал себе одну хворостиночку, перо вставил, так теперь и пишет им. Ручка-то его – моя, перо лёгкое – лёгкое.

Постскриптум. В связи с чем взяли и убрали с дома этого мемориальную доску. А своих людей на домах рядом повесили. А потом подумали-подумали да и возвратили Льва Толстого на своё законное место.

Баба – ягодка опять

Вот прошли в Союзе писателей проводы Антонины Никитичны Сурковой – Денисовой – Трофимычевой на заслуженный отдых. Провожали в добрых русских тради-

циях за «рыцарским полукруглым столом» – чего только не наговорили. В самом деле, молодая ещё, но вообще-то как монумент, с самого основания. В самом деле, всегда даст, бывало, и горлышко промочить, и крылышки обрести.

Один даже до легендарности договорился: а с кем она, говорит, век свой проработала – с «тиграми полосатыми», хоть орденом Мужества отмечай. А другие, внутренне несогласные, из лицемерия тоже хлопают, сами сияют и других поощряют. Вот проходит неделя. Вот поощрявшие и говорят Геннадия Попову, какой там же, но уже за другим столом: – Чегой-то она всё сидит? – А он им и говорит, внутренне улыбаясь, глубоко затаённое: – А я тут подумал, ребята, пусть ещё посидит, раз она у нас такая хорошая.

И сам стал сидеть. Сидит и сидит, на таком же стуле, что и она. Стул такой попался – усидчивый. Как сядешь, так и сидишь, и сидишь. Пока за горизонт не сыграешь.

Эзопов язык

Вот они им и говорят: – Чего это вы зарплаты себе такие охреновенные поназначали? Покупают ведь вас, а ни один ещё не отказался. – А те им и отвечают: – А чтобы на речке лёд сдвинулся. Вот стулья, и те, между прочим, стоят на месте, никуда не сдвигаются. – Про что это вы говорите? – А это Эзопов язык называется. Это когда один стул поставили, а сразу десять на него садятся. Вот что они им говорят.

Песни про Пушкина

Каждый раз 6 июня – в День рождения поэта – мы приходим на площадь к Университету, где – Пушкин, а из профессорско-преподавательского состава опять никогошеньки, потому что «расцветают яблони и груши, и плывут туманы над рекой». Песни такие пойте в аудиториях, стулья почаще переставляйте. Граждане! Прихо-

дите к Пушкину, «пока свободою горим, пока сердца для чести живы!»

За главным столом

Особо трогает меня оценка фронтовиков, например, Ольги Константиновны Кожуховой – известной московской писательницы. В войну она была медсестрой, не одного-то раненого вынесла с поля боя (повесть «Двум смертям не бывать»).

А такой факт просто греет душу. Было пятидесятилетие журнала «Молодая гвардия», открывшего когда-то Михаила Шолохова и Николая Островского, и я как прозаик с поэтессой Зульфией, были единственные из молодых авторов, кого пригласили за товарищеский стол. Дело было в лесном ресторане на окраине Москвы, в Архангельском. И тут Анатолий Степанович Иванов, главный редактор, подзывает меня и говорит, указывая на своего соседа, тот сидит рядом с ним:

– А этого человека ты знаешь?

– А как же. – говорю. – Как Чапаев, тоже Василий Иванович... Чуйков Василий Иванович – командующий 62-й армией, герой Сталинграда... А ныне Маршал Советского Союза...

Тогда Чуйков спрашивает Анатолия Иванова, кивнув на меня:

– А это кто у вас?

А Анатолий Иванов улыбается:

– Наш человек. Только что с БАМа вернулся.

Тогда Василий Иваныч поднимается и говорит на весь стол:

– Друзья! Предлагаю тост. Вот за этого молодого человека, молодого писателя. Такие – надежда наша в жизни и в литературе.

С тем и живу. «Надеждой» назвал. Без всяких химер, святой истинный крест. Так было на самом деле. Так живо помню, как будто это было вчера.

ЭПИЛОГ

Я прожил уже восемь десятков лет. Это приличный возраст, действительно, наши годы – это наше богатство. В моей истории отражается история моей страны. Я шёл вместе с народом: работал, делал, созидал. И сына вырастил, и сад посадил, и сохранил свой родительский, намоленный дом, построил дом для писательской организации, привёл в пригодность заброшенный деревенский дом, где проводил каждое лето, общаясь с крестьянами. Одним словом, «дом» – это моё ключевое слово. Я люблю свой дом, я люблю свою малую родину, я люблю свою страну. Фёдор Тютчев, наш земляк – великий русский поэт, писал, что любовь к Родине, патриотизм – это самое высокое чувство русского человека, оно выше любви к женщине, ко всяким благам, даже к самому себе. Патриотизм – это великое чувство. Я счастлив, что дожил до такого дня, когда воочию увидел проявление этого чувства нашего народа в акции «Бессмертный полк». В этот полк встали миллионы людей в России и за её пределами. Люди встали в строй с портретами своих отцов, дедов, родных и близких, чтобы почтить их память, чтобы оказать им честь, чтобы отдать им должное, чтобы сказать им, что мы их достойны, что мы ими гордимся и будем всегда стоять на защите нашей Родины, что это и наш священный долг. Мы помним слова нашего другого великого писателя-земляка, что русский народ – это народ молодой, талантливый, сильный, у которого есть будущее, мы знаем, что будущее нашего народа прекрасно, и мы будем трудиться, чтобы приближать это будущее, а жизнь всегда, несмотря ни на что, прекрасна.

Для нас, поколения детей войны, вся жизнь прошла под знаменем борьбы не только за выживание, но и за своё человеческое достоинство. Особенно у писателей, журналистов. С двух лет я прохожу такие перипетии, что не пожелаешь никому, кто жил и шёл по жизни вместе со мной. Это незабываемый 37-й год и не менее потрясаю-

щий душу народа 1943-й, когда жизнь детей войны висела на волоске. Страх стучался ночами в дверь к каждому, страх рвался из того века сюда к нам, в двадцатый, даже в двадцать первый, ибо мы живём на переломе веков. И всё войны нам, всё испытания характера, воли, всё потрясения основ, когда так и хочется воскликнуть вековое, извечное: «Всё проходит, а человек с его творениями остаётся».

История помнит свои имена.

С двух лет я в Малоархангельске, потом в Орле, города эти стали моей малой родиной, частью просто Родины нашей великой, где правда, справедливость, духовность слиты в одно, они и рождают настоящую литературу, которой я посвятил всю свою жизнь.

Бессмертный полк

В алом венчике из роз

Впереди Иисус Христос.

А. Блок.

(Из поэмы «Двенадцать»)

Бессмертный полк шагает по России.

Возник, живой, как эхо поколений.

Три сына: Гавриил, Максим, Василий –

Легли на главном, на московском направлении.

Три сына дедушки ушли и не вернулись.

Несу над ними дедушкин портрет.

У Вечногo огня дай постoю, поэт.

Мы выстояли, брат мой, не согнулись.

Бессмертный полк шагает по России.

По городам, по памяти земли.

Три сына деда: Гавриил, Максим, Василий,

Три моих дяди первыми легли.

Смотрю в огонь, колышутся в нём лица.

Остановлюсь, прищурюсь на момент,

*И вижу я – в полк строится столица,
И впереди с народом президент.*

*Бессмертный полк шагает по России,
И в том полку живом, в колонне той
Три сына: Гавриил, Максим, Василий –
И дедушка мой с ними, как святой.
Бессмертный полк шагает по планете,
А в том полку и взрослые и дети.*

30 декабря 2015 г., Орёл

ФОТОАЛЬБОМ



***Орёл. Горсад.
Утром неожиданно выпавший снег к обеду растаял.
29 февраля 2016 года***



*Мой друг Мозжухин
Николай Кузьмич.
Полковник
в отставке,
с сюрпризом*



А это я 9 Мая 2010 года в центре Малоархангельска

*Мы с Лёней
Морозовым
(из Читы).
24 авг. 2012 года.
У нас
в Малоархангельске
на усадьбе
у боярышника*



*Малоархангельск. 26 июня 2015 года на юбилее.
Мой брат двоюродный Витя Нижевясов*



*Тогда же, там же.
Витя, сестра моя двоюродная Аля и я.*



*В Томске Коля Самойлов (слева направо).
Аля, Лидя – моя двоюродная сестра, Ольга – её дочь*



Людмила Серафимовна в 1959 году – в первый год работы в школе Малоархангельска со своими учениками



Три танкиста, три весёлых друга (слева направо): я, Серёжа Пискунов и Валя Чухаркин



***В Малоархангельской городской библиотеке.
Игорь Золотарёв, Мария Тимофеевна Токмакова,
Вера Григорьевна Галушкина, я, Александр Сергеевич
Трунов, Людмила Серафимовна Золотарёва,
Валентина Ивановна Колабенкова***



***5 сентября 2014 г.
Мы с администрацией г. Малоархангельска***



*Мы с друзьями из Швейцарии и мэром Труновым А.С.
у нашего дома в Малоархангельске*



*У нас на огороде в Малоархагельске.
Братья – французы делают карусель
(Робэн – младший, Тибо, Флориан)*



***Писатели на святом колодце Девятая пятница
(слева направо): Виктор Садовский,
Алексей Перелыгин, Алексей Кондратенко,
Валя Амиргулова и Игорь Золотарёв***



***День города в Малоархангельске 5 сентября 2015 года
Слева направо: поэты Валентин Митрофанович
Васичкин, Алексей Федосеевич Шитиков (Курск),
Леонард Михайлович Золотарёв***



В 2005 года там же, в Бунинском зале В. М. Катанов поздравляет Леонарда Золотарёва с Первым юбилеем



В 2010 года в Бунинском зале библиотеки имени Бунина коллега по творчеству Татьяна Грибанова лично благодарит юбиляра за всё прочитанное у него



В библиотеке им. Бунина на презентации одной из книг Леонарда Золотарёва (слева направо: И.Д. Быковский, Л.С. Золотарёва, Наталья Алексеевна Меркурьева и я)



У Дома писателей (слева направо) писатели: Алексей Перелыгин, Михаил Турбин, Леонард Золотарёв, Александр Лысенко, Василий Катанов, Алексей Калекин (профессор ОГУ)



На презентации книги Л. Золотарёва «Орловская лавра» в «Бунинке». Валентин Васичкин (слева), Андрей Фролов (справа). 12 сентября 2015 года



Светлана Голубева и Елена Машукова в институте культуры на юбилее (55-летию) писательской организации, в день закрытия Года литературы



Орёл.
Я у Весёлого Роджера,
на ул. Октябрьской

Курск.
У памятника
писателю Е.И. Носову





***Большой семейный праздник у нас дома
в День рождения Игоря (23 января 2013 года).
Слева направо: я, Люся, Рая Макаревич, её бесенёнок
внук Миша, Валя Амелина, Вадим Амелин –
Игорев двоюродный брат, сам Игорь***



***Библиотека имени Пушкина. Авторы после
презентации первого номера журнала «Русское поле»***



Мы с Валентиной и Ги Порседда на пороге библиотеки имени Бунина



*На Дне рождения Василия Михайловича Катанова.
Слева направо: Лысенко А.И., Полушина Т.В.,
Катанов В.М. и его дочь Маша*



*Мы с женой
Гавриила
Николаевича
Симонова
(родственника
Константина
Симонова в Бордо,
Франция) Моник
у музея Бунина
в Орле*



*Игорь Золотарёв
в библиотеке Бунина
в Орле*

*А это я в Орле,
у Белого Дома*



*Мои родители –
Мария Герасимовна и Михаил Иосифович*



*Мы с Шуриком
Гороховым, когда
учились вместе
в школе, даже в одном
классе*



*Чуть позже мы
слева направо: я,
Володя Ефремов,
Денисов Шурик*

Наша семья: внизу сидят – мой дедушка Герасим Макарыч и моя мама Мария Герасимовна, а наверху (слева направо) я. Витя Нижевясов, когда приезжал к нам сюда из Москвы, учился он тогда в девятом классе, и наш Коля Нижевясов



Львов, Стрыйский парк, август 1973 года. А это почти вся тогда там наша большая семья. Мы с Люсей и Игорем приехали сюда из Одессы, где были «дикарями» на море. А тут жили тётя Дуся, её дочери Лиля с дочкой Ладой и Аля. Кроме нас из Одессы, сюда приехали из Малоархангельска моя мать, а с Алтая - сестра моя двоюродная Лидя с дочкой Олей



«Когда мы были молодые». «Орловский комсомолец»



*А это мой Первый Юбилей в посёлке Синяевском
у нашего дома. Июнь 1985 года, когда все ещё были
живы. Внизу Нюра Тихонова и Виктор Викторович
Кузьминов с баяном*



Осень начала двадцать первого века, когда к нам в Орёл приезжала из Москвы Витина семья. Слева направо: я, Люся, Лена, её дочь Лада, внизу Ладина старшая дочь Даша, наш Игорь



Малоархангельск. В нашем саду. На встрече друзей три Кузьмича и примкнувший к ним Михалыч. Слева направо: Виталий Кузьмич Романчиков, Николай Кузьмич Мозжухин, я – Михалыч, Александр Кузьмич Денисов и наш Игорь



У нашего дома в Малоархангельске. Лето 2016 г.



На Фетовском празднике в Клеймёново (май 2013 года)

И пусть завершит мою книгу стихотворение М.Ю. Лермонтова

Молитва

*В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.*

*Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.*

*С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко...*

Содержание

Пролог.....	5
Часть первая. Мы – дети войны.....	11
Часть вторая. Зимой в городе, летом в Синяевском. Первый юбилей.....	94
Часть третья. Дорогие мои, хорошие	170
Часть четвёртая. Слово от Бога. Второй юбилей	224
Мои друзья	224
Моя родня	264
Эпилог	304
Фотоальбом	

ЛЕОНАРД МИХАЙЛОВИЧ ЗОЛОТАРЁВ

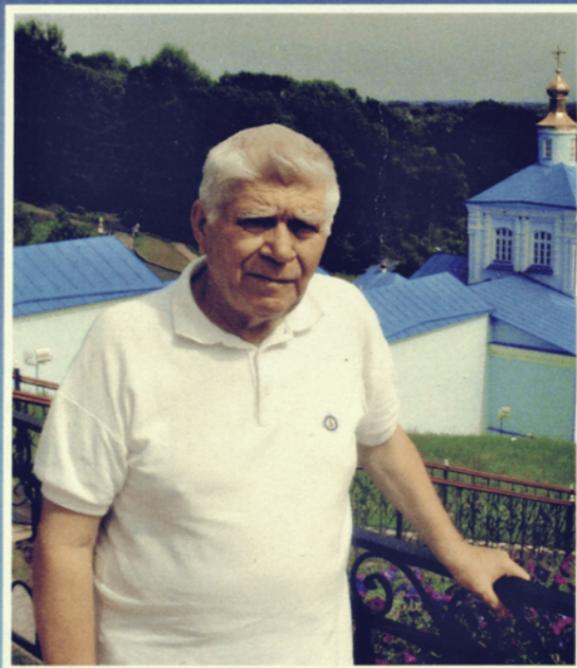
СУДЬБА – СУДЬБИНУШКА

История моей жизни

Корректурa автора

Фото Л.М. Золотарёва

Отпечатано с готового оригинала – макета
В ООО «Новое время», ул. Итальянская, 23
Заказ №647 Тираж 300 экз.



*Моя в чистом поле волк ищешь,
Тде всея на кончике клинка
Судьба - судьбинюшка - судьбинца.*

*Леонард
Золотарёв*

КНИГИ:

Русское поле
Берестяные песни
Духов день
Ночь света
Глубинка русская моя
Остров любви
Грибное счастье
Орловская лавра

Эпопея:

в прозе

Кормильцы
Берегиня
Два пророка
в одном Отечестве

в поэзии

Арсений Чигринёв
Неопалимые
Кремль. Соловки
Москва - Третий Рим

в драме

Пламень Александрии
Карнавал